

БОРИС ВИТМАН

БОРИС ВИТМАН

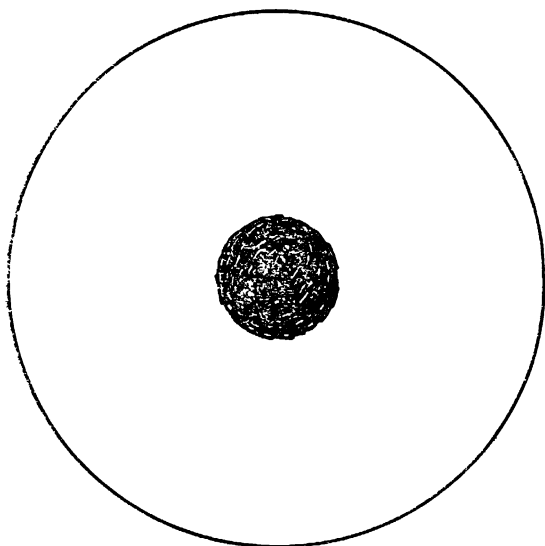
ШПИОН

КОТОРОМУ ИЗМЕНИЛА
Р О Д И Н А

БОРИС ВИТМАН

ШПИОН

КОТОРОМУ ИЗМЕНИЛА
Р О Д И Н А



КАЗАНЬ
«ЭЛКО—С»

БОРИС ВИТМАН

автор

ТЕОДОР ВУЛЬФОВИЧ

Литературная запись
и размышления об авторе

АННОТАЦИЯ

Повесть воспоминаний. Годы 1939—1955 — путь, уготовленный судьбой; порой невероятный и тем не менее реально прожитый.

Воспоминания о наиболее значительных, но мало известных событиях на фронте и в глубоком тылу противника, событиях, умышленно искаженных или замалчиваемых. О трагедии под Харьковом весной 1942 года, о сумском подполье, о лагерях и заводах Круппа в Эссене и их уничтожении январской ночью 1943 года авиацией союзников.

Рассказ о разведке, сражениях и плене. О побегах и участии в движении немецкого и австрийского Сопротивления. Столкновение с контрразведкой СМЕРШ, которое оказалось круче, чем столкновение с венской ГЕСТАПО.

Перепетии судьбы и тяжелый путь возвращения к жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ

В один из жарких летних дней 1986 года в редакции журнала «Новый мир» ко мне обратились с вопросом: «А не могли бы вы прочесть и, может быть, отрецензировать одну странную рукопись?.. О войне и о разведчике?..»

Я начал читать и с первых страниц утонул в рукописи. Кое-что раздражало в записи, кое-что не устраивало и вызывало протест. Уж вовсе не литературный стиль и не страсти смертельных ситуаций поразили меня, опалила правдивость каждой строки, написанной человеком, пропахавшим все ступени этой адской лестницы. Только в утаивании полных нелепостей в поступках чинов нашей стороны я почувствовал провалы и недосказанности. Автор, скорее всего, стеснялся представить «своих» в слишком неприглядном свете.

Не принадлежу я к числу тех любителей авантюрного жанра, которые идеализируют рыцарей военной разведки и супергероев органов безопасности. Итак слишком много чести отдано им на страницах книг, журналов, на теле- и киноэкранах: с их собачьим инстинктом погони; с пистолетами замысловатых образцов, снятых с предохранителей; со смертельными опасностями преследуемых и преследователей; железными допросами, страшнее, чем команда пехотного взводного — «Приготовиться к атаке!»; с роскошными ресторанами, вместо котелка на двоих в мокром, скользком окне; бутылка коньяка или, на худой конец, шам-

панского — вместо сорока граммов спирта в сутки (ведь десять граммов все равно сворует старшина); с хрустящей и стонущей постелью вместо ночлега на снегу, при двадцатишестиградусном морозе с ветерком; с отборными, нервическими, оттопыренными бабами, вместо распухшей от бессонницы и надорвавшейся от переноски тяжелых раненных мужиков санитарки Машеньки..

Да что там говорить — смех и слезы. Не станем рядиться — «кому на войне было жить хорошо?» или «кому вольготно-весело в смертельном бою?!»

И все же...

Не трудно догадаться, как обидно читать такую книгу сотням тысяч и миллионам, прошедшим не только все огни и воды плена, унижения, но и изуверскую хватку ГУЛАГа.

В английском боевом уставе сказано: если вам грозит неминуемая гибель, то вы обязаны сдать в плен, дабы сохранить свою жизнь для Великобритании — время пребывания в плену засчитывается в стаж воинской службы, выплачивается компенсация и остается только один долг — бежать из плена при первой возможности. И снова сдать в плен, если тебя настигают... У гитлеровцев были задействованы несколько дивизий, которые только и делали, что гонялись за английскими и американскими военнопленными. Мы от своих отказались, обозвав их изменниками. И гонялись за своими.

Ну что ж, те кто уцелел, и не осатанел, и не завистник, и с совестью в порядке, — считайте, что все это и о вас, и о вашей судьбе. Не будем кичиться славою, тем более что от нее мало что осталось.

Не во всем можно согласиться с автором, особенно в его самостоятельных рассуждениях исто-

рического плана. Но он всегда убежден, готов доказывать, слушать возражения и всегда опирается на свой собственный глубокий опыт. А мы странный народ — если очевидец известный деятель, генерал или маршал, ну, наконец, военно-исторический академик, это для нас, пожалуй, авторитетное мнение, а если рядовой, сержант или лейтенант, то это «куций взгляд из окопа», а то и «кочка зрения» — словно глаза у них разной биоконструкции, мозговое вещество не адекватное, не говоря уже о сообразительности, интуиции, умственных способностях.

В главном вопросе — о причинах начала войны и импульсах, ее взорвавших, — будет много споров. Но не следует забывать, что только вся разность мнений приближает нас к истине, а не единообразию.

В редакции журнала «Новый мир» опытный и глубокоуважаемый человек возражал мне:

— Но ведь это невиданное, неправдоподобное везение!.. Так не бывает! По крайней мере не должно быть в художественной прозе...

Я оборонялся как мог:

— Да, невиданное. Неправдоподобное!.. А вы бы хотели, чтобы ему хоть один раз не повезло? Вы бы хотели, чтобы его хоть один раз убили?.. Вам этого хочется?

— Ну что вы! Бог с вами! — почти взмолился собеседник.

— Все, кому хоть один раз не повезло в схожей ситуации, мертвы и не могут рассказать ничего! — пришлось произнести мне.

Но я очень хотел, чтобы эта рукопись, после всех мытарств и сложностей, все-таки увидела свет. Или свет увидел бы эту книгу.

В рукописи нет подвигов, действительных и мнимых убийств, автор не приписывает себе и не описывает так называемых геройств. Он только непрестанно действует и всегда против врага — целеустремленно и с расчетом на конечный результат. С одной стороны, он прирожденный и талантливый разведчик (хоть и не кончал никаких спецшкол и разведчиком себя не считал), а с другой — уникум, он, воюющий человек, который за всю свою жизнь не шарахнул никого по башке, не перерезал никому глотку, за всю войну и после нее не убил ни одного человека. Какая проза!.. (Ну, разумеется, если не считать артиллерийского огня их батарей!) И это не заслуга, а судьба.

Живи так, как будто это твой последний день.

Дыши так, как будто это твой последний вздох.

Люби так, как будто это твоя самая последняя любовь и ее последнее проявление.

ВЫХОДИТ— Я САМ СЕБЯ НАЗНАЧИЛ...

1. ЛИХА БЕДА...

Меня привезли в разведгруппу фронта. Все это выглядело довольно таинственно. В конце зимы 1942 года началась и уже шла полным ходом подготовка крупного наступления с Изюм-Барвенковского выступа. (По оперативным документам наступление именовалось: «Операция по полному и окончательному освобождению советской Украины от немецко-фашистских захватчиков».) Отозвали меня с передовой, как выяснилось, для специальной подготовки при штабе 6-й армии. А таинственность была потому, что нас сразу начали готовить к забросу в тыл противника.

Почему выбор пал на меня? Очевидно, благодаря довольно приличному знанию немецкого языка и несколькими рейдами в тыл противника, в которых мне приходилось участвовать.

Дело в том, что в августе 1941 года, после первого ранения, из госпиталя я попал в гаубично-артиллерийский полк. Он входил в состав Юго-Западного фронта. Зачислен был в саперный взвод. Вскоре убили командира взвода, и меня назначили на его место. При этом я оставался рядовым. Такое в ту пору иногда случалось: людей назначали на место погибших, а приказ о присвоении звания приходил довольно долгое время спустя.

В конце зимы прибыл новый командир взвода — лейтенант, а меня сразу перевели в полковую разведку. В это время и началась подготовка к нашему наступле-

нию. В ходе операции планировалось освободить всю Украину. Были задействованы силы Юго-Западного фронта и частично двух соседних фронтов.

Острая нужда быстро подготовить фронтową разведку к предстоящей операции, видно, заставила командование зачислить меня, человека с такой странной фамилией, к тому же не члена партии в спецгруппу.

И все-таки главным, наверное, было мое знание немецкого языка. А что касается фамилии, то она мне досталась от предков отца, выходцев с Запада, а из какой страны, точно не знаю. Возможно, из Прибалтики или Скандинавии. Со стороны матери я славянин (русский, белорус, поляк). Предок отца был приглашен Петром Первым в Россию для налаживания мукомольного производства. Принял православную веру, дважды женился и имел детей. Моя национальность — дело сложное: даже в ведомстве рейхсфюрера Розенберга сильно поломали бы голову. Я мог бы считать себя и прибалтом, и шведом, и евреем, и немцем и даже англичанином. Именно поэтому я не могу причислить себя ни к одной национальности. А вот к православной христианской вере меня приобщила моя мать, Елизавета Лобандиевская.

Готовили нас в условиях глухой и, я бы сказал, тупой секретности. Засекреченными были задачи, которые нам предстояло выполнять, секретными были, казалось, и методы их осуществления. Обо всем этом мы должны были только догадываться. Подготовка велась по ускоренной программе, в основном индивидуально или в группе по два — три человека. Особое внимание уделялось немецкому языку, с упором на военную терминологию, и правильность произношения. Изучали структуру войсковых частей и подразделений вермахта, виды вооружений и связи. Знакомили с основными уставными положениями противника, принципами работы его контрразведки, разведслужб и агентуры, «примеривали» легенды. На совместных занятиях отрабатывали приемы десантирования, самозащиты и нападения, как бесшумно снять часового. Дни были расписаны по минутам. Свободного времени практически не оставалось. По слухам среди курсантов, нашу группу собирались забросить в тыл к противнику, в район города Сумы, где вроде бы находилась наша конспиративная база.

Мы догадывались, что подготовка была рассчитана на довольно длительное время, но в начале мая, за несколько дней до наступления, нас неожиданно отправи-

ли по своим частям с предписанием через десять дней вернуться для продолжения занятий.

В своем полку я был оставлен на это время кем-то вроде связного и переводчика при штабе.

И вот — долгожданное наступление. Оно началось после мощнейшей артподготовки. Казалось, был выпущен по врагу месячный запас боеприпасов. Но, как вскоре выяснилось, мы молотили загодя оставленные позиции гитлеровцев. Поначалу наши части двинулись вперед, почти не встречая сопротивления. Только вражеская авиация непрерывно наносила весьма ощутимые удары по наступающим.

Передовые подразделения 6-й армии все же подошли к окраине Харькова, и тут, в районе мясокомбината, наткнулись на хорошо подготовленную оборону. Гитлеровцы давно уже разгадали стратегический замысел маршала Тимошенко и произвели не только перегруппировку своих войск, но успели устроить нам и надежные ловушки, и крепкие капканы. Они превратили подвалы зданий в неприступные доты. Одна за другой захлебывались все наши атаки — потери личного состава стали сразу очень большими, да еще разведка обнаружила на этом участке фронта две свежие дивизии СС!.. Вот тебе и наступление «по полному и окончательно...».

Ночью командир нашего гаубичного дивизиона с двумя разведчиками и двумя связистами поползли в расположение вражеской обороны и проволокли за собой телефонный провод. Смелчакам удалось незаметно подобраться к кирпичному зданию, в подвале которого гитлеровцы оборудовали ДОТ. Наши проникли в подвал через люк, с противоположного от ДОТа торца. От гитлеровцев их отделяла глухая кирпичная стенка.

Чтобы фашисты не обнаружили наблюдательный пункт по телефонному проводу, штаб полка решил снять телефонную связь и отправить туда рацию. Я был пока на правах порученца и согласился провести группу. Два радиста и я двинулись, как только стемнело. Идти во весь рост пришлось недолго. Первая же осветительная ракета — и пулеметная очередь прижала нас к земле. Дальше поползли, касаясь рукой телефонного провода. Наконец впереди, на возвышенности, обозначились контуры здания. Подползли ближе. Чуть выше уровня земли увидели амбразуру в стене и торчащий из нее ствол

пулемета, направленный в сторону наших позиций. Услышали негромкую немецкую речь. Фашисты не спали. Провод вел к противотанковому крылу здания и в нескольких метрах от стены шел под землю. Не сразу удалось отыскать хорошо замаскированный в конце лаза люк с окованной железом крышкой. Обитатели подвала были предупреждены о нашем визите и по условному стуку впустили.

Довольно просторное подземелье освещали карманным фонариком. Пустые ящики заменяли стол и стулья. У телефонного аппарата дежурил связист. Часть помещения отгораживала занавеска из плащ-палаток. Оттуда к нам вышел сам хозяин — командир дивизиона. На плечи был наброшен френч с орденом Красной Звезды. Тусклый свет фонарика не позволил хорошенько рассмотреть лицо капитана. Держался он очень просто, без рисовки, даже как-то по-домашнему. При нашем появлении поднялись с плащ-палаток, разостланных по полу, и поздоровались трое бойцов. Один из них был мне хорошо знаком: он первым в полку, еще зимой, получил медаль «За отвагу». Капитан осведомился, ужинали ли мы, и, не дожидаясь ответа, повернулся в сторону ширмы и сказал: «Покорми гостей, Паша!» Смысл фразы дошел до нас лишь тогда, когда из-за ширмы вышла молодая, миловидная женщина... Мы оторопели. Женщина? Здесь?!. Если бы из-за ширмы вышел немецкий генерал, мы, наверное, меньше бы удивились.

Тем временем на столе появились хлеб, сало и спирт. От спирта я сразу отказался, но капитан заявил, что трезвому здесь совсем нельзя. Пришлось выпить. Как ни странно, опьянения я не почувствовал, зато стало немного свободнее, и я перестал с опаской поглядывать на разделяющую нас стену.

Капитан сказал:

— Ты бы подремал, пока фашисты не зашевелились...

Проснулся я от взрыва — снаружи, как раз у стены, где я устроил себе ложе. За первым последовало еще несколько разрывов. Похоже, это были ручные гранаты, а может быть, стреляли из миномета. Одна из гранат или мин разорвалась у самого люка. В подвал проник дым, запершило в горле.

Я увидел капитана, прикившего к стереотрубе, замаскированной в стенной амбразуре, обращенной в сторону противника, и я услышал его негромкий голос. Он передавал координаты на наши батареи — вызывал, как говорится, огонь на себя, чтобы не дать гитлеровцам за-

хватить наш КП. Прошло несколько секунд, послышался вой снарядов. В тот же миг ударила воздушная волна, и раздался страшный грохот. Стены вибрировали, перекрытий сыпались куски штукатурки. Тяжелые снаряды рвались один за другим. Казалось, что вот-вот здание рухнет, все мы будем погребены под обломками. Однажды я уже испытал что-то похожее — мы попали под залп нашей «катюши». Это был настоящий ад. Разрывы слились в единый грохот, горела земля. Сейчас в этом подвале, хотя и под защитой мощных стен, тоже было, мягко говоря, несладко. Когда грохот наверху смолк, капитан подозвал меня и предложил взглянуть в стереотрубу. Совсем рядом, вокруг еще дымящейся большой воронки, лежало несколько тел в серо-зеленых мундирах и касках. В руках одного была зажата граната, другой, подальше от воронки, еще дергался, стараясь поползти.

На залп наших батарей откликнулась артиллерия противника. Теперь тяжелые снаряды летели уже через нас. Капитан решил не остаться в долгу. Он засекал стреляющих и направлял на них огонь наших орудий. Отсюда с возвышенности хорошо были видны результаты. Каждое попадание он сопровождал одобрительным матом да еще смачным замечанием. Одно за другим замолкали вражеские орудия. А тут еще обнаружилась группа замаскированных танков. По ним капитан приказал дать залп всему дивизиону.

Но вот смолкла артиллерийская дуэль, и в наступившей тишине подземелья мы вдруг отчетливо услышали слабый голос, вызвавший о помощи:

— Хильфе! Хи-ильфе!..

Голос доносился из-за разделяющей нас стены. Только теперь мы увидели, что в ней образовались сквозные трещины, через которые почему-то пробивался дневной свет. Мы стали разбирать перегородку, держали наготове оружие. Первое, что мы увидели сквозь образовавшееся отверстие, было голубое небо и погнутые стальные балки разрушенного перекрытия. Из-под обломков снова послышался призыв о помощи. Общими усилиями разобрали обломки и обнаружили троих гитлеровцев. Двое сверху были мертвы, а третий под ними оказался невредим. Ефрейтор, похоже, был даже рад пленению. Капитан обратился ко мне:

— Спроси, знали ли они, что мы находились за стеной?

— Да, — сразу ответил ефрейтор. — Мы догадыва-

лись, но считали, что это защитит нас от огня ваших пушек, и решили ничего не предпринимать.

— А что он думает теперь?

Пленный ответил, что трудно поверить в такую ювелирную точность, и хотелось бы взглянуть на того, кто управлял огнем русских батарей.

— Он перед тобой! — сказал я и указал на капитана.

Пленный ефрейтор сразу заявил, что ему очень лестно иметь дело с таким опытным русским гауптманом-артиллеристом. Я перевел.

— Пусть не свистит, — сказал капитан. — Объясни этому хмырю, что он имеет дело с кованным на все четыре копыта одесским евреем.

Честно говоря, я был удивлен не меньше ефрейтора и с большим трудом перевел его заявление (особенно в отношении свиста).

Теперь, при дневном свете, я мог рассмотреть капитана: светловолосый, с серо-голубыми глазами, он скорее бы подошел под категорию «чистого русака», а немецкий ефрейтор больше был похож на еврея, чем капитан-артиллерист.

Отослав пленного в тыл, мы продвинулись вперед вместе с пехотой. Я провел с капитаном весь день и только к вечеру отправился обратно в штаб полка.

Заканчивались кратковременные «каникулы». Надо было возвращаться в штаб армии для продолжения учебы.

Утром на штабном «газике» вместе с водителем мы отправились в путь.

Покидая полк в момент, когда наше наступление приостановилось, я посчитал, что это временная передышка и после перегруппировки сил продвижение вперед возобновится. Так считали и в штабе полка, не подозревая еще о назревающей катастрофе.

2. ПУШКИ К БОЮ ЕДУТ ЗАДОМ

Уже в пути мы узнали, что, пока наши армии так успешно и самозабвенно наступали, гитлеровцы нанесли сокрушительные удары по флангам фронта: с Севера на Юг (от Харькова) армия генерала Паулюса, а с Юга на Север, навстречу Паулюсу, — танковая группа Эвальда фон Клейста. Они сомкнули кольцо, и все на-

ши войска, как участвующие в наступлении, так и удерживающие обширные фланги, оказались в плотном окружении. А в общем-то — в капкане.

Верить этому не хотелось. Но мы поняли, что это так, когда прибыли в штаб армии и застали там неразбериху и полнейшую растерянность. Нам предложили немедленно вернуться обратно в свой полк. Мы заправили машину горючим, забрали почту и отправились. Погода была пасмурной, но неожиданно сквозь тучи прорвался «мессер», и на бреющем полете одной очередью из крупнокалиберного пулемета пробило радиатор и мотор. Чинить машину было бесполезно, и мы решили добираться до своей части на попутных. Но вскоре убедились в безнадежности и этого намерения. Никто не двигался в сторону передовой, зато оттуда уже проследовало несколько колонн и отдельных машин. Это были в основном тыловые подразделения. Все они спешили на восток в надежде еще успеть вырваться из окружения.

Что делать дальше, мы не знали, и решили заночевать в полуразрушенном здании недалеко от дороги. В одной из комнат, с тремя сохранившимися стенами и потолком, стояли стол и два топчана. Сумерки начали затушевывать очертания предметов. Серая облачность слегка раздвинулась на западе, и открылось удивительное сочетание синевы неба и пурпурных тонов заката. На короткое время все показалось простым и прозрачным, а война выдуманной...

Война не только убивала и калечила все живое, коржила, разрушала созданное природой и людьми, она калечила души, путала и искажала привычные представления, весь жизненный уклад. Многие понятия приобретали противоположный смысл. Вот и теперь сама мысль о ясном дне, предвещаемом этим закатом, была нам ненавистна. При полном господстве в воздухе авиации противника, для нас ясный день угрожал стать последним в этой жизни. Может быть, именно поэтому в предвечернем затишье так остро ощутилась весна. Она сразу напомнила о непреодолимой силе молодости, о радужных, но теперь уже несбыточных мечтах. Тучи уходили на восток, открывали синее вечернее небо. Мир, несмотря ни на что, продолжал оставаться прекрасным. Умирать жуть как не хотелось!

Я плохо представлял себе, какая смерть может ждать меня. Воспоминания о боях в первые месяцы войны, при постоянной угрозе окружения, позволяли представить положение людей во вражеском кольце в открытом степ-

ном пространстве. Эти воспоминания дополнялись рассказами тех, кому посчастливилось уцелеть и вернуться к своим из окружения или из плена. Но таких было немного. Гитлеровцы, используя свое преимущество в технике, особенно в авиации, обрушивали на головы обреченных град бомб, снарядов и мин, давили их танками и бронетранспортерами.

И все равно не хотелось верить, что это конец. До сих пор фронтовая судьба была ко мне благосклонна. Будто чья-то невидимая добрая рука (а может быть, молитва матери) берегла меня и хранила.

Мне исполнился двадцать один год. За спиной остались школа, первый курс института, служба в армии. Уже было ранение, госпиталь, а теперь еще и явная безвыходность окружения... Было о чем подумать...

Была и первая школьная любовь. Только ведь это только говорится, — школьная я, — я всегда считал ее настоящей... Но была и пустота в том месте души, где должна была находиться высоко парящая любовь. А без нее я не мог себе представить смысла земного существования вообще.

Мысленно возвращаясь в прошлое, в годы детства, проходившие в общей убогости, под барабанные пионерские песни и призывы, которые никогда не соответствовали действительности, я, как самое светлое оконце той поры, постоянно вспоминаю мою московскую немецкую школу.

Собеседование, а не экзамен, проводила сама директор школы. Сначала она спросила:

— Как тебя зовут? — спросила, разумеется, по-немецки.

Я сразу ответил. Она повторила мое имя, но сделала ударение на «о» — Бóрис, пояснив, что так будет правильнее, если по-немецки. Ее же я должен называть «геноссин Вебер». Потом она спросила, как зовут моих родителей, бабушек и дедушек, говорит ли кто-нибудь из них по-немецки? На вопрос, чем занимаются родители, я пытался ответить, но из этого ничего не получилось: мой словарный запас оказался недостаточен. Потом я должен был рассказать, как провел лето. Я путал падежи, мне явно не хватало знания языка. Видя мои затруднения, геноссин Вебер помогала мне наводящими вопросами. Ее произношение немецких слов несколько отличалось от произношения моей учительницы, и не

все было понятно. Словом, беседа получилась довольно корявой. Я был недоволен собой и думал, что провалил экзамен. Меня попросили подождать в холле, пока мама говорила с директрисой в ее кабинете. Мама вышла оттуда с улыбкой — меня приняли. Она сказала, что директор очень милая женщина и почти без акцента говорит по-русски.

Кроме детей из Германии и Австрии, преимущественно девочек, плохо или совсем не говорящих по-русски, в нашем классе было пятеро москвичей: Саша Кавтарадзе, Саша Магнат, Боря Фрейман, Эрих Вайнер и я. Самым взрывным среди нас был Саша Кавтарадзе, готовый мгновенно включиться в любую затею, а самым флегматичным — Эрих Вайнер. Он предпочитал держаться в стороне и даже не принимал участия в наших мальчишеских играх. Я однажды неосторожно обвинил его в трусости, а он тут же не упустил случая и передразнил меня, уличив в неправильном, корявом произношении немецких слов. Поддразнивали порой меня и другие ребята. Это сильно задевало, и я начал стараться как можно правильнее произносить слова и фразы. Дело дошло до того, что дал сам себе торжественную клятву: «Вот увидите! Я буду говорить на вашем языке не хуже, чем вы! А то и лучше!.. И тогда посмотрим!!» — и я, пожалуй, почти что выполнил данное тогда обещание.

У Эриха были другие достоинства — он умел «завести» любого из нас и всегда пытался выступать в роли арбитра.

Девочки держались несколько обособленно, но общая атмосфера была дружелюбной, и отношения учеников друг с другом были не по-детски уважительными, особенно мальчиков к девочкам. Никто не дразнил друг друга, не давал прозвищ. Постепенно и меня шпынять перестали. На переменах никто не носился сломя голову по коридорам, не устраивали клуб в туалете. О курении даже не помышляли.

Ближе всех я подружился с Сашей Магнатом. Мне очень нравилось бывать у них дома. Сашины родители жили в доме правительства на Берсеневской набережной. Когда я попадал к нему в дом, мне казалось, что я попадал в другой мир.

Кем был Сашин папа, я не знал и ни разу его не видел. Когда мы приходили из школы, Сашина мама давала нам по большому куску омлета на ломте мягкого белого хлеба. И этого, по сей день, забыть нельзя!..

У Саши был настоящий заграничный велосипед на широких шинах. Саша научил меня ездить, и мы по очереди катались во дворе дома. Катание на велосипеде было самым большим удовольствием. Я бредил собственным велосипедом, но долгие годы это оставалось несбыточной мечтой. Настоящий двухколесный велосипед был в ту пору для многих недоступной роскошью. Потом Сашина мама звала нас обедать. Мне эти обеды казались царскими, а Сашина мама — прекрасной доброй феей.

В этой замечательной немецкой школе я проучился всего около двух лет. А потом ее закрыли — взяли и прихлопнули!.. Прошел ядовитый слух, что «директор школы геноссин Вебер оказалась фашистской шпионкой!» — О к а з а л а с ь!.. — Мы, ученики, любили нашу директрису за доброту и справедливость. Мы не хотели верить слухам.

После того как немецкую школу закрыли, меня определили в обычную среднюю школу. Находилась она на углу Большой Грузинской и 2-й Брестской улиц. По сравнению с той школой эта показалась мне грязными задворками, а о какой-либо приветливости и говорить было нечего. Мне сразу, в первый же день, дали прозвище «Американец» — за брюки гольф и за берет. В гольфах и высоких ботинках ходили большинство мальчиков немецкой школы. Для меня же, жителя Кунцево, преодолевать непролазную осеннюю грязь наших окраин было намного удобнее в гольфах, чем в длинных обычных брюках. Вслед мне пели похабные песенки из репертуара вечного городского фольклора. Помимо этого, я тут же стал обладателем еще двух прозвищ: Баран — за вьющиеся светлые волосы, и Витамин — по аналогии со звучанием фамилии. Выходить на переменах из класса в плохо освещенный узкий коридор или в туалет было вовсе не безопасно. Ребята из классов постарше заставляли выворачивать карманы и отбирали все, что представляло для них хоть какой-нибудь интерес. Тех, кто сопротивлялся или пытался пожаловаться, — сразу избивали. Иногда группами поджидали на улице. Хотя занималась этим сравнительно небольшая часть учеников нашей школы, но она держала в страхе всех. Даже учителя предпочитали с ними не связываться. Поговаривали, что они водят дружбу с урками, имевшими свою «малину» в одном из домов Большой Грузинской улицы.

Так же, как «Марьиная роща», этот московский район был вольницей и вотчиной московской уголовщины. Как ни странно, верховодила в группе — девчонка. Говорили, что она цыганка. Выбирая очередную жертву, она впивалась в нее взглядом жгуче-черных глаз, словно гипнотизировала, и обычно выносила свой приговор... По какому поводу, сейчас уже не помню, но не избежал этой участи и я. Она испытующе долго смотрела на меня и наконец изрекла: «Его не трогать!.. Пока». Чем было вызвано такое помилование, не знаю. Но оно произвело на меня довольно сильное впечатление...

И эта устная охранный грамота действовала до тех пор, пока в школе не произошло событие, потрясшее всех без исключения.

— Зарезали! Убили!.. — пронеслось по школе. Все повыскакивали в коридор. Там, прислонившись к стене, стоял паренек. Обе его руки были прижаты к животу. Между пальцами сочилась струйка крови. Лицо было белое, как простыня. Здесь же, на полу, валялся брошенный финский нож... Парень, в конце концов, остался жив, а вот загадочная цыганская девчонка исчезла навсегда.

Мое положение в классе постепенно несколько укрепилось с введением уроков физкультуры. Я стал посещать спорткружок и показал неплохие результаты по прыжкам в длину и лыжам. Позже начал заниматься боксом. Уже давно сменил гольфы на брюки, берет на кепку. Внешне мало отличался от остальных. Прозвище Американец — отлетело.

Совершенно иным, чем в немецкой школе, было отношение мальчишек к девчонкам. В туалете во время перемен здесь умудренные житейским и сексуальным опытом сопляки посвящали нас, желторотых, в подробности половых не столько отношений, сколько извращений. В этой школе непристойные выходки и скверные приставания к девочкам проявлялись иногда даже во время уроков. И вот тут моя выдержка начала изменять мне — я начал ввязываться в настоящие драки. А «настоящая» — это непременно до крови!

Популярным занятием наших мальчишек было выбрасывание из окон чернильниц и других не слишком громоздких предметов прямо на головы прохожим. Один из аттракционов был выдающимся — балбес взобрался на подоконник и стал писать на прохожих.

Но как бы там ни было скверно, были и радости: я занимался в изокружке, а потом и в студии. К рисова-

нию я пристрастился рано и занимался с неизменным увеличением. Параллельно продолжал занятия спортом на стадионе, освоил вождение автомашины.

Годы учебы в школе на Большой Грузинской не оставили в памяти моей ни одного светлого воспоминания. Не могу припомнить даже никого из преподавателей. А вот два года, проведенные в немецкой школе, отчетливо помню по сей день.

Окончил я в этой школе седьмой класс и перешел в только что открытую новую школу, рядом с площадью Маяковского. Эта — во всем отличалась от предыдущей: и самим зданием, и учителями, и учениками... И ученицами.

На одном этаже с нами находился седьмой «А» класс! Знаменит он сразу стал тем, что там училась главная достопримечательность нашей школы — первейшая девица-красавица Галина Вольпе, дочь начальника штаба Московского военного округа комдива Вольпе А. М. Впервые я увидел ее на перемене. Проходя мимо, она гордым движением головы откинула прядь темно-каштановых волос, спадающую на глаза. Со мной что-то произошло, и я не сразу смог определить, что именно... Я не ахнул, не остолбенел — я забыл на некоторое время, где нахожусь... Скорее всего, просто пришла пора!

Другой раз я увидел ее, когда она выходила из машины отца — ее подвезли и высаживали недалеко от школы — без головного убора, опять с той же спадающей на глаза прядью волос. Нет — это было не отражением... Иногда она даже САМА УПРАВЛЯЛА ЭТОЙ БОЛЬШОЙ ЧЕРНОЙ МАШИНОЙ!.. Или мы это уже все вместе придумали?.. Всю зиму она ходила в своей черной кожаной куртке, без головного убора и все так же время от времени гордым движением головы откидывала непокорную прядь волос. Я знал, что в нее было влюблено чуть ли не все мужское население школы, начиная с опупелых первоклассников и кончая комсоргом школы Романом. Даже наш молодой директор Иван Петрович, как поговаривали, тоже был к ней неравнодушен.

Я долго сопротивлялся этому все сметающему чувству, убеждал себя в том, что недостойн ее, что необладаю необходимыми достоинствами... С одной стороны — никакой надежды, а с другой... — все же написал ей записку. Ответа не последовало. Позже подруга Галины Шура Пахарева рассказывала: «Галина каждый день ворох этих записок выбрасывает в урну не читая».

Значит, и мою записку постигла та же участь. «Ну и поделом, — корил я себя, — возомнил себя героем-любовником». И все же мое самолюбие было уязвлено. Заставлял себя не думать о ней и старался избегать встреч.

В дополнение к занятиям легкой атлетикой записался еще и в волейбольную секцию. Но однажды во время игры в спортзале появилась Галина. Я тут же вышел из зала и решил больше там не появляться. Прошло несколько дней, ко мне подошла Шура Пахарева и вручила маленькую записочку. Еле сдерживая волнение, я прочел: «Если тебе неприятно видеть меня, я больше не буду ходить в спортзал. Вот и все. Галина В.».

После этой записки состоялось наше первое торжественное свидание. Мы вышагивали по малолюдной Брестской улице и боялись прикоснуться друг к другу. Шел снег, было холодно и скользко. Мы никак не могли решиться даже толком взглянуть друг другу в глаза. Иногда звучал короткий вопрос и односложный ответ. Наше первое свидание в заснеженных холодных сумерках скорее походило на прощание людей, готовых к разводу... В конце концов я проводил ее до дома на Васильевской улице, и мы торжественно расстались.

Только когда она скрылась в подъезде, я почувствовал, что продрог до мозга костей — меня колотил озноб и еще преследовало ощущение яростного недовольства собой. Я нещадно ругал себя и повторял: «Вот так рушится все лучшее на земле, из-за глупой нерешительности!.. Размазня!»

На следующий день, на перемене, Галина, проходя мимо, незаметно сунула мне в руку записку: «...! Извини, что все так нескладно получилось у нас с тобой. (Тут можно было бы потерять сознание, но я не потерял!..) Я очень волновалась и не могла говорить. Скажи, что не сердишься на меня. Жду ответ»...

Ничего болсе прекрасного в моей жизни не происходило...

Продолжение нашего романа развивалось бурно! Но главным образом в записках — мы им доверяли наши самые сокровенные и пылкие чувства. Дни не летели, а горели — это были самые счастливые дни, — и видите, они остались таковыми в памяти на протяжении всей жизни. Так что не надо шутить с юношескими романами.

Там были и огорчения, и обиды. Появились враги — на пути вырастали соперники и не раз пытались

меня поколотить; поджидали после уроков, но друзья или соперничающие девчонки предупреждали, и я изменял маршрут, или эскорт сопровождающих увеличился... В ту пору я крепко дружил с Ростиславом Шабашем. Это был смелый и крепкий парень, и когда мы шли вместе, на нас не решались нападать. Но кольца опасности нарастали и растягивались, я стал, на всякий случай, носить в кармане раскладной перочинный ножик (потому что в мой адрес уже были серьезные угрозы). И когда однажды все-таки напали, сзади трое, я успел отскочить в сторону и раскрыл нож. Это было первое вооруженное столкновение, мой решительный отпор насилию и заявление о том, что я буду сражаться до конца. Нападающие отступили, и, видимо, этот эпизод послужил предостережением для других. Меня оставили в покое.

Записки Галины я хранил дома в специальной коробке, оклеенной изнутри аж красным шелком. Раньше там лежали мамины духи с французским названием. Коробка сохранила остатки волшебного запаха и напоминала о глубине чувств. Каждый раз, возвращаясь из школы, я доставал коробку и перечитывал записки. Каждое слово, каждая запятая, не говоря уже о многоточиях, имели для меня огромный смысл.

Забегая вперед, скажу, что, вернувшись домой через семнадцать лет, я нашел коробочку с записками там, где ее оставил, уходя в армию. И что удивительно — записки сохранили едва уловимый тончайший аромат маминых духов.

Коробка с записками уцелела даже при обыске в 1938 году, когда арестовывали моего отца.

Заканчивался 1936 год. В школе готовились к новогоднему маскараду. Мне поручили оформлять новогоднюю стенгазету. Под впечатлением прочитанного фантастического романа я изобразил на листе ватмана космический корабль, устремленный к звездам, а астронавтами представил, конечно, Галину и себя. Одновременно готовил маскарадный костюм... В день маскарада я пришел немного раньше назначенного времени. Зашел в пустой класс и начал облачаться. Мушкетерский костюм я умудрился изготовить сам — кое в чем помогала мама, она смастерила мне замечательную плаш-накидку. Я уже закреплял на поясе шпагу и только-только собирался надеть маску, как дверь приоткрылась, и в комнату осторожно вошла Галина.

— Как ты узнала, что я здесь?

— Разведка! Мне хотелось первой увидеть твой маскарадный костюм. И я хочу первая поздравить тебя с наступающим Новым годом...

Она двигалась мне навстречу. Меня тянуло к ней как мощным магнитом — мы подошли друг к другу вплотную. Никогда мы не стояли так близко — наши лица были совсем рядом, и я чувствовал тепло ее лица — мы прикоснулись друг к другу губами... Не успел я прийти в себя, как она уже выбежала из класса.

Не помню подробностей того предновогоднего вечера. Все мои мысли и ощущения поглотила она одна. Это был счастливейший праздник. И наш первый поцелуй... Если бы мы знали, что он был не только первым, но и последним.

Потом были каникулы. Галина с родителями уехала из Москвы. А я почти все каникулы провел на лыжах в Крылатском. Там в тиши, на безлюдных заснеженных холмах, я выбирал самые крутые спуски и одолевал их всегда в Ее честь!.. В последний день каникул я неудачно упал и несколько дней пролежал в постели. Когда снова начал ходить в школу, оказалось, что заболела Галина. Это уже было какое-то фатальное невезение. Прийти к ней домой без приглашения я не решался. Мы ведь не виделись уже больше месяца. Я послал с Шурой Пахаревой несколько записок, но ответа почему-то не было. Шура толком ничего не могла объяснить. Она часто подходила на переменах, надоедала пустыми разговорами. На собраниях садилась рядом со мной, поджидала после уроков, брала под руку и просила проводить ее домой. Несколько раз приглашала зайти посмотреть, как они живут. Рассказывала, какая у них огромная квартира, сколько комнат, — словом, говорила о том, что меня нисколько не интересовало. Она жила на улице Герцена. Ее отец был, как она мне поведала, дипломатическим работником и большую часть времени находился за границей. Наверное, это было правдой. На Шуре всегда были заграничные вещи, значительно отличавшиеся от наших, но эти красивые платья и кофточки не делали ее привлекательнее, по крайней мере для меня, которому все остальные девчонки, кроме Галины, были безразличны. Я терпел Шурины выкрутасы лишь потому, что она была подругой Галины и нашим связным. Я начал понимать, что Шура что-то скрывает от меня, и заявил, что отправлюсь к Галине домой сам. И услышал в ответ:

— Мне просто не хотелось тебя огорчать. Тебе не

следует писать ей, ответа — не будет. Она теперь дружит с Ростиком, твоим другом.

Сначала эти слова показались мне чистейшим вздором. Ростислав никогда бы не предал нашу дружбу. В этом я не сомневался. Но Пахарева показала мне его записку к Галине, и мне показалось, что сделала она это с едва скрытым злорадством.

Я не стал читать записку и послал их ко всем чертям. В один миг были растоптаны и первая любовь, и наша мужская дружба на века. Попытка объясниться с Ростиком чуть не закончилась дракой. Он отрицал, что дружит с Галиной, а я обвинил его во лжи и предательстве. Я вообще не знал, кому верить. Галина начала снова ходить в школу, но теперь мы оба старались избегать друг друга. Шура еще пыталась добиться моего расположения, но я не мог даже видеть ее. Но вот... На одной из перемен ко мне подошла девушка из параллельного класса:

— Мне надо вам кое-что сказать.

— Что именно?

— Это касается вас и Гали Вольпе. Вы ведь знаете Шуру Пахареву?.. Еще недавно она была моей подругой. Так вот, она рассказала мне, какую шутку учинила с вами: она не передавала Гале ваши записки или, перед тем как передать их, изменяла содержание и передавала от имени вашего друга Ростислава. То же самое она делала и с записками Гали, передавая их Ростиславу. Но это сводничество ей не удалось. У Гали с Ростиком ничего не получилось. То, что она сделала, — подлость. Она больше мне не подруга.

Несколько раз я пытался объяснить с Галиной, но она не хотела со мной разговаривать. Я был в полном отчаянии и не знал, что делать. Но однажды Галина сама подошла и проговорила:

— Я была несправедлива к тебе. Но это произошло не по моей вине. Пахарева сказала, что у тебя с ней любовь... А я, дура, поверила... Потом она мне сказала, что Ростик хочет со мной дружить. Что я ему очень правлюсь. В подтверждение она показала мне какую-то странную записку. Из-за обиды в ответ на твою измену я согласилась встретиться с Ростиславом. По словам Шуры, он желал этой встречи со мной, а вел себя так, будто я сама навязываюсь ему со своей дружбой. Понадобилось время, чтобы разобраться... Мы с Ростиком решили устроить Пахаревой очную ставку, и она вынуждена была сознаться в своей подлости. Если бы ты

видел, каким был Ростик, он чуть не избил ее.

Это было настоящее чудо. Общее примирение! На радостях мы втроем: Ростик, Галина и я решили пойти в Театр оперетты, который тогда находился в саду «Аквариум». Но в понедельник Галина не пришла в школу. Не появилась она и в последующие дни.

По школе пополз слух, что отца ее арестовали как врага народа. Несколько дней я дежурил у ее дома, в надежде увидеть Галину. Все было напрасно. Галина и ее мать исчезли бесследно. Позже, в период реабилитации, мне удалось узнать, что отец Галины, Вольпе А. М., был приговорен военной коллегией к расстрелу в 1937 году. Приговор приведен в исполнение. Реабилитирован в 1956 году. Его жена осуждена в том же году особым совещанием как жена врага народа. О дочери никаких сведений до сих пор нет.

С исчезновением Галины жизнь для меня потеряла всякий интерес. Я стал пропускать занятия, бесцельно слоняясь по улице Горького. Нахватав двоек. Мне ни с кем не хотелось разговаривать. Особенно с девушками, в которых, как мне казалось, было больше сходства с Пахаревой и ни капельки с Галиной. Переживая разлуку, я перестал реагировать на то, что происходило вокруг меня, и не сразу ощутил надвигающуюся волну арестов в городе. Начали исчезать знакомые, соседи. Кругом только и слышалось приглушенное: «Черный ворон сегодня ночью забрал»... Уже появились опечатанные не только квартиры, но и целые лестничные площадки. Волна репрессий обрушилась на многие семьи, все ближе подбираясь и к нашей...

Однажды вечером отец не вернулся с работы. А ночью к нам нагрянули трое. Перерыли все в доме и, не отвечая на вопросы, уехали. В приемной НКВД маме ничего определенного не сказали. Мы долго искали отца по московским тюрьмам, везде простаивали в длинных очередях, чтобы услышать из маленького окошечка: «Не значитесь!». И снова в очереди на целый день у другой тюрьмы. Наконец — «о великое счастье!» — Он в Бутырках! Нам повезло. Многие исчезали совсем. Одним сообщали, что умер от болезни, другим — выбыл без права переписки... Были случаи, в течение месяцев, а то и лет принимали деньги и продуктовые передачи, а человека уже не было.

К нашим ежедневным немалым заботам теперь прибавилась еще одна: как свести концы с концами? Мама с трудом устраивалась на временную работу. А не вы-

селили нас только потому, что это была маленькая квартира в частном деревянном доме, да еще в Кунцеве, пригороде Москвы.

Воду носили из колодца метров за триста; уголь для печного отопления и старые шпалы, вместо дров, собирали, как и все, возле железнодорожного полотна, рядом с которым находился дом. Вода в ведрах на кухне, припасенная с вечера, к утру покрывалась коркой льда. Морозы в ту пору были крепкие и снегопады обильные. Часто, чтобы попасть в туалет, расположенный в глубине двора, надо было прежде расчистить тропинку в глубоком снегу. А иногда к утру наваливало столько снега, что мне приходилось вылезать через форточку и отгребать сугробы от входной двери. Все эти заботы по обеспечению водой, топливом, расчистке снега, естественно, легли теперь на меня. Мама весь день была на работе, а вечером допоздна подрабатывала шитьем. На уплату хозяину за жилье и на передачи в тюрьму уходило почти две трети маминой зарплаты.

В школе у меня возник конфликт с нашим комсоргом Романом. Он настаивал, чтобы я на собрании отрекся от своего отца — «врага народа». Так, по его словам, поступали сознательные комсомольцы. Я наотрез отказался это сделать, заявил, что арест отца — это ошибка.

— Органы не ошибаются! — заявил мне Роман.

Вскоре состоялось собрание, где я еще раз повторил о своей уверенности в невинности отца. Комсорг поставил вопрос об исключении меня из комсомола. Однако большинство проголосовало за вынесение мне обвинения.

Прошло немного времени, и Ростислав сказал мне, что и его отца арестовали, и они с матерью должны уехать из Москвы. Догнала судьба и их семью.

Я решил уйти из школы и поступить в художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Экзамен сдал успешно. Осенью можно было приступать к занятиям. Чтобы не голодать, я брался за любую работу: художественное оформление столовых, витрин магазинов, клубов, писал лозунги, оформлял стенгазеты... К началу учебного года я все же изменил намерение уйти из школы; решил закончить десятилетку.

...Но это все далекие школьные воспоминания, а сейчас водитель Петро и я сидели в нашем трехстенном

убежище, четвертая стена была разрушена и представляла собой экран, на котором можно было наблюдать не выдуманную, а подлинную жизнь войны. Мы находились где-то в стороне, и бой сюда еще не докатился. В башку влетела шальная мысль: «А не устроить ли торжественную отходную?» Я решил хоть раз в жизни напиться и почувствовать, что же это такое... а может быть, нас немного знобило от предстоящего испытания?..

Спирт был. Наполнили черные пластмассовые стаканчики от трофейных фляжек, и только спохватились, что нет воды для запивания, как свершилось маленькое чудо — рядом с проемом двигалась настоящая, живая и вполне привлекательная девушка. Она смотрела себе под ноги, нас не замечала, несла пустые ведра и направлялась к колодцу. Какой может быть прощальный банкет без женщины? Мы бросились помогать ей, — это появление показалось мне спасительным предзнаменованием.

Девушка спокойно приняла нашу помощь, налила нам котелок воды и на приглашение принять участие в скромном торжестве безо всякой рисовки не только согласилась, но и сообщила, что неподалеку находится надежный подвал, а в том подвале ее ждет сестра...

Мы шли за ней с переполненными ведрами, и не расплескивали.

В подвале укрылось несколько женщин с детьми. Они уже знали о немецком окружении и негромко сокрушались не за себя, а за нас, и выражали свое сдержанное сочувствие. Они спокойно обсуждали обреченность нашего положения, и каждая предположительно гадала об участи каждого в отдельности. Кто советовал переодеться в гражданскую одежду и переждать, пока вражеские войска продвинутся подальше, а там, мол, видно будет; кто предлагал пробиваться к своим или уйти в партизаны; советы были стандартные. Наша новая знакомая согласилась даже поначалу укрыть нас в своем доме, а потом, дескать, все вместе уйдем в партизаны... (сестра ее что-то делала в закутке и не появлялась). Мне их советы немного поднадоели, а мой напарник Петро соглашался на все варианты. Но тут — неожиданно, совсем неожиданно — все их предложения вдруг показались мне не только толковыми, но и вполне подходящими, — я внезапно понял, что это катастрофическое накатывание противника на нас упрощает выполнение первого этапа моего предположительно-разведывательного боевого задания (к которому, кстати, меня готови-

ли чуть больше месяца) — ведь теперь не надо будет переходить линию фронта, фронт сам перейдет через тебя, и следует только изловчиться и не захлебнуться в этом перекачивании. А потом уж выжить, выстоять и искать связи с конспиративной базой... Но едва я представил себя отсиживающимся в подвале, в то время как другие сражаются и пытаются вырваться из кольца, как тут же отбросил все эти фантазии. К тому же у меня не было ни четкого задания, ни пароля, ни явки для связи — да ничего у меня не было... Оставался один выход: завтра с рассветом любыми средствами добраться до своей части и вместе со всеми пробиваться из окружения.

Полумрак подвала и похоронные настроения его обитателей показались нам слишком уж тягостными. Мы отказались от приглашения поужинать со всеми и поспешили выбраться на поверхность. Наша новая знакомая пообещала, что придет следом и, может быть, вместе с сестрой...

Мы уже находились в нашем сомнительном укрытии без стены, когда я подумал, что девушка может побояться идти одна, и вышел, чтобы встретить ее. Но каково было мое удивление, когда вместо одной Ани я увидел двух совершенно одинаковых, идущих мне навстречу. Они знали, какое произведут впечатление, и были невозмутимы. Сходство было поразительным, и отличить ту, с которой мы уже были знакомы, от новенькой, было невозможно. Девушки Клава и Аня успели принарядиться и выглядели замечательно, но их грустные лица и отрешенность во взгляде говорили не столько о смятении, сколько о безысходности... Вскоре выяснилось, они сами признались в этом, и это было их совместным решением — «покончить с собой, чтобы не стать утехой фашистской солдатни». Приглашение на прощальный вечер от таких же, как и они обреченных, как им показалось, только отсрочило исполнение их непреклонного решения. Все выглядело неправдоподобно, излишне романтично и даже выпендрено, но это были издержки лучшего в мире недостатка — молодости. Мы не скрывали от Ани и Клавы всей трудности нашего положения, но ведь и их ожидала не лучшая участь. Девушки просили взять их с собой, но ведь нам некуда было их брать, и они это понимали...

Несмотря на то что где-то поблизости гуляла и бесновалась война, мы тихо пели песни. Понемногу запас спирта убывал, и, несмотря на то что мы разбавляли

его колодезной водой, наша трезвость терпела все больший и больший ущерб. Фронтальная норма — сто граммов на человека — была уже определенно превышена, но полное сокрушительное опьянение, не наступало. Даже у девушек. Я робел от необычно открытого для меня общения (это была Аня), от ее отчаянной, по моему тогдашнему мнению, свободы и желания сразу стать многоопытной и свободной женщиной. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и эта близость вызывала во мне и трепет, и смущение, была и высокой, и требовательной, и суматошной, и нетерпеливой... Опьянение ударило внезапно и резко, как враг, — первый барьер запрета был преодолен и радости не доставил... Петро и Клава куда-то исчезли, растворились в густых сумерках. Через проем отсутствующей стены была видна беспредельность неба, и отсветы пожарищ, разрывов и всполохов играли на обрывках мчащихся облаков... Мы не то дрались, не то раздевали друг друга — в этой сумятице и смятении нам предстояло познать что-то возвышенное... А мы не умели познать даже самих себя, даже самое близкое, самое прижатое к тебе в этот миг существо... Скорее всего, мы прятались друг в друга от войны... Нет, спирт не помощник в познании мира. Не помощник и в познании женщины. Тут нужен спиритус — дух мира, преданный самому высокому духу любви. Это не была ночь любви — это была ночь всего-навсего первого соития, бестолкового, ищущего спасения и не находящего его. Это была ночь первого поражения, которое следовало искупить, — тогда я еще не знал, как и чем.

Проснулся я на рассвете, с ощущением тяжести и непоправимости — непоправимым казалось все. Рядом со мной была девушка. Ее звали Аня. Она крепко спала. Даже безмятежно... Значит, все, что произошло этой ночью, не приснилось... Я досадовал на себя за то, что был больше пьян, чем опьянен случившимся. Я упустил что-то очень важное, что-то такое, что не повторяется, что прошло мимо меня и никогда уже не вернется. Осторожно, чтобы не разбудить ее, я поднялся, вышел из помещения. Заглянул в соседние здания. Осмотрел все развалины — ни Петра, ни Клавы нигде не было.

Послышался шум моторов. К зданию подъехало несколько машин. Впереди легковая с офицерами, за ней штабной автобус и несколько грузовиков. Я подбежал

к легковушке и обратился к старшему по званию — это был майор, — объяснил ему, что смог. Майор знал наш полк и сказал, что, судя по всему, его отсекли. И даже если полк еще не полностью уничтожен, то пробиваться к нему бессмысленно. Майор приказал следовать с его колонной. Раздалась команда: «По машинам!». Не помню, как мы прощались, и были ли секунды для прощания с Аней... — вскочил в кузов уже отъезжающего ЗИСа, и пыль закрыла это последнее убежище.

Так всегда уезжают солдаты — наспех, будто ненадолго, и чаще навсегда.

3. ИЗЮМ — БАРВЕНКОВСКАЯ МЯСОРУБКА (позднее названная «неудачей под Харьковом»)

Колонна медленно продвигалась вперед. Вокруг было относительно тихо, лишь издали доносился оружейный грохот. Миновали село и выехали в открытое поле. Внезапно сбоку из перелеска на нас обрушился минометный залп. Машины приостановились. И тогда, передав по колонне команду: «Делай, как я!», головная машина, а вслед за ней и остальные, повернули под прямым углом вправо и устремились развернутой цепью к перелеску. Оттуда навстречу нам ударили пулеметные и автоматные очереди. Машины мчались вперед по полю. Свистел ветер, свистели мины и пули, ревели моторы. Перелесок был уже совсем близко. Мы открыли ответный ураганный огонь из автоматов и винтовок. И хотя стрельба из несущихся по неровному полю машин не могла быть прицельной, все же наши отчаянные и дружные действия ошеломили немцев, и огонь с их стороны затих. Но тут же возобновился с такой силой, что очень скоро почти все машины оказались выведенными из строя. Рядом с нашим ЗИСом разорвалась мина. Водитель был убит, несколько человек получили ранения. Я выбрался из кузова и вместе с другими продолжал бежать вперед, пригибаясь, падая и вскакивая вновь. Но мы так и не смогли прорвать цепь гитлеровцев и вынуждены были отойти назад, залечь. А ночью попробовали повторить прорыв. Но фашисты не жалели ракет, освещали подступы к своим позициям, и все попытки прорваться ни к чему, кроме жертв, не привели.

Едва начало светать, в небе появилось два самолета. Когда они приблизились, от их фюзеляжей отделилось два темных предмета, и сразу же над ними раскры-

лись купола парашютов. Кто-то, не разобравшись, крикнул: «Немецкие парашютисты!». По ним открыли огонь и расстреляли последние патроны. Лишь потом мы сообразили, что это наши самолеты сбрасывали нам боеприпасы. А парашюты ветром отнесло в расположение немцев.

Утренний ветер окончательно очистил небо. Предстоял жаркий день. Первые лучи осветили поле ночного боя. Чернели подбитые машины, в невысокой траве лежали неподвижные тела. Среди них я увидел майора. К смерти, даже встречаясь с ней ежедневно, ежечасно, я так и не мог привыкнуть.

Тишина воцарилась над полем. Но она была недолгой. В небе снова послышался гул моторов. Показалось несколько бомбардировщиков. Они вытянулись в цепочку, сделали круг над нами, а там, пикируя с ревущими сиренами, по очереди прицельно начали сбрасывать бомбы прямо на нас. В открытом поле остатки колонны были хорошей мишенью. Снова из леса раздались выстрелы. Ответить на них было нечем. Ждать чего-то — бесполезно, надеяться — только на чудо. Мы стали отходить к ложине. Задержались у брошенного грузовика. Чудом удалось его завести. В кабине — еще везение — оказался автомат с нерасстрелянным диском. Услышав шум двигателя, к грузовику уже бежали те, кто остался в живых. В этот момент снова появились «юнкерсы». Все бросились прочь от машины. Снова земля содрогалась от взрывов бомб. Когда самолеты улетели, к машине подошла лишь небольшая горстка бойцов, среди них уже не было нашего водителя. Мотор еще работал. Мне пришлось сесть за руль. Рядом со мной оказался сержант. А сбоку уже бежали немецкие автоматчики.

Сержант высунулся из кабины и дал очередь из автомата. Я нажимал до отказа на газ, но чем быстрее мы двигались, тем стремительнее приближались к развязке.

Дорога шла под гору. Впереди, в низине, на огромной ровной площадке, окруженной голыми холмами, я увидел множество наших бойцов, повозок и машин. С каждой минутой их количество увеличивалось. Они вливались в низину со всех сторон, словно потоки воды после ливня. Неразбериха царила полнейшая. Что делать и куда деваться — никто не знал. Да и деваться, собственно, было некуда: кругом на высотках немцы, а внутри этого ужасного котла — наши, растерянные, мечу-

щиеся, не имеющие шанса выжить, без боеприпасов, без горючего.

В небе снова послышался нарастающий гул моторов. Приближались бомбардировщики. Казалось, они закрыли все небо. И началось светопреставление...

Взрывы сливались в сплошной грохот. На смену отбомбившимся эскадрильям прилетали новые.

Я укрылся в воронке от бомбы, знал, что вторичное попадание в ту же воронку — маловероятно. В этой же воронке залег еще один солдат. Он сразу плюхнулся на дно лицом вниз, прикрыл голову руками. Я же, как делал это обычно во время бомбежек, лег на откос воронки лицом вверх, так, чтобы видеть направление падающих бомб. Делал это по привычке, усвоенной еще из занятий боксом — встречать удар с открытыми глазами. Следя за надвигающейся волной «юнкерсов», я видел, как из-под фюзеляжей появлялись одна за другой, с одинаковыми интервалами, черные точки бомб. Они устремлялись вниз по пораболе, и можно было приблизительно определить место их приземления. Но вот я заметил, что несколько бомб летит прямо на нас...

— Уходим! Здесь накроет! — крикнул я, вскочил и бросился бежать. Взрывной волной меня кинуло на землю.

Когда отгремели разрывы и дым рассеялся, я вернулся к воронке. Она была разворочена прямым попаданием. На дне, перемешанные с землей, виднелись куски шинели и сумка от противогаза. Метрах в тридцати от воронки лежало окровавленное тело того самого солдата. К нему трудно было подступить, — он весь был иссечен осколками и истекал кровью. Тут уже нельзя было помочь. Попытался позвать кого-нибудь на помощь, но куда там — каждый, используя короткую передышку, старался поглубже зарыться в землю. Если не было лопаты — скребли грунт касками или штыками, а то и просто руками... Новая воздушная атака заставила меня прижаться к земле.

В этом огненном смерче даже мертвые не обретали покой. Вместе с живыми их швыряло взрывной волной, кромсало уже искореженные тела. Они подскакивали, падали, вздрагивали от новых разрывов и попаданий осколков.

Когда бомбардировщики улетели, тишина установилась лишь на миг. Ее разорвали орудийные и минометные залпы. Воздух наполнился ревом снарядов и воем мин. Они летели со всех сторон, добывая то, что еще

уцелело. От непрерывного грохота в ушах стоял звон. Кругом дым и пламя, кровь и стоны. Сознание уже плохо воспринимало то, что творилось вокруг.

Из-за холма показались немецкие танки и бронетранспортеры. За ними шли автоматчики. Начался последний акт кровавой бани. Недалеко от меня поднялся незнакомый капитан с окровавленной повязкой на голове. В руке — граната.

— За мной! — крикнул капитан.

Те, кто еще мог подняться, устремились вперед. Мы шли во весь рост, собрав последние силы и волю, навстречу танкам и автоматчикам, не обращая внимания на свист пуль и осколков. Диск автомата давно уже был пуст. Я схватил его за ствол, готовясь использовать автомат как дубину в рукопашном бою. Вот тут пожалел, что в руках у меня не винтовка со штыком. Хотя против брони и она была бы бесполезной.

Наша немногочисленная цепь с каждым шагом редела. Упал и капитан, так и не успев метнуть свою гранату.

«Когда же моя очередь?» — мелькнуло в голове.

Всплеск ослепляющего огня. Земля вздыбилась, ушла из-под ног. На меня обрушился поток песка... Все затихло, замедлилось и стало куда-то проваливаться. Вот она!..

Пришел в себя, когда танки и бронетранспортеры были уже рядом. Попытался подняться, но помешала резкая боль в ноге. Галифе на колене рассечены и пропитаны кровью. Ранение в колено. Как ни странно, при виде крови мысли снова приобрели ясность. С бронетранспортеров уже кричали: «Русс, комм!».

Не обращая внимания на гитлеровцев, я начал вытаскивать из песка свой сапог, непонятно когда и как снявшийся с ноги. Ко мне подскочили двое. Один целил в голову, другой замахнулся автоматом. В голове шум. Все происходящее — как будто наблюдаю со стороны. Все как бы происходит уже не со мной и кажется безразличным. Немцы увидели, что я ранен, подтащили к бронетранспортеру и бросили в кузов. Машина развернулась и двинулась в обратном направлении. Рядом конвоировали большую группу пленных. Затем в кузов бросили еще двух раненых.

Тем временем бронетранспортер подъехал к месту, где уже было собрано множество пленных. Это те, кто остались в живых. Чуть в стороне от общей массы на земле лежали и сидели раненые. Туда же сгрузили и

нас. Не надеясь на помощь, я достал из кармана индивидуальный пакет и перевязал рану.

Никто из раненых не кричал и не просил о помощи. Безднадежность положения была очевидна. Слышались приглушенные стоны и непрерывно повторяемое слово «пить». Недалеко от меня, скорчившись, сидел солдат с распоротым животом. Он пытался затолкать обратно вывалившиеся внутренности. Но их почему-то казалось слишком много, и те, что не уместились в животе, он держал в руках, беспомощно озираясь по сторонам, не зная, что делать. Очевидно, осколок только вспорол брюшину, ничего не повредив.

Рядом лежал пожилой солдат, тоже раненный в живот. Лицо его было желто-серым, как у покойника. Пуля, оставив на теле крохотное лиловое пятнышко, застряла внутри. Шансов выжить у него было не много. Вокруг раненых вилось огромное количество мух и слепней. Особенно они досаждали тяжелораненым. Насекомые облепляли лица, набивались в рот, нос, открытые раны. Один солдат еще пытался языком выталкивать мух изо рта. Они выбирались оттуда, но тут же заползали обратно. Вскоре и эти слабые движения языка прекратились...

Раненые все прибывали. Их подвозили на крестьянских повозках, запряженных тощими лошадьми, вероятно, взятыми в ближайших селах.

Подъехало несколько легковых машин. Из них вышли щеголеватые эсэсовские офицеры с кокардами в виде черепа на фуражках. Один из них, окинув взглядом огромную массу пленных и гору трофеев, сказал, обращаясь к остальным: «Жаль, что маршал Тимошенко не присутствует при этом. В знак благодарности за такой весомый вклад в нашу победу фюрер зарезервировал ему рыцарский крест!..» — Я готов был провалиться сквозь землю от стыда и позора. Был уверен, что маршал Тимошенко уже пустил себе пулю в лоб. Но, как выяснилось позднее, он оказался дважды Героем Советского Союза, и его звонкое имя было присвоено одной из военных академий!..

Но вернемся к ходу событий на грешной земле.

С помощью громкоговорителя офицер СС объявил на ломаном русском языке:

— Евреям и комиссарам, выйти вперед!..

Вышли человек двадцать. Посчитав, что этого недостаточно, несколько эсэсовцев прошли вдоль рядов пленных, выталкивая вперед тех, кто, по их мнению, должен

был выйти добровольно. Комиссаров сразу же увели, а евреям — их было девять — дали лопаты и приказали копать яму рядом с тем местом, где лежали мы — раненые.

Тем временем появился врач в офицерской форме. С помощью пленных санитаров он начал осмотр раненых. В руках у него был стек, которым жокеи подгоняют лошадей. Концом этого стека он открывал или ощупывал раны. По его указанию одним делали перевязки, других тут же клали на повозки и увозили, третьих оставляли лежать, не оказывая никакой помощи. Шла квалифицированная сортировка: на тех, кто еще может сгодиться, и тех, кого в отходы. Дошла очередь и до меня. Я размотал бинт. Врач стеком отвел разорванную штанину и жестом приказал согнуть и разогнуть ногу. Тут он обратил внимание на еще свежий шрам от первого ранения разрывной пулей.

— А это что такое? — спросил он по-немецки, больше обращаясь к самому себе.

— Июль сорок первого, оборона Днестра, — также по-немецки ответил я.

Врач изумленно посмотрел на меня и спросил:

— Откуда ты знаешь язык? Почему такое произношение?

Я ответил, что немецкий изучал в школе. Не стал объяснять, что это была за школа. Врач хотел еще что-то спросить, но в это время лежащий рядом раненый попросил пить.

— Чего он хочет? — спросил врач.

— Он просит пить. Его, так же как и всех нас, мучает жажда, — сказал я, хотя и не очень надеялся, что мои слова примут во внимание. Но, к удивлению, врач тут же распорядился, и раненым дали напиться. Утолив жажду, кто-то сказал:

— Теперь можно и помирать.

— Да уж скорей бы прикончили. Сил больше нет терпеть, — со стоном отозвался раненный в живот.

— Ничего, ребята, еще повоюем, — подбодрил другой.

— Да гори оно все синим пламенем! — выкрикнул кто-то. — Думаешь, они с нами возиться будут? Вон, могилу-то роют.

Яма действительно уже достигла размеров, позволяющих захоронить в ней не один десяток. Видны были уже только головы копающих. Эсэсовец с автоматом на груди подгонял их. Затем он приблизился к краю

ямы и, уперев приклад автомата в живот, дал короткую очередь. Из ямы раздались крики, потом стоны. К яме подошли офицеры. Они вытащили пистолеты, и каждый всадил по пуле в тела на дне ямы. Смолкли и стоны. Все было кончено.

Санитары слегка присыпали землей тела убитых и стали стаскивать в ту же могилу умерших от ран. Живых пока не тронули. Могила еще не была заполнена. Прозвучала новая команда. Заработали лопаты, и вскоре над братской могилой образовался невысокий холмик, аккуратно выровненный санитарями. Когда закончилась и эта работа, гусеничный бронетранспортер утрамбовал и сравнял свеженаасыпанный холм с землей.

После этого на бронетранспортер взобрался офицер. Он обратился с речью к пленным, возвестив о том, что война, развязанная комиссарами и евреями, для них уже окончена, и скоро всех распустят по домам. Офицер еще что-то говорил об освобождении всей Европы от коммунизма, но его слова не доходили до моего сознания. Перед глазами стояла только что виденная расправа.

Закончилась речь нацистского оратора. Пленных построили в шеренги по двадцать человек. Образовалась необозримая колонна. Раненые оставались на месте. Кто-то сказал:

— Ну все, ребята. Их уведут, а нас прикончат.

Но, видно, и на этот раз нам не суждено было умереть.

Тех, кому сделали перевязки, погрузили на повозки, и вся огромная людская масса неуклюже двинулась в путь, постепенно заполняя все неоглядное пространство.

Эту нескончаемую колонну повели по непаханным и паханным полям. Десятки и сотни тысяч ног так утрамбовали землю, что лошади везли свои нагруженные ранеными повозки, словно по накатанному шляху. Это чудовищное шествие обходило деревни и огибало перелески. Да и по ширине своей не могло вместиться оно ни в одну деревенскую улицу, ни в одну лесную просеку.

По бокам шли бронетранспортеры. Между машинами шагали солдаты с автоматами в руках. В пути пристроили еще несколько колонн. К исходу дня общая длинна колонны уже достигала нескольких километров.

Горестными взглядами местные жители провожали нескончаемый поток пленных. Выкрикивали фамилии — не отзовется ли кто из близких.

— Сколько ж вас, родимые! — услышал я женский голос. — Уже второй день мимо нас идете, а конца не видать!

Я собрался с силами, приподнялся и оглянулся назад. Наша телега в это время проходила вершину возвышенности. То, что увидел, трудно было себе представить и описать. Длина колонны вытянулась настолько, что не видно было ни начала, ни конца. И голова, и хвост колонны скрывались за горизонтом. Сколько же тут было нас?..

Я мысленно прикинул: в обозримом пространстве в обе стороны на длине примерно в 8 километров могло разместиться не менее 4 тысяч шеренг (даже при дистанции между движущимися шеренгами в 2 метра), или $4\,000 \times 20 = 80\,000$ человек. Примем это количество пленных за одну условную колонну длиной 8 километров. При средней скорости движения 4 километра в час, колонна пройдет мимо условной точки отсчета за 2 часа, а за день (8 часов) может пройти четыре таких колонны, или $4 \times 80\,000 = 320\,000$ человек за один только день! Не мог поверить... Решил посчитать по-другому.

Предположим, что шеренги проходят условную точку отсчета с интервалом в 1,5 секунды, за один час пройдет 2 400 шеренг, а за день $2\,400 \times 8 = 19\,200$ шеренг, или $19\,200 \times 20 = 384\,000$ пленных только за один день. А если за два дня? Да еще учесть: огромное число убитых и тяжелораненых? Мне трудно выговорить эту умопомрачительную цифру наших потерь всего в одной операции. Трудно поверить, в такое количество погубленных человеческих жизней в результате «неудачи наших войск под Харьковом», как скромно потом назовут эту, вероятно, самую ужасную и до сих пор скрываемую трагедию второй мировой войны. Приведенный здесь расчет построен на увиденном собственными глазами и подтвержден жителями, свидетелями этого бесславного зрелища. По тогдашней сводке Совинформбюро наши потери составили: 5 тысяч убитых и 70 тысяч «пропавших без вести», превратившиеся позднее, усилиями целой когорты военных историков и энциклопедистов, более чем через четверть века, в «наши общие потери» под Харьковом весной 1942 года в 250 тысяч человек!

Но как тогда объяснить, что именно на этом направлении немецкие войска всего за два последующих месяца совершили многотысячный бросок до Сталинграда на Волге, с захватом огромной территории вплоть до Северного Кавказа?.. По данным немецкого

командования, потери Красной Армии в Харьковской операции составили более 400 тысяч человек только пленными. Здесь надо принять во внимание, что это произошло не в первые месяцы войны. Уже была победа наших войск под Москвой (потери от которой тоже пора бы посчитать подобросовестнее и понаучнее — они, победные, будут не далеки от харьковских разгромных). Уже успешно прошли осенние и зимние наступательные частные операции на многих участках фронта. Стал очевидным провал гитлеровского блицкрига. Наметился некоторый перелом в нашу пользу. Скачок вермахта оказался возможным из-за огромной брешы в нашей обороне. Он действительно поставил под угрозу само существование нашего государства. Потерю почти миллионного войска со всем вооружением не так-то просто было восполнить. Только к концу 1942 года удалось заполнить эту гигантскую брешь и собрать силы для нового наступления.

Откуда же такая огромная цифра наших потерь? Ведь если верить опубликованным в советской и зарубежной литературе данным, в Харьковском наступлении участвовало всего 640 тысяч наших войск. Уже тогда, во время нахождения в разведгруппе фронта, мне стало известно, что в этой операции, помимо трех основных армий Юго-Западного фронта, будут участвовать и другие войсковые соединения, переброшенные с других фронтов или из резерва. Они были включены в состав основных трех армий. Это держалось в строжайшем секрете в целях дезинформации противника.

После провала наступления об этих частях нигде не упоминалось. Кроме того, наступление поддерживали части двух соседних фронтов.

Все это гигантское войско, вся эта трудноисчисляемая масса людей, всего несколько дней тому назад представляла собой огромную силу. Ту силу, с помощью которой доблестное командование, во главе с удивительным маршалом Тимошенко, намеревалось «полностью и окончательно освободить от захватчиков ВСЮ УКРАИНУ!...» Вот такая это была сила.

Теперь плененные, без толики своей вины, они шли, униженные, уже отторгнутые и преданные анафеме Родиной, изнывая от жажды и голода. Жители близлежащих деревень выходили к колонне, но их не подпускали близко. Тех, кто пытался передать или перекинуть кусок

хлеба, картофелину или протянуть кружку воды, отгоняли прикладами. Если кто-то пытался выйти из строя или приостанавливался, чтобы принять подавание, тут же раздавался выстрел. Иногда как предупреждение, но чаще — без промаха, наповал.

Когда на пути встретился перелесок, двое из нашей колонны бросились в сторону. Пули настигли их раньше, чем они успели пробежать треть пути...

Время от времени выстрелы раздавались то впереди, то сзади, то совсем рядом. Убитых, на устрашение живым, не убрали.

Пленных гнали, не давая ни пить, ни есть. Только с наступлением сумерек раздалась команда остановиться. И сесть. Как подкошенные, валились на землю и тут же засыпали. Те, кого команда застала в сырой низине, спали в хлюпающей жиже. Сходить с места запрещалось.

Едва рассвело, пленных погнали дальше. Тех, кто не смог встать, конвоиры поднимали прикладами и коваными сапогами. Снова слышались короткие автоматные очереди и одиночные выстрелы. Палило солнце. Жажда становилась все нестерпимее.

Я увидел, как несколько человек, шедших за повозками, бросились пить еще не успевшую впитаться в грунт пенистую лошадиную мочу.

К вечеру третьего дня нас пригнали к месту назначения. Это была та самая окраина Харькова, где остановилось наше наступление. Огромная территория была огорожена колючей проволокой в два ряда и разделена на несколько загонов. В одном из них немцы установили три больших котла, вроде тех, в которых варят асфальт. Ведрами натаскали воду в котлы и развели под ними огонь. Из карабинов охрана пристрелила лошадей, на которых привезли раненых. Туши рубили на куски и бросили в котлы. Вода начала закипать.

Тысячи голодных глаз наблюдали за этой процедурой. Немцы вышли из загона, у котлов остались только повара из числа пленных. Этого, казалось, только и ждала вся огромная масса людей. В одно мгновение она смела заграждения между загонами и ринулась к котлам. Те, что бежали первыми, успели выхватить из кипящей воды еще сырые куски конины. Но задние тут же подмяли под себя передних. В несколько секунд котлы скрылись под облепившими их людьми. Послышались душераздирающие крики. Они вывели из оцепене-

ния охранников, и те сделали несколько выстрелов в воздух. Это никого не остановило. Люди по опрокинутым телам продолжали карабкаться на котлы. Задние сталкивали в кипящую воду передних. Лишь после того как охрана открыла огонь по людям и уложила несколько человек, людская волна отхлынула назад.

Прежде чем началась раздача похлебки, пришлось выловить из котлов сварившиеся трупы с неестественно огромными, вылезшими из орбит глазами. Количество желающих получить порцию похлебки заметно убавилось...

После Харьковской операции гитлеровцы стали использовать пленных на устройстве и ремонте дорог. Те, кто попадал в рабочие команды, получали скудное, но регулярное питание. Это спасало от голодной смерти и, кроме того, давало надежду на побег. В команды немцы отбирали тех, кто здоровее, и тех, у кого оставалась более или менее прочная обувь. Предпочтение отдавалось тому, кто хоть немного понимал немецкую речь. Я быстро сориентировался и был включен в одну из рабочих команд. Для большей надежности и чтобы не вызвать подозрение своей настоящей фамилией и именем — назвался Альфдером Витвером. (Моя настоящая фамилия, весьма распространенная в Англии, читается, как Уитмен.) О ранении я умолчал. На вопрос о национальности сказал, как было на самом деле: по метрике — русский, а фамилия от предков, переселившихся в Россию, кажется, из Прибалтики еще при Петре Первом.

Нас посадили в грузовик и после недолгого пути разместили в здании тюрьмы на Холодной горе (так называлось место в городе).

Лежа на нарах, я обдумывал варианты побега, отработывал легенду для передвижения по дорогам, для предстоящих действий. Вынужденное безделье способствовало заживанию раны. Это продолжалось целую неделю. Потом нас снова погрузили в машину. После нескольких часов пути, когда уже начало темнеть, высадили на опушке леса у кирпичного сарая. Здесь, как выяснилось, размещалась саперно-вспомогательная часть. Внутри сарая на полу была разостлана солома. После голых тюремных нар и долгой тряски в кузове она показалась пуховой периной. Так прошла еще одна ночь.

Утром звякнул замок. Унтер-офицер открыл дверь сарая, приказал всем построиться. Еще один унтер перечислил наши обязанности, предупредил о необходимости их выполнения. Сказал, что за добросовестную работу мы будем получать двухразовое питание в виде порции хлеба и миски супа.

Завтрак состоял из чечевичной похлебки и куска хлеба, что тоже было неплохо. После этого нас разделили на две группы. Одну отправили куда-то пешком в сопровождении конвоя и повозки с лопатами и кирками; другую, где оказался и я, посадили на грузовик и повезли в карьер. Здесь добывали гравий и щебенку для дорожных работ. Целый день на солнцепеке или под дождем надо было нагружать грабарки или дробить камни, превращая их в щебенку. В карьер нас доставляли на грузовике, но обратно чаще всего шли пешком. Конвой из пожилых резервистов не очень подгонял нас, да они и сами, кстати, никуда не торопились.

Каждое утро унтер-офицер отбирал одного-двух пленных для работы на пищеблоке: рубить дрова, носить воду, чистить котлы. Пришла и моя очередь. Повар, немолодой баварец по имени Клаус, был незлобив, но сердился, если пленные его не понимали. Очевидно, он полагал, что все должны понимать по-немецки. При этом он относился к пленным сочувственно и даже подкармливал тех, кто поступал в его распоряжение. Порой украдкой от конвоя он давал с собой кусок колбасы или хлеба с маргарином. Скрывая знание немецкого языка, я, разумеется, понимал все, что говорил Клаус, и точно выполнял все его распоряжения. За это повар проникся ко мне особым расположением и хвастался, что ему попался очень сообразительный русский. Клаус договорился с унтер-офицером, и меня стали часто посылать на кухню. Это было весьма кстати для восстановления сил. Иногда Клаус давал мне что-нибудь с собой, и тогда я имел возможность поддержать товарищей.

Не раз мне приходилось наблюдать раздачу пищи на полевой кухне. Солдаты подходили строем с котелками. Обед состоял из двух блюд и кофейного напитка на третье. Этим же напитком наполняли личные фляжки. Местную воду солдаты для питья не употребляли. Холодный кофе хорошо утолял жажду в жаркие летние дни. Больше всего меня удивило то, что и рядовые, и офицеры, включая полковника, получали пищу из общего солдатского котла. Однажды я видел, как генерал

подошел с котелком к кухне, и ему налили того же супа, что и всем. У нас на походной кухне питались только рядовые и сержантский состав. Средний и высший комсостав имел отдельных поваров, и еду ему доставляли их денщики. И это все несмотря на то, что мы называли и называем генерала товарищем, а они господином.

Однажды нас не вывели на работу. Целый день держали взаперти, а вечером, когда стемнело, всех построили возле сарая. Саперная часть уже растянулась в походном марше по дороге. Нас пристроили в хвост колонны. Замыкали ее несколько повозок с инструментом и другим имуществом. По бокам и сзади нас шагали конвоиры. Это были те же солдаты-резервисты, сопровождавшие нас на работу. Обычно немцы перегоняли пленных только днем. На этот раз ночной переход, видимо, диктовался условиями маскировки.

Понимая, что другого такого случая может не представиться, я решил бежать этой же ночью. Но светила луна, и небо как назло было чистым. Прошло два часа, когда, наконец, появились тучи. Луна скрылась. Стал накрапывать дождь. В этот момент колонну нагнало несколько грузовиков. Была дана команда остановиться и сойти на обочину. Воспользовавшись этим, я присел на землю, делая вид, что поправляю портянку. Оглянулся на конвоира. Он внимательно смотрел на проезжавшую мимо машину. Лучшего момента не придумать. И в то же время отчетливо, словно это уже произошло, я представил себе развязку в случае неудачи. Страх парализовал меня. Я не мог пошевелиться, но, понимая, что конвоир каждую секунду может повернуть голову в мою сторону, я наконец решился. Медленно припал к земле, скатился в кювет и замер, уткнувшись лицом во влажный грунт. Неистово колотилось сердце, заглушая шум проезжавших мимо автомашин. Но вот рокот моторов стал отдаляться. Послышалась команда, строй зашагал дальше. Я плотнее прижался к земле, ожидая, что вот-вот на голову обрушится удар прикладом или спину прошьет автоматная очередь. Причем я даже физически ощутил, куда именно попадут пули. Слышно было, как совсем рядом с кюветом прошел конвой. Проскрипели колеса повозок. Одна, вторая, третья... Медленно наплывала тишина ночи.

Еще не веря, что уцелел, я пополз в сторону от дороги, но потом вскочил и бросился в темноту, навстречу ветру и пьянящей свободе. Я словно летел, не чув-

ствуя боли в ноге. Бежал не останавливаясь, пока ноги не подкосились от усталости. Упал в траву совершенно обессиленный и счастливый. Сердце снова колотилось, но теперь уже от быстрого бега и радости освобождения. Кругом было тихо. Дождь кончился, и небо слегка розовело. Я поднялся и зашагал.

4. НА ОСТРОВКЕ

Первое селение я обошел стороной. Уже наступило утро, когда снова показались дома. Подойдя ближе, я спрятался в кустах и стал наблюдать. Никаких признаков того, что в селе немцы, не обнаружил. Из ближайшего дома во двор вышел старик. Спустя некоторое время появился мальчик лет десяти. Я подождал немного, вышел из своего укрытия и вошел во двор. Долго объяснять, кто я и как оказался здесь, не пришлось. Старик, Иван Тимофеевич, не докучал расспросами. Он подтвердил, что фронт отодвинулся далеко на восток и находится уже где-то чуть ли не за Ростовом... На то чтобы пробраться через линию фронта обратно к своим, потребовался бы не один месяц. Пройти сотни километров пешком, без документов, по наспигованной оккупантами территории — нет, такое решение представлялось бессмысленным.

Был еще вариант: продолжить борьбу, используя владение немецким языком а также некоторый опыт изнания, приобретенные в разведгруппе при штабе армии и в полковой разведке.

Я выбрал этот путь, весьма приблизительно представляя себе всю невероятную сложность выполнения такого решения.

Трудно сказать, что определило тогда мой выбор. Не думаю, что это было, говоря языком передовиц, «проявлением высокого советского патриотизма». Это был мой выбор — вот и все. Он обсуждению не подлежал.

Спасибо предкам, что оставили нам в наследство такую обширную территорию. Было куда отступать. А если бы Советский Союз по территории равнялся Германии или Франции? Или той и другой вместе взятым?.. Ведь уже через три месяца после войны он просто бы перестал существовать. Так быстро мы отступали, вдохновляемые и руководимые такими гениальными и прозорливыми, такими талантливыми и непобедимыми...

Хотя к началу войны, как спустя много лет признали историки, мы имели более чем трехкратное преимущество в количестве танков и почти двукратное — в самолетах. Уже на восьмой день войны численность Красной Армии почти вдвое превосходила численность гитлеровского войска. А наши производственные мощности по выпуску танков и самолетов были в полтора раза выше, чем у фашистской Германии. И тем не менее мы отступали, неся огромные потери. Часто в окружении, а затем и в плену оказывались не отдельные роты, даже не полки, а целые армии. И не всегда они проявляли необходимое умение, а то и должную стойкость, стремление бороться до конца... Да, мы победили. Но какой невиданно изуверской ценой! Цифра наших потерь в годы второй мировой войны за послевоенные десятилетия выросла уже в несколько раз. Теперь она приблизилась к 27 миллионaм. Кто знает, окончательный ли это итог?..

В сознании народа, поставленного под ружье, отразились и года насильственной коллективизации, и страшный голод, и массовые репрессии внутри страны, а потом и на присоединенных территориях Польши, Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии... Не все верили и разъяснениям проводимых внешнеполитических акций. Например, тому, что Финляндия начала первой военные действия против СССР. Не слишком правдоподобно выглядели и утверждения, что договор с Англией и Францией против Гитлера не был заключен по их вине. Для Англии, и особенно для Франции, это было вопросом жизни и смерти. Иначе зачем их посланники приезжали в Москву? Опрометчивым и непоследовательным представлялся и договор о дружбе с Гитлером, злейшем, как утверждалось еще недавно, врагом СССР и коммунизма. Все это мои личные и вечно бередящие душу сомнения. Но куда деться от них?.. Я знал тогда и верю теперь, что все эти мысли и соображения мучили не меня одного. Если уж самого Сталина да и Гитлера терзали сомнения, то нам и сам Бог велел — да еще через пятьдесят лет!.. Странная позиция — тупо стоять на своем, вопреки всем фактам, всем свидетельствам, всем догадкам, только потому, что отцы да деды думали так.

Взаимные действия Гитлера и Сталина после заключения этого договора напоминали состязание. Начали с того, что поделили Польшу. Потом Сталин присоединил Прибалтийские государства, Бессарабию, Северную Буковину. Затем, несмотря на наши заверения в друж-

бе и верности заключенному договору, началась ускоренная подготовка к войне с Германией. Уже в октябре 1940 года, когда практически все силы вермахта были сконцентрированы на побережье Ла-Манша для вторжения в Англию, началась переброска наших армий к западной границе. Я был свидетелем этого. И трудно было поверить заявлению ТАСС в мае 1941 года, где опровергался факт концентрации наших войск на границе¹. Чтобы это заявление выглядело правдоподобным, армии, стянутые к границе, приказом из Москвы были приведены в небоеспособное состояние. За несколько часов до начала войны (с точностью до часов можно было определить по донесениям разведки и заявлениям перебежчиков) командующий войсками, расположенными на центральном участке германо-советской границы, генерал Павлов получил приказ Сталина: «На провокации не отвечать». Таким способом Сталин рассчитывал убедить Гитлера в пылкости дружеских чувств к нему и верности договору!

Обороняясь, мы несли потери, в несколько раз превышавшие потери наступающих, — факт небывалый в истории войн. Все это не могло не отразиться на настроении солдат и офицеров.

Как ни парадоксально, нечеловеческие условия войны давали нам ощущение некоторой свободы. Мы чувствовали себя людьми, ответственными за судьбу нашей страны, ощутили свой долг перед ней.

Но не будем упрощать или впадать в крайности. Я видел и тех, кто искренне верил Сталину. Репрессивные органы, а также пресса, кино, театр, политорганы хорошо делали свое дело. Но если первые уничтожали физически, то последние калечили духовно, подменяя подлинные идеалы дутыми. И преуспели в этом, отдадим им должное. У читателя (слушателя, зрителя) рождается мысль: а может, так и надо! И это страшно! Меняются идеалы и убеждения, фраза «не могу поступиться принципами» становится фарсовой. Зато те, кто «умеет поступиться», — опять впереди. И уже от них я слышу: «Ату его, уберем, уничтожим, и — начнется новая жизнь!» И так хочется сказать: остановитесь, оду-

¹ Долгое время скрываемый факт концентрации наших войск на границе с Германией был впервые подтвержден только в 1986 году публикацией журнала «Огонек» в воспоминаниях маршала Жукова.

майтесь. Просто поймите или примите: еще есть здравый смысл. Есть вечные ценности — их даже не нужно придумывать заново. Нужно только следовать им в мыслях и поступках.

Чувство долга (как ни банально это звучит сегодня, но так было) руководило мной, когда я бежал из плена и решил, точнее, даже не решил, а просто точно знал, что буду продолжать борьбу, — а как же иначе?

Наверно, и перед этим в днепропетровском госпитале это чувство руководило мной, когда, не долечившись, я настаивал на отправке обратно на фронт. И добился того, что попал в распредбатальон. Вскоре туда прибыл представитель артиллерийской части — за пополнением. Я встал в строй. Среди нас оказалось несколько человек, опиравшихся на костыли или палку, был один с подвязанной рукой.

Им приказали покинуть строй. Я воспользовался тем, что стоял во второй шеренге, незаметно отбросил палку и был зачислен в полк.

Я случайно уцелел, став свидетелем одной из самых ужасных трагедий войны, когда в результате плохо продуманной, неподготовленной операции мы потеряли почти миллион человек. Я видел расстрел эсэсовцами наших пленных только за то, что они были евреями.

Но вот что странно: точно зная, что до конца буду продолжать борьбу с захватчиками, я почему-то не имел в виду немцев вообще как нацию. Более того, несмотря ни на что, я не испытывал к ним чувства ненависти, уже тогда понимая, что большинство из них вторглись на нашу землю не по своей воле.

Сейчас эта мысль представляется общепринятой, тогда же для меня это было болезненным открытием. Это открытие имело постоянные подтверждения — и не раз, и не два... Кстати, так уж получилось, что, участвуя почти в непрерывных боях с первого дня войны по июнь 1942 года, я не убил ни одного немца. Не могу сказать, что поступал так умышленно, тем не менее мой «лицевой счет» убитых так и остался неоткрытым (с той оговоркой, что артиллерийский огонь не в счет). Запомнился случай, происшедший в конце первой военной зимы. Полк тогда занимал позиции по берегу Северского Донца. На противоположном берегу — немецкие позиции. Пользуясь предрассветным затишьем, я выбрался из блиндажа подышать свежим воздухом. Слегка светлевшее на востоке небо еще не в силах было придать четкость очертаниям предметов на вражеской

стороне, и я не сразу заметил немецкого автоматчика. Он первым увидел меня, но почему-то не выстрелил. Нас разделяли каких-нибудь сорок-пятьдесят метров. У него автомат был на груди, мой — остался в блиндаже (а если бы был при мне, первым я все равно не смог бы выстрелить). Немецкий солдат с любопытством разглядывал меня. Потом начал негромко насвистывать нашу «Катюшу». Я ответил тем же. Возобновившаяся артиллерийская дуэль прервала наше преступное «музичирование». Мы разошлись по своим блиндажам. Была ли это случайность?.. Не знаю... Думаю, что нет. Поступок и немецкого солдата и мой считался воинским преступлением — хоть и молчаливый, а контакт с противником... Но немец тоже не выстрелил.

Теперь, когда фронт откатился далеко на восток, тыл противника становился для меня новым настоящим фронтом.

Знание языка и не столько даже языка, сколько владение подлинно немецким произношением, знание основных реалий жизни Германии открывало кое-какие возможности. Нужна была только связь с нашими. А это была проблема...

До города Сумы, где, по моим сведениям, должна была находиться конспиративная база, было немногим менее двухсот километров. Я решил направиться туда, чтобы отыскать ее, а если не удастся, то уйти к партизанам.

Я отдал старику свое военное обмундирование, получил взамен гражданские брюки, рубашку и картуз. Брюки были еще довольно крепкие, но рубашка настолько ветхая, что рукава пришлось тут же закатать, чтобы они не превратились в отдельные полоски.

Опасаясь погони, я решил переждать несколько дней, прежде чем отправиться в путь. Нашлось и подходящее укрытие. Сразу за домом находилось небольшое озерцо, заросшее камышом, с островком посередине. Пробраться к нему можно было по совсем незаметной тропке. Туда, на этот островок, и отвел меня дедов внук Гриша.

Однако то, что дед называл маленьким островком, оказалось большой кочкой, не слишком сухой и не очень твердой. Она была настолько мала, что не позволяла вытянуться во весь рост. Стоять же можно было только согнувшись или на коленях, иначе голова выглядывала из камыша. Чтобы не обнаружить себя, при-

ходило в течение всего дня лежать, поджав ноги, на влажной, зыбкой подушке. Только с наступлением темноты я с трудом поднимался, разминал затекшие конечности. Но стоило слегка потоптаться на месте, как под ногами начинала хлюпать вода. Днем одолевали комары, ночью, в мокрой одежде, невозможно было заснуть от холода. Вынужденное безделье усиливало эту лежащую пытку. К счастью, у меня сохранился крохотный, размером со спичечный коробок, словарь немецкого языка. В который раз перелистывая его, я коротал время. Если бы не это занятие, я не выдержал бы и трех дней, а пробыть на островке пришлось все десять.

В томительном однообразии тянулись нудные и в то же время изрядно напряженные дни. И надо было заставить себя обращаться мыслью не только в прошлое (куда тянуло), но и вперед — в опасное предстоящее...

В детстве у меня все складывалось как-то так, словно судьба заранее готовила к не совсем обычной доле. По соседству поселилась учительница немецкого языка, Маргарита Александровна. Она предложила нашим родителям за небольшую плату заниматься с детьми во время летних каникул. Образовалась группа из пяти ребятшек. С Маргаритой Александровной и между собой мы должны были говорить только по-немецки. А потом была немецкая школа.

После окончания восьмого класса я еще колебался в выборе профессии. Сразу пойти учиться в художественно-промышленное училище, куда только что объявили набор, или закончить десятый класс и попытаться поступить во ВГИК или архитектурный институт.

В ту пору как раз началась усиленная агитация: молодежь призывали идти в военные училища. Комсомольцев нашей школы пригласили в райком. Сперва уговаривали, потом начали настаивать, давить.

То же самое происходило и в других школах. Видно, была дана соответствующая установка. Предупредили, что «придется положить комсомольские билеты на стол!». Дрогнули наши ряды. Почти половина моих одноклассников поддались нажиму. Меня вызвали в районный военкомат и пригрозили, если не пойду в военное училище — забреют в пехоту на общих основаниях, рядовым...

Осенью 1939 года приказом наркома обороны был объявлен дополнительный призыв на действительную военную службу в Красную Армию студентов первого

курса ряда институтов. Я получил повестку явиться в военкомат, хотя в это время уже был зачислен студентом Московского архитектурного института. В ноябре меня «забрили», правда не в пехоту, как обещали, а в артиллерию. Освоение «матчасти» и прочих атрибутов военной службы больших затруднений не составляло (помогали среднее образование и спортподготовка). А тут еще угодил на дивизионную Доску почета как «отличник боевой и политической подготовки».

Прошло немного времени, и еще того не легче: мою фотографию вешают на гарнизонную Доску почета возле дома офицеров во Львове, — я действительно задержал пять странных поляков, — может быть, они и вправду хотели взорвать склад боеприпасов, а может быть, и нет. Я стоял на посту, они ехали на санях — я уложил их в снег и задержал. А позднее их нарекли диверсантами, хоть ружье у них оказалось охотничье. За все эти мнимые и действительные заслуги я угодил в курсантскую батарею, а это означало присвоение сержантского звания и лишний год службы. Как говорится — доигрался! Но характер есть характер и за его издержки надо нести ответственность и извлекать уроки. Надо было что-то срочно предпринимать. Нашлись единомышленники, оба тоже студенты из Москвы: Анатолий Харчев и Михаил Дадонов. Чтобы избежать присвоения звания, мы решили как-нибудь изловчиться и не выполнить приказ хотя бы командира отделения.

Когда все ушли на занятия, мы вдвоем остались в казарме. Свернули по длиннющей «козьей ножке», закурили и разлеглись одетыми на койках. Явился помкомвзвода. Приказал встать. Мы, конечно, не встали. Он поочередно приказывал каждому из нас взять винтовку и под конвоем отвести двух других на гауптвахту. В конце концов мы добились своего и добровольно, без всякого конвоя, сами отправились на гауптвахту. Просидели недолго. Пришел приказ выступать к границе (это был апрель 1941 года). Звание сержантов нам все же присвоили.

Началась Отечественная война. Ее первый день я встретил вблизи границы, в Бессарабии. В сержантах провоевал недолго, до первого ранения. Потом, при спешной эвакуации госпиталя и выписке в распредбатальон, снова, с моих слов, записали рядовым. Мне казалось, что лучше самому выполнять всякие приказы, чем приказывать другим и заставлять их выполнять.

Хотя военная судьба подбрасывала мне далеко не

рядовые роли, все же мне удавалось избежать официальной аттестации в офицерском звании. То же было и со вступлением в партию — отговаривался, что пока, дескать, я еще не достоин... При первом же представлении к награде комиссар полка не преминул заметить: «Был бы ты членом партии, представили бы тебя к более высокой награде...». Я его понял и потерял интерес к наградам.

Когда уже после войны, при демобилизации, встал вопрос о моем воинском звании, я остался верен своему главному званию и заявил: рядовой. Так и написали.

После ранения и госпиталя воевал в гаубично-артиллерийском полку 6-й армии Юго-Западного фронта, а затем был переведен в полковую разведку. Одним из поводов к этому, о котором я еще не говорил, послужил случай осенью 1941 года. Наш полк с боями отходил на восток. Непрерывные дожди превратили дороги в сплошное месиво. Автомашины без конца буксовали, и их приходилось все время толкать, подкладывая под колеса все, что попадалось под руку. Кругом — голая степь и только кое-где — не убранные с лета, потемневшие от сырости копны соломы. К одной из них кинулись наши бойцы, чтобы подложить солому под буксующие колеса. Конечно, они не подозревали, что в копне прятался немецкий разведчик, однако ребята не растерялись, выбили из рук пистолет, навалились. Немец, как затравленный, глядел на обступивших его красноармейцев. Впервые мы видели так близко живого врага. Это был молодой унтер-офицер, не блондин и не рыжий, какими в ту пору представлялись нам немцы, а темноволосый, с карими глазами. Не было в нем ничего звериного и устрашающего. Простой парень, совсем не похожий на гитлеровца в нашем представлении. Кто-то протянул ему закурить. Немец не взял, отвернулся. Подошел капитан Гецко. Начал задавать пленному вопросы, используя свой довольно скудный запас немецких слов. Гитлеровец упорно молчал. Один из наших сердобольных украинцев предположил: «Мобудь вин голодный?». Принесли котелок супа. Не берет. Так ничего и не добился наш капитан. Ушел организовывать отправку пленного в штаб. Велел нам присмотреть за ним. Мне захотелось попробовать разговорить немца. Не громко, как бы продолжая уже начатый разговор, спросил его,

как когда-то в немецкой школе: «Откуда сам-то будешь?».

Надо было видеть его реакцию: парень вздрогнул, подался всем телом ко мне; в глазах, до этого безразличных, мелькнул проблеск надежды.

— Вы немец? — шепотом спросил он.

— Нет, я русский, из Москвы. Слышал про такой город?

На лице пленного отразилась растерянность.

— Меня расстреляют? — не отвечая на вопрос, упавшим голосом спросил он.

— Мы пленных не расстреливаем. Тебя отправят в тыл.

Некоторое время немец молчал, потом сам попросил закурить. Он больше не упорствовал и начал отвечать на вопросы. Вернувшийся капитан был удивлен такой перемене в поведении пленного.

О том, как всего одна фраза развязала язык у пленного, стало известно не только в полку, но и в штабе армии. Это и повлияло на мою дальнейшую судьбу.

И вот теперь в течение дня я лежал или сидел на корточках на своем крохотном островке, и только с наступлением темноты ко мне пробирался Гриша с бутылкой парного молока и куском хлеба.

Шел пятый день добровольного заточения. Все было спокойно, и я решил на следующее утро отправиться в путь. Но в конце дня в деревню нагрянули гитлеровцы. Несколько мотоциклистов направились к дому Ивана Тимофеевича. У меня защемило в груди... Неужели узнали? Или кто-то донес?

Но солдаты не вошли в дом, потребовали молока, напились и вскоре убрались, заодно прихватили с собой корову. Ее привязали на длинной веревке к мотоциклу с коляской, а чтобы она быстрее бежала, наезжали на нее другими мотоциклами сзади, кричали и улюлюкали. Таким странным способом они развлекались или делали вид, что все это им доставляет удовольствие.

В тот вечер мальчик принес только кусок хлеба. В глазах его стояли слезы.

Не желая больше быть обузой для добрых людей и подвергать их постоянной опасности, я сказал Грише, что завтра утром отправляюсь в дорогу. Не прошло и часа, как на островок пришел сам Иван Тимофеевич и посоветовал не торопиться. У гитлеровцев, побывавших

в деревне, были нагрудные знаки полевой жандармерии, а к ним лучше не попадаться. Я послушался совета и отправился в путь только на одиннадцатые сутки. Я не знал еще, что это будет долгий и очень трудный путь.

Там, на этом островке, я решил, что всему, что не умею — научусь, и все, что суждено мне исполнить — исполню. И быть по сему! — Десять дней полного одиночества, в окружении постоянной опасности — это самая верная школа.

Возможно, такое самоограничение и постоянная боязнь совершить неверный шаг явились причиной того, что в памяти об этом периоде остались преимущественно черно-белые, иногда схематичные и скудные воспоминания, лишенные каких бы то ни было деталей и образности.

Домысливать теперь то, что тогда не отложилось в памяти, не хочу и вряд ли в этом есть нужда.

5. ДОРОГА, ДОРОГА...

С рассветом я покинул свое болотное убежище и зашагал в направлении Сум. Первая половина пути проходила по Курской области. Места эти и раньше никогда не славились особым достатком. Теперь же, после года войны, у людей ничего не осталось. Поля были не засеяны. В деревнях были только женщины, старики да дети. Первые встретившиеся на пути деревни я обходил стороной. В полдень, когда солнце стало припекать особенно жаростно и силы были на исходе, я свернул в небольшую рощу и подкрепился куском оставшегося у меня хлеба. После небольшого отдыха двинулся дальше. Селения все еще обходил.

В одном месте вышел на открытую поляну, окаймленную лесом, и увидел много подбитых и сожженных танков. Наши. Судя по всему, танки попали в засаду и были окружены. Стволы их орудий были повернуты в разные стороны. У одного танка башня была сорвана и валялась тут же, на земле. Я видел немало подбитых танков, но с оторванной башней — впервые. Это было так неестественно, как будто передо мной стояло живое существо без головы. Немецких танков не было, ни одного. Земля вокруг была изрыта воронками. Все говорило о том, что здесь произошел жестокий бой. И дрались здесь насмерть.

Наступал вечер, надо было подумать о ночлеге. Впереди показалось несколько изб. Обошел деревню вокруг и не заметил ничего подозрительного. Я постучался в дверь избы, стоявшей ближе к лесу. Дверь открыла молодая женщина. Я попросился переночевать, сказал, что был мобилизован на рытье окопов, а теперь возвращаюсь домой. Эту версию подсказал мне Иван Тимофеевич. Он, видимо, исходил из того, что выглядел я значительно моложе, чем был на самом деле, и легко мог сойти за допризывника. Не знаю, поверила мне хозяйка или нет, но в дом пустила. Жили они вдвоем с маленькой дочкой. Чтобы быть хоть чем-нибудь полезным ей, я нарубил дров, закрепил петли на двери; допоздна, при свете коптилки, провозился с ходиками, которые остановились еще полгода назад.

Спал я в эту ночь, впервые за многие месяцы, по-человечески, на сеновале, на сухом душистом сене. Встал поздно. Хозяйка возилась у печи, ходики на стене бойко тикали, показывали без четверти двенадцать. Поблагодарил хозяйку за гостеприимство и снова двинулся в путь.

Я выбирал малонаезженные проселочные дороги, и чем дальше шел, тем опустошеннее были деревни. У людей не оставалось ни зернышка, ни живности. Немногочисленные жители, чтобы не умереть с голоду, собирали картофельные очистки, мелко перетирали их, смешивали с истолченной крапивой и пекли такой хлеб. Но кусок даже этого хлеба был для меня тогда бесценным даром... Я быстро тощал и вынужден был часто отдыхать. Правда, на пути попадалось много щавеля и уже начала созреть земляника — это была моя пища, — но она плохо утоляла голод, а сбор ее сильно замедлял движение.

Однажды, поднимаясь по склону пригорка, я увидел очень много спелой, крупной земляники. Ненадолго приостанавливаясь, я стал собирать ее и отправлять в рот целыми пригоршнями. Но вдруг мне показалось, что к чудесному запаху земляники примешивается другой, уже где-то встречавшийся сладковато-тошнотворный запах. Поднялся на вершину пригорка. И тут мне открылось зрелище, при виде которого нельзя было не содрогнуться: на противоположном склоне под палящими лучами солнца лежало не менее сотни трупов. Это были наши солдаты, оставшиеся здесь, видимо, еще с зимы. На них были шапки-ушанки, надетые на черепа, обтянутые желтой высохшей кожей с темными впади-

нами вместо глаз. Вблизи не было селений, и некому было хоронить павших.

Как-то на подходе к деревне я услышал плач и причитания. Увидел несколько женских фигур у свеженасыпанного холмика земли. Сначала подумал, что здесь обычные похороны, но услышал проклятия убийцам и решил узнать, что произошло. Оказалось, что по деревням прошел отряд наших добровольных карателей, они чинили свою расправу. Только что они расстреляли здесь несколько человек. Женщины предупредили, чтобы я не заходил в Мироновку, соседнее село: там немецкая комендатура.

Я отправился дальше. Дорога была пустынной. В небе, как в мирные дни, звенели жаворонки. Как ни настраивал я себя на то, что постоянно нужно быть до предела внимательным, задумался или отключился и не увидел, как из-за бугра, совсем рядом, появились всадники в светлой форме карателей. Они заметили меня. Бежать было некуда, да и бесполезно. Один из всадников спешился, снял с плеча карабин...

— Кто такой? Виткиля идеш?

— С окопов иду до дому.

— Брешеш, гад, мабудь, з полону втик, али лазутчик? Признавайся!

— Ни, дядьку, ни який я не лазутчик, до матки иду, с окопов, — сам не знаю, почему и как я умудрился ответить по-украински.

— А ну, вывертай карманы, кацапская сволочь, ще пид вкраинца маскируется!

Я вывернул карманы.

— А что в руке ховаешь? — В руке я держал недоеденный кусок крапивного хлеба, завернутый в короткое немецкое полотенце, подарок повара Клауса.

Увидя полотенце с немецким штампом, каратели озверели. Очевидно, они заподозрили, что я убил гитлеровца. Удар прикладом свалил меня на землю.

— Сымай сапоги, вражина, они тобі більше не понадобятся.

Я начал стаскивать сапоги, и тут они заметили словарик спрятанный за голенищем. Это окончательно определило мою участь.

— Нечого с ним церемониться! Панасенко! В расход большевицкого лазутчика! — приказал старший должовязому карателю, тому, что ударил меня прикладом.

— Тилько отведи подальше от дороги, чтобы мертвячиной не воняло. Самим тут ездить придется.

— Вставай! — Панасенко ткнул меня карабином. — Шагай вперед, не обертайсь!

«Ну вот и все, — подумал я. — И зачем было оставлять при себе полотенце и словарь, выдавать себя за украинца?..» Бред! Все это могло бы послужить хорошим уроком на будущее. Но будущего для меня уже не было.

В этом мире мне осталось сделать несколько последних шагов. Вот каратель приостановился. Щелкнул затвор. Счет времени перешел на длинные секунды. Сейчас раздастся выстрел. И хотя уже ничто не могло помешать нажать на спусковой крючок, где-то в глубине сознания еще теплилась надежда на чудо... И оно произошло. Произошло неправдоподобно, как в плохом кинофильме.

Послышался цокот копыт. Кто-то подъехал... Отчетливо и громко прозвучала немецкая речь:

— Was ist los ¹?

— Партизана поймали! — послышалось в ответ. Я подумал, что появление немецкого начальника меняло ситуацию и надо было этим воспользоваться. Я обернулся и увидел двух новых всадников в немецкой форме: лейтенанта и унтер-офицера.

— Никс партизан, герр офицер, их мус нах гауз, мне нужно домой! — обратился я к офицеру, умышленно искажая немецкие слова, чтобы не вызвать еще большее подозрение.

— Wohin gehst du jetzt ²? — спросил он, обращаясь непосредственно ко мне.

Я понимал, что от ответа зависит моя участь. Вспомнил предупреждение женщин и не раздумывая ответил:

— В Мироновку, к немецкому коменданту!

Услышав название села, офицер что-то сказал унтер-офицеру.

— Пусть идет. В Мироновке наш комендант, он разберется, — перевел тот.

Мне уже приходилось замечать доверчивость немцев, когда к ним обращались на их языке, даже исковерканном до ужаса, но узнаваемом, — это всегда вызывало у них сначала удивление (дескать, и среди дикарей попадаются небезнадежные), а в следующий момент, как правило, они делали этому лицу какие-то по-

¹ Что случилось? (нем.).

² Куда ты идешь теперь? (нем.).

слабления. Все-таки язык (родной язык) — удивительное явление людской общности. На сей раз — пустяк — это обстоятельство спасло мне жизнь... Представьте себе, вот тут я вспомнил мою первую учительницу, немецкого языка.

Вполне возможно, что по той же причине не прикончили раненых возле меня в финале харьковского пленения, и мы не оказались в братской могиле вместе с расстрелянными евреями?.. Может быть, такое предположение иллюзорно, но когда балансируешь на грани жизни и смерти, даже незначительная деталь решает твою участь.

Осмелев, я подошел к Панасенко и забрал свои сапоги. Присел на обочине, не спеша надел их и зашагал дальше. Мироновку, естественно, я обошел стороной и с того дня старался держаться поближе к лесу. Если же путь проходил по открытой местности, — шел ночью.

Однажды после многих дней пути, совершенно обессиленный, я добрался до небольшого селения, расположенного в стороне от дороги, возле леса. Постучался в один из домов и был ошарашен, когда вместо женщины или старика, как это случалось обычно, дверь открыл сравнительно молодой, крепкий мужчина. Недоброе предчувствие охватило меня: уж не староста ли? Но повернуться и уйти было неразумно. Это вызвало бы еще большие осложнения. Я степенно поклонился ему, поздоровался и попросил разрешения отдохнуть. Сказал, что возвращаюсь с рытья окопов. Хозяин пригласил к столу и приказал жене хорошенько накормить меня. Пока я ел, он задал мне много разных вопросов. Не забывая при этом подливать мне в кружку медовуху, очень приятную на вкус, но не такую безобидную, как показалось вначале. Изрядно захмелев, я забыл о недобром предчувствии и искренне благодарил их за гостеприимство и доброту. Как бы невзначай хозяин похвалил меня за удачную выдумку, объясняющую мое появление в этих краях. В затуманенном мозгу снова мелькнуло подозрение, но усталость и медовуха так сильно клонили ко сну, что я был не в состоянии что-либо предпринять. Хозяин показал на сарай из жердей, что стоял в конце усадьбы на краю оврага, и сказал, что там, на сене, я смогу спать, сколько пожелаю. Не

в силах больше противиться сну, я отправился в сарай.

Разбудил меня легкий шорох крадущихся шагов. Стал всматриваться сквозь жерди сарая. Солнце клонилось к закату. От деревьев падали длинные тени. И тут я увидел гитлеровцев. Пригнувшись, они подкрадывались к сараю. Времени на размышления не оставалось. Одним рывком я раздвинул жерди со стороны оврага, заросшего крапивой, и нырнул вниз, как в воду. Высокая, густая крапива и руки, вытянутые вперед, смягчили удар. Несколько метров я скользил по жирной и влажной земле откоса. Потом вскочил на ноги и кинулся в чащу кустарника. Сзади раздались выстрелы. Несколько пуль просвистело рядом. Затем все стихло. На мое счастье, у преследователей не оказалось собак.

...Снова дорога. Дорога, дорога... Ноги не слушались, в голове шумело, а я все шел и шел, не разбирая пути, уже почти автоматически, изредка прислушиваясь и озираясь. В ранних солнечных лучах засветились беленькие хатки небольшой деревни. Начиналась украинская земля — пройдено больше половины пути. Я укрылся в густой траве и стал наблюдать. Немцев там не было. Чуть в стороне от остальных стояла выбеленная известью хатка. Молодая женщина встретила меня просто и приветливо. Еще весной ей удалось засеять просом небольшой участок земли, и теперь нужен был помощник, чтобы убрать урожай. Она обрадовалась, когда узнала, что я немного умею косить. Попросила остаться хотя бы дня на два. Вдвоем с ней мы трудились дотемна. Я так намахался косой, что с непривычки едва передвигал ноги.

Вечером за ужином, чуть смущаясь для порядка, она сказала, что не отказалась бы иметь такого «чоловика» и что, если меня хорошо «погодувать з мисяц», я буду вполне справным мужиком. После ужина разобрала постель с горкой подушек, но я сказал, что пойду спать на сеновал. Она только слегка пожала плечами. Не было в моем распоряжении времени «з мисяц», и «годували» меня от случая к случаю. И сил у меня не было... никаких. Я отправился на сеновал и тут же уснул как убитый.

Поднялся засветло, решил не беспокоить хозяйку, хотелось успеть побольше пройти. Но по деревенскому обычаю, она была уже на ногах. Приготовила завтрак, завернула узелок в дорогу. Когда я прощался, она укоряюще и откровенно грустно улыбнулась. Да и мне ох как не хотелось уходить!.. Я обнял ее, поцеловал и, не

оборачиваясь, зашагал по дороге. До Сум уже оставалось совсем немного.

У одного из перекрестков на столбе я прочитал приказ немецкого коменданта. В нем говорилось о заброске в район Сум группы советских парашютистов-диверсантов. Далее сообщалось, что двое добровольно явились в комендатуру и этим сохранили себе жизнь... Говорилось также, что остальных, в том случае если они не сдадутся добровольно, ожидает смертная казнь через повешение. А местное население предупреждалось, что за укрытие или невыдачу парашютистов-диверсантов — расстрел. Следование по дорогам без специальных пропусков запрещалось... Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!.. Вот и дошел я почти до заветных Сум.

Не верилось, что двое действительно явились с повинной. Конечно, это было уловкой. Возможно, двоим просто не повезло. Однако засветилась весьма вероятная догадка, что заброска разведгруппы, в которую, может быть, должен был войти и я, все же состоялась, хотя и с большим опозданием, и, конечно, в новом составе. Это подтверждало и мое шаткое предположение, что база Центра продолжала функционировать, и мое решение идти в Сумы было правильным. В то же время приказ коменданта крайне осложнял мое положение, и без того непростое.

Весь день я просидел в укрытии. Мне пришлось еще и еще раз все продумать, взвесить все за и против. Итак, я жив и рана почти затянулась, во всяком случае не мешает при ходьбе. Против: на оккупированной территории я оказался один, без документов и средств к существованию, не знаю ни пароля, ни адреса конспиративной квартиры. Итог не слишком утешительный, но, как говорится, черт не выдаст — свинья не съест... Ночью я вновь отправился в путь. Вскоре появилась луна и осветила дорогу неярким серебристым светом. Мое внимание привлек листок бумаги, придавленный сверху небольшим камешком, очевидно, чтобы не унесло ветром. Я поднял его — долго рассматривал. Это оказался пропуск, выданный немецкой комендатурой. Фамилия, местожительство и пункт следования были вписаны от руки по-немецки. В конце пропуска стояла подпись коменданта и печать с орлом и свастикой. Предвижу и знаю, что тут взыскательный читатель поморщится и скажет: — Опять удача?! Неправдоподобно!..

Но что поделаешь, если все это было именно так и никак иначе! Так же, как невезение бывает с некоторыми

перебором, вот так и везение случается с изрядной долей невероятности и в ущерб общепринятым представлениям о достоверности. В моей судьбе было не мало не только удивительного и труднообъяснимого, но и такого, что заставляло остановиться и крепко задуматься...

Я бы мог в этом повествовании кое-что изменить, кое-какие несуразности выправить, найти более правдоподобное объяснение, но всего этого делать мне не хочется. Пусть все будет так, как было, так, как сохранила память, так, как случалось в этом странном вращении, под названием жизнь.

Между тем пункт следования, указанный в пропуске, не совпадал с тем названием города, куда следовало идти мне. В первый момент я чуть не выбросил этот пропуск, от досады (ну, выбросить я бы его не выбросил, а на дорогу бы положил, ведь кто-то старался, раздобывал, укладывал на дороге). Я засунул пропуск под подкладку картуза и двинулся дальше.

Конечно же, это могла быть простая случайность, но в ней проявились известная российская сердобольность и в то же время сопереживание тому, кто мог оказаться в тяжелой беде. А может быть, это напрямую старались помочь парашютистам?

По дороге мне пришла в голову мысль: вместо названия села, указанного в пропуске, попробовать вписать город Сумы. Но сделать это оказалось не так просто. После встречи с карателями я ничего не держал при себе, а заходить в села днем теперь было крайне опасно. Всю ночь я шел, день снова провел в укрытии возле какого-то села, и оттуда наблюдал за всем тем, что происходило на улице. С наступлением темноты постучался в намеченную еще засветло хату. Хозяйка, немолодая женщина, хотя и впустила в дом, очень боялась, что меня кто-нибудь увидит. К счастью, у нее нашелся огрызок химического карандаша. При свете копилки я принялся за работу. Ластиком служил собственный ноготь, а когда стал вписывать по-немецки слово «Сумы», с досадой обнаружил, что не знаю, какую букву поставить на конце, ведь в немецком алфавите нет буквы «ы». Поставил на конце что-то среднее между «i» и «j», слегка затер окончание. В общем получилось плохо и показывать такой пропуск было более чем рискованно. Собственно, время было потрачено впустую. Документ никуда не годился. Однако я запрятал его подальше за подкладку картуза и решил воспользовать-

ся пропуском только в самом крайнем случае.

Шел второй месяц моего путешествия. Приходилось не только обходить стороной селения, но и избегать встречных людей. Однажды еле ушел от облавы, несколько раз чуть не попался в руки полицаев. Пришлось полностью перейти на «подножный корм». Хорошо еще, что на огородах уже поспели овощи. Но увы, такое питание плохо способствовало восстановлению сил. И вот настал, наконец, день последнего броска в этом замедленном многими препятствиями продвижении к цели. День, как обычно, я провел в укрытии, а к вечеру решил привести себя в порядок, перед последним переходом. Рядом протекала небольшая речушка. Кругом — ни души. Я спустился к воде, вымылся и постирал одежду. Вода освежила меня, а мокрая рубашка приятно холодила тело. По пути попался огород. Вырвал несколько морковок. Но едва перелез через плетень, как оказался в руках двух полицаев.

Подножкой мне удалось свалить одного из них, но другой навалился всем телом и подмял под себя, даже еще оглушил ударом по голове.. Очнулся на каменном полу какого-то подвала. Руки связаны за спиной. Сверху доносился разговор. Я услышал фразу:

— Лазутчика поймали, бежать пытался. Завтра утром его вешать будут!..

Так глупо попасться у самой цели, преодолев столько препятствий и невзгод. Тут я увидел на полу свой изрядно пропылившийся картуз и вспомнил про пропуск. Терять мне было нечего. Я стал стучать ногами в дверь, ругаться, кричать и требовать начальника. Вскоре дверь открылась, в подвал вошли уже знакомый мне полицейский и лысый мужчина среднего роста. На вопрос: «Чего стучишь?» я объяснил, что иду в Сумы к родственникам, на что имею разрешение немецкой комендатуры. Мне развязали руки, я достал из картуза пропуск и протянул его мужчине с лысиной. Он повертел его в руках — видимо, не очень разобрался в немецком языке. Расспросил, кто я, откуда и куда иду. Полицай зло спросил: «Какого ж черта пытался тикать, коли пропуск имел?» Я ответил, что, мол, принял их за хозяев огорода и решил, что меня поколотят за морковь. Едва ли они поверили мне. Во всяком случае, оставили взаперти. А пропуск забрали с собой. Сказали, что повезут его к коменданту. Эти слова прозвучали для меня еще одним смертным приговором. Будто и одного для меня недостаточно. Подделка пропуска не может не обнару-

житьея. Оставалось одно: когда придут за мной, попытаться вырвать оружие у конвоира. А если не удастся, то все же лучше быть застреленным, чем задохнуться в петле. Да потом еще сколько-то времени болтаться в ней... Я заставил себя не думать больше о том, что меня ожидает, и в конце концов заснул.

Проснулся от скрипа открываемой двери. Сразу вспомнил о принятом решении и приготовился действовать. В подвал вошел один из вчерашних полицаев. В руках он держал мой пропуск. Полицай еще раз спросил фамилию и куда иду. Я снова назвал фамилию и пункт следования, обозначенные в пропуске. Со словами: «Повезло тебе, парень, а то висел бы на перекладине», полицай отдал мне пропуск. Я не верил происходящему и все-таки спросил: «Что же сказал комендант?»

— А мы его не застали, он в город уехал. А пропуск твой мы переводчице показали, она и перевела...

Я вышел из подвала, преодолев, казалось бы, все, что можно преодолеть, зашагал по дороге в город, очертания которого уже виднелись вдаль.

За время длинного, долгого и опасного пути все мои мысли были подчинены одной цели — дойти! Теперь же, когда эта цель, наконец, была достигнута, возникла новая, не менее сложная проблема...

6. ЗАВЕТНЫЙ ГОРОД СУМЫ

Как ни мал был город Сумы, но искать в нем конспиративную квартиру, без пароля, без явок, было делом почти безнадежным.

Дальше, однако, мне идти было некуда.

Я бродил по улицам и не знал, что предпринять? Так я очутился на городском базаре. По случаю воскресенья здесь было много народу и не составляло труда затеряться в толпе. Меня мучил голод, он, казалось, выворачивал мне все внутренности наизнанку. Мысли неизбежно возвращались к еде, мешали сосредоточиться на чем-либо другом. Попросить кусок хлеба я не решался, открытое воровство было для меня немыслимым, а из-за подозрительного вида я не мог найти даже случайной работы.

Так, совершенно обессиленный, я добрался до сквера и, чтобы не упасть, опустился на скамейку. Девушка, сидевшая на этой же скамейке, тут же поднялась и пересела на другую. Не знаю, сколько времени просидел

я в сквере, но вечерняя прохлада напомнила мне о том, что надо подумать о ночлеге.

На окраине города я нашел заброшенный дом. В нем и устроился на ночлег. Лежанку соорудил из старых досок. А поужинал яблоками-дичками из заброшенного сада.

Следующий день прошел так же в блужданиях... Но я все еще надеялся на невозможное.

В городе было много военных. Офицеры и солдаты вермахта, фельджандармерии вечерами прогуливались по улицам и скверам. Сначала я избегал встреч с ними, но потом подумал, что смогу узнать что-либо из их разговоров, и стал держаться поближе к людям в униформе. Я сознавал рискованность такого поведения и все же решился из-за безвыходности положения. Но ничего существенного я так и не узнал. Судя по всему, в этом районе оккупантам пока жилось спокойно. Сначала я предположил, что база нашей разведки переведена в другой район, но, поразмыслив, пришел к другому выводу. Поскольку это была перевалочная база для разведгрупп, направляемых в тыл противника, какие-либо активные действия в этом районе могли помешать выполнению более важных заданий. Получалось, что Сумы в этот период, скорее всего, были специальным районом относительного затишья.

Как и следовало ожидать, мое поведение не осталось незамеченным. Я ходил за жандармами, а они уже следили за мной.

Когда на четвертый день пребывания в городе я выходил утром из своего пристанища, меня схватили и швырнули в закрытый фургон...

Я стоял перед гауптманом в его кабинете на втором этаже фельджандармерии.

Допрос начался необычно. Вместо вопросов, кто такой, откуда и т. п., гауптман спросил по-немецки, сколько мне лет? Я сделал вид, что не понял. Тогда он повторил его по-русски, внимательно наблюдая за мной сквозь слегка прикрытые, ресницы. Я уменьшил свой возраст на три года.

— Значит, ты имеешь десять классов, — не то утверждая, не то спрашивая, произнес он. — Тогда ты есть образованный человек и должен понимать по-немецки. У вас ведь в городских школах учили немецкий язык, а ты, как я вижу, есть городской житель, — продолжал он в том же духе. — Мне как раз нужен образованный русский молодой человек. Ты, вероятно, голоден? — сно-

ва по-немецки спросил он и, не дожидаясь ответа, вынул из стола бутерброд и протянул мне.

Я принялся уничтожать его.

В кабинет вошел посетитель, покосился на меня и передал жандарму листок бумаги. Но тут же понял, что пришел не в самое подходящее время, попятился назад со словами: «Зайду потом» — и вышел из кабинета.

Гауптман повертел листок и протянул его мне.

— Посмотри, что он там пишет? — Это уже походило на проверку.

С первых же строк стало ясно, что у меня в руках донос на подпольщиков, случайно обнаруженных этим добровольным сыщиком. Хотя донос был написан по-украински, я сумел разобрать адрес явочной квартиры.

От волнения у меня перехватило дыхание, и я не мог вымолвить ни слова. Это не ускользнуло от внимания жандарма. Он отобрал листок.

— Что там написано? Отвечай!

Я ответил, что не понял содержания, сослался на незнание украинского языка и неразборчивость почерка. Но жандарм был не глуп. Его добродушие улетучилось. Он сунул донос в ящик, смерил меня взглядом и вышел из-за стола... «Сейчас ударит», — подумал я. Но в этот момент зазвонил телефон.

По тому, как жандарм вытянулся и побледнел, несколько раз повторил одну и ту же фразу: «Jawohl!»¹, я понял, что он говорит с высоким начальством и случилось что-то из ряда вон выходящее.

Была объявлена тревога. Гауптман покрикивал, отдавал распоряжения. Обо мне временно забыли. Чувствовалось, что здесь, вдали от фронта, жандармы привыкли к сытой, спокойной жизни и эта тревога застала их врасплох. Гауптман со словами: «А с тобой я еще поговорю по возвращении!», велел запереть меня в карцер. Карцером оказался обыкновенный чулан здесь же, на втором этаже. Зарешеченное окошко под самым потолком выходило в коридор.

Снизу с улицы донесся шум моторов, и вскоре все стихло. Нужно было что-то делать, пока жандармы не вернулись.

В коридоре слышались шаги. Я подпрыгнул, ухватился за решетку окошка, подтянулся и увидел охранника. За ним шла уборщица с ведром и щеткой. Охранник подошел к кабинету гауптмана, отпер дверь и впу-

¹ Так точно! (нем.).

стил туда женщину, сказал, чтобы позвала его, когда закончит уборку. Потом он подошел к двери карцера, подергал ее, убедился, что она заперта, и удалился. Я слышал только стук кованых сапог на лестнице... Подождал немного и тихо окликнул женщину — попросил напиться. Она подставила скамейку, встала на нее и просунула между прутками решетки кружку с водой. Женщина оказалась словоохотливой. От нее я узнал, что всежандармы вместе с начальником на машине и мотоциклах уехали кого-то ловить. Оставили только часового снаружи здания и дежурного унтер-офицера на первом этаже. Она даже принесла мне небольшой кусок хлеба с сыром. В ее действиях и словах чувствовалось желание помочь мне.

Я наскоро подкрепился и принялся расшатывать решетку. Женщина все еще убирала и громыхала своей шваброй. Окошко было высоко, и действовать приходилось, повиснув на одной руке. После долгих усилий мне удалось оторвать сначала доску, а потом и крепление решетки.

Пока я возился, снизу дважды поднимался дежурный проверить, как идет уборка. О его появлении меня предупреждал звук его же шагов.

Сознание того, что теперь я могу найти товарищей, предупредить их о грозящей опасности и даже, может быть, связаться с разведцентром, придавало мне решимости. Я понимал, что донос, пока его еще не прочли, необходимо уничтожить, а еще лучше — захватить с собой.

В тот момент, когда уборщица вышла из кабинета вылить из ведра воду, я ухватился за низ проема, подтянулся, закинул туда правую ногу, просунул в окошко голову и плечи, прислушался и вылез в коридор. В голове была только одна мысль: «Выбраться, выбраться отсюда, пока не вернулся гауптман со своей командой». Каждую минуту снизу мог подняться дежурный унтер-офицер. Внизу у двери — часовой с автоматом. Еще во время допроса я заметил, что окно в кабинете начальника выходит во двор. Дверь в кабинет все еще оставалась открытой. Я кинулся к заветному окну. Приоткрыл створку и заглянул вниз. Во дворе никого. Под самым окном крыша небольшой пристройки. С нее до земли не более двух метров. Уже поставил ногу на подоконник, но вспомнил о доносе, вернулся к письменному столу. Ящик оказался незапертым. Знакомый мне листок лежал сверху. Я взял его, сунул под рубашку и вылез на

крышу пристройки. Еще раз убедился, что двор пуст, и соскочил на землю. Снова прислушался. Все тихо. Затем услышал звук закрываемого окна. Значит, все в порядке. Перелез в соседний двор и вышел на улицу. Смешался с прохожими, прошел еще несколько кварталов, прежде чем решился расспросить, как пройти на нужную улицу.

Указанный в доносе дом находился в глубине двора возле базарной площади. Это было небольшое одноэтажное строение. Мною овладело нетерпение. Цель, в достижение которой я уже почти не верил, была рядом. Но как ни велико было желание поскорее встретиться с теми, к кому шел и пробирался два долгих месяца, все же пришлось поохладить свой пыл и дожидаться темноты. А заодно постараться и выяснить, нет ли засады или слежки за домом. Я нашел укромное место и стал наблюдать. Из дома несколько раз выходила и снова возвращалась пожилая женщина. Похоже, в доме, кроме нее, никого не было. Вот женщина снова вышла и развесила на веревке мокрое белье. Среди прочего появились две мужские рубашки. Теперь в сочетании с другими признаками можно было составить приблизительное представление об обитателях дома.

Заканчивался день, люди возвращались с работы. Мимо меня прошел сравнительно молодой, среднего роста, худощавый мужчина с поношенным портфелем. Каким-то внутренним чутьем я угадал, что это тот, кто мне нужен. Мужчина вошел в дом. Теперь мне оставалось дожидаться темноты, чтобы незаметно выбраться из укрытия и пересечь двор. Солнце уже скрылось за домами, однако высветленное за день небо слишком медленно, как мне казалось, наполнялось вечерними сумерками. Стирались последние грани между светом и тенью. Я уже собрался было выйти из укрытия, как к дому подошел второй мужчина. Он незаметно осмотрелся и вошел в ту же дверь. Я выждал немного и направился прямо за ним. Но дверь оказалась уже запертой. На мой стук сначала никто не отозвался. Я постучал снова.

— Кто там? — спросил женский голос.

— У меня записка к хозяину, — тихо отозвался я.

Послышались шаги, и уже мужской голос спросил:

— Какая записка, от кого?

— В записке все сказано.

Дверь открылась, и я оказался в прихожей. Передо мной стоял мужчина, который пришел в дом первым.

Ему было лет тридцать. Взгляд внимательный и настороженный. Я молча протянул листок. Он начал тут же читать. Лицо его нахмурилось. Он предложил пройти в комнату и сесть.

— Кто ты и откуда у тебя это?

— Взял из ящика стола начальника фельджандармерии.

— Что-то я ничего не понимаю. Давай-ка лучше все по порядку...

Я вкратце рассказал Николаю — так представился мужчина — свою историю. Во время моего рассказа появился и его товарищ, Сергей. Он был примерно того же возраста, что и Николай, только повыше ростом. Вдвоем они долго расспрашивали меня. Их недоверие было понятно. Пока единственным подтверждением могло быть свидетельство уборщицы из фельджандармерии, в какой-то степени соучастницы моего побега. Было уже за полночь, когда Николай сказал:

— Возможно, все, что ты рассказал, и правда. Но мы должны проверить. Поэтому не обижайся, но придется тебе еще раз посидеть взаперти. И не вздумай дурить. А сейчас пойдешь с Сергеем.

Дворами и глухими темными переулками он привел меня к какому-то зданию и запер в полуподвале. У стены стояла железная кровать. Время было позднее, и я тут же уснул. Теперь это может показаться странным: но тогда я мог спать везде и всюду, при любых обстоятельствах, но постоянный внутренний сторож всегда работал безотказно и поднимал меня при первых признаках опасности.

На следующий день пришел Николай и сказал, что все в порядке. Он принес еду и одежду, но предупредил, чтобы я не выходил. Жандармы ищут меня по всему городу.

— Ну и задал ты им хлопот, — сказал он. — Гауптман до сих пор в себя прийти не может. Уборщицу, тетю Шуру, допрашивал. Она, конечно, сказала, что ничего не видела, не слышала и не знает. А нам рассказала, что часового он чуть не избил, а дежурного унтер-офицера посадил в твой карцер, пообещал разжаловать в рядовые и отправить на фронт. Да, вот еще что: тетя Шура видела внизу и узнала человека, приходившего с доносом. Пока он не появился вторично, надо его убрать. Ты знаешь его в лицо?.. Поможешь нам. Сделать это нужно сегодня же. Вечером. Пока отдыхай, наби-

райся сил. Как стемнеет, мы с Сергеем за тобой зайдем.

Как было условлено, втроем мы отправились по подсказанному тетей Шурой адресу. Пока шли, Николай объяснил план действий. Я должен был только вызвать доносчика из дома, остальное они брали на себя.

Я предложил разыграть роль связного из жандармерии: скажу, что его вызывают. Ведь в жандармерии он видел меня беседующим с гауптманом, даже жующим бутерброд в его присутствии. Николай и Сергей согласились с моим предложением.

К дому мы подошли со стороны большого фруктового сада. Уже было темно, но отчетливо виднелось, как прогибаются ветки под тяжестью спелых яблок. Откуда-то из-за кустов неожиданно вышел человек. Он сказал, что из дома никто не выходил.

— Пора! — Николай слегка тронул меня за плечо и повторил: — Пора!

Я подошел к крыльцу, поднялся по ступенькам и постучал в дверь.

— Кто? — отозвался голос молодой женщины.

На вопрос, дома ли хозяин, женщина ответила, что муж вчера уехал к свояку в деревню и вернется через неделю, не раньше.

Не знаю почему, у меня отлегло от сердца.

Вся ночь и следующий день ушли на перебазирование: нужно было срочно съезжать из дома, выслеженного предателем. Только вечером, и то ненадолго, в моем убежище появился Николай. Он принес еду, несколько немецких документов для перевода, а также показал мне фотоснимки. На них я узнал базарную площадь с виселицей. Снимки запечатлели момент казни советских граждан в первые дни оккупации. Фотографировал Николай сам, из окна дома.

В связи с перебазированием связь с Центром у польщиков временно нарушилась. Мы решили подождать, когда она будет восстановлена, чтобы определить мою дальнейшую участь.

Уже на следующий день Сергей и я попали в облаву. Уйти нам не удалось. Шла поголовная проверка документов. Сергея отпустили, но он ничем не мог мне помочь. Больше всего я опасался, что меня опознают жандармы. Нас — тех, кто попался без документов, — заперли в большом сарае возле железной дороги. Поговаривали об отправке на работу в Германию. Некоторые не скрывали своего намерения бежать. Это, естествен-

но, совпадало и с моим желанием. Решили держаться вместе.

На вторые сутки ворота открылись, и нас привели на вокзал, выстроили у товарного состава. Большая часть вагонов была уже заполнена людьми. Многие имели при себе кое-какие вещи и продукты на дорогу, и только мы, взятые при облаве, были вовсе налегке.

Кругом стоял невообразимый шум. Женщины плакали, причитали, передавали отъезжающим какие-то свертки и узелки. Толпу провожающих сдерживала цепочка солдат и полицаев. В последний момент, перед погрузкой, в толпе провожающих я увидел Сергея. Он подал мне знак. Я приблизился к цепочке и поймал брошенный им небольшой сверток. Развернуть его я не успел. Началась посадка. Прежде чем запустить нас в вагоны, каждого обыскали. Мне пришлось развернуть сверток. В нем были продукты на дорогу и коротенькая записка. Ее я хотел спрятать, но не успел. Полицай прочел и, к моему удивлению, вернул. В записке было пожелание доброго пути и привет от какой-то незнакомой девушки. Ничего не поняв, я сунул записку в карман.

Нашей пятерке, сговорившейся на побег, удалось попасть в один вагон, и мы заняли место на верхних нарах у люка. Как только двери вагона закрылись, я достал записку. Еще раз перечитал ее и тут только вспомнил о приеме тайнописи, с которым меня ознакомил Николай. Этот простой способ не требовал специальных составов. Нужны только два листка бумаги, зеркало или кусок стекла и карандаш. Один из листов смачиваешь в воде, накладываешь на зеркало (или стекло). Сверху кладешь сухой лист, и на нем, сильно нажимая на карандаш, пишешь нужный текст. На нижнем влажном листе остается отпечаток написанного. Верхний лист уничтожаешь, а нижнему даешь просохнуть. Отпечаток делается невидимым. После этого на высохшем листе пишешь любой, ничего не значащий текст. Для дешифровки и прочтения достаточно увлажнить листок. Что я незамедлительно и сделал — провел языком по строчкам. Из переданной мне записки следовало, что я должен проникнуть в центр военной промышленности Германии, город Эссен. Обосноваться там и дать о себе знать по указанному в записке адресу. — Ого! Вот так прямо из Сум в Эссен!.. И все это из охраняемого эшелона?.. Уходящего не известно куда?! Здорово!!

Я понял, что это было задание Центра, полученное подпольщиками в последний момент. Хотя не уверен,

что именно так и было. Но все равно — начиналась настоящая работа.

Итак, я стоял перед выбором: бежать из эшелона и добираться в Эссен самостоятельно или остаться и ехать вместе со всеми в Германию, а там уж стараться попасть в нужный мне город. В пользу второго варианта была надежная и быстрая доставка «за казенный счет». Но при этом можно было угодить и в концлагерь при какой-нибудь шахте или руднике, в противоположной от Эссена части Германии. А оттуда уже дороги назад нет. Поэтому я решил бежать вместе с товарищами. Тем более отказ от побега был бы расценен ими как малодушие или предательство. Это, как ни странно, было тогда наиболее веским аргументом.

За чтением записки и размышлениями я даже не заметил, что поезд давно уже набрал скорость.

Мы оговорили с товарищами все возможные варианты побега и решили — лучше всего бежать через люк. Для того чтобы открыть его изнутри, нужно было прорезать досчатую обшивку вокруг двух болтов, удерживающих стальную крышку люка. К счастью, одному из нас удалось припрятать и пронести в вагон обломок заточенного ножовочного полотна.

Как только все уснули, принялись за работу. Обломок ножовки обернули тряпкой, чтобы не резало руку. Работали лежа на спине или на боку и только во время движения поезда. К исходу первой ночи, сменяя друг друга, мы едва осилили половину толщины обшивки, а на ладонях уже вздулись волдыри. Только к середине второй ночи образовалась небольшая щель вокруг болта. Днем работу прекращали и только с наступлением ночи снова брались за дело. На третью ночь мы, наконец, одолели обшивку вокруг второго болта. Люк свободно открылся.

Сборы были недолги. Обитатели вагона спали крепким предутренним сном. Из открытого люка тянуло ночной прохладой и сыростью. Моросил дождь. На темном небе — ни звезд, ни луны. Это было нам на руку. Вот только поезд шел слишком быстро. Было бы совсем некстати после стольких стараний сломать себе шею. Ведь люк находился у самой крыши вагона — высота около трех с половиной — четырех метров!.. Плюс скорость... Но медлить было нельзя. Ночь подходила к концу.

Мы сгрудились у люка в нерешительности. И вот тогда быстрый и смелый Керим, тот, что сумел пронес-

ти обломок ножовки, снял с шеи шарф, привязал его к крышке люка и ловким движением скользнул в проем. Он спускался вниз, перебирая руками по шарфу. Еще мгновение, и, оттолкнувшись от вагона, он исчез в темноте. Вслед за Керимом в люк пролез я. Встречный поток сырого воздуха обрушился на меня, отрывая от шарфа. Я повис, не в силах разжать пальцы. Вверху я видел лица товарищей, внизу гроыхали колеса. Я спустился ниже. Уже можно было различить мелькание шпал соседнего пути — они сливались в сплошную серую дорожку. Вот и конец шарфа. Ноги оказались на уровне колес. Движением воздуха меня развернуло спиной вперед и потянуло под колеса. Пришлось подтянуться вверх. Только теперь, получив опору для ног, я смог развернуться. С силой оттолкнулся от вагона и разжал пальцы...

На земле я несколько раз перевернулся и ударился обо что-то твердое. Первое, что я увидел, придя в себя, были удаляющиеся красные огни последнего вагона. Я лежал на рельсах возле стрелки и не мог пошевелиться от боли. Начинало светать. Я напряженно всматривался, но никого не видел.

Рельсы, однако, были не самым лучшим местом для отлеживания и приведения себя в чувства, на это у меня сообразительности еще хватило, и я заставил себя отползти в сторону. А вот на большее... Здесь и нашел меня позднее путевой обходчик.

Я сказал, что сорвался с подножки поезда. Пока он возился со мной, помогал подняться на ноги, дал воды, возле нас остановилась дрезина с двумя немецкими солдатами. Они, ни о чем не спрашивая, посадили меня на дрезину и отвезли в ближайший лагерь недалеко от вокзала. Это был город Перемышль.

На большой территории за оградой сидело, лежало, стояло множество мужчин и женщин. Здесь на утрамбованной тысячами ног голой земле, я проспал до вечера. Боль, понемногу утихла, и я смог подняться. С радостью убедился, что кости целы. До темноты я ходил по лагерю, заглядывал во все уголки в надежде увидеть кого-либо из участников нашего побега, но тщетно. Их судьба так и осталась для меня неизвестной.

Ко мне подошел какой-то парень и заговорил с сильным польским акцентом. Он рассказал, что вчера отсюда несколько партий фашисты отправили в душегубку,

а затем сожгли в крематории. Ни одному человеку не удалось спастись. Он предлагал этой ночью совершить побег всем лагерем. Его план был явно невыполним и мог привести только к гибели сотен людей. Да и сам парень не внушал мне доверия. Кроме того, к чему бы немцам, которые нуждались в рабочей силе, уничтожать здоровых людей?

Рано утром все были разбужены криками полицаев. Они отбирали мужчин. Раздалась команда:

— С вещами, становись!

Тех, кто пытался скрыться в общей массе, охранники награждали ударами палок. Видимо, слух о душегубке успел распространиться по лагерю. За воротами конвой отсчитывал пятерки. Я оказался в группе отобранных, и мне ничего не оставалось, как покорно стоять в строю. Нас повели в сопровождении конвоя с овчарками. Люди шли, обреченно понунив головы. У некоторых подкашивались ноги. Одни вспоминали молитвы, другие плакали, третьи без усталости ругались и проклинали фашистов, как будто в этом можно было найти спасение.

Впереди показалось мрачное одноэтажное здание. Над ним возвышалась кирпичная труба. Из нее шел густой дым. По колонне пробежал ропот. Люди замедлили шаг. Конвою стоило больших усилий с помощью овчарок загнать всех вовнутрь. Мы оказались в довольно просторном помещении. Посреди его стояли два решетчатых контейнера на колесах. Всем приказали раздеться догола и сложить одежду в контейнеры, затем нас перегнали в другое помещение с бетонными скамьями. Над головами — несколько рядов труб. Все замерли в ожидании, что вот-вот послышится шипение газа... Действительно, в трубах что-то зашипело. Но вместо газа из множества мелких отверстий полились струи теплой воды...

Из бани нас повели на вокзал и сразу же погрузили в товарные вагоны с решетками на открытых люках, с конвоем в каждом вагоне. Поезд шел всю ночь, а утром, когда мы проснулись, поняли, что едем уже по территории Германии. Мы проезжали мимо селений с аккуратными домиками и ухоженными садами. Красные черепичные крыши среди зелени деревьев торчали словно подосиновики в траве. Поля четко расчерчены на аккуратные прямоугольники разных размеров и оттенков. Часто встречались многочисленные стада коров и овец.

Все здесь говорило о благополучии, ничем не напоминающая о войне.

Мы были в пути уже вторые сутки. Останавливались редко, только на перегонах. Но вот поезд подошел к вокзалу небольшого городка. Заметно было, что здесь нас ждали. На платформе, на равных расстояниях по ее длине, были расставлены столы с множеством бумажных кулечков. Возле каждого стола сустились девочки-подростки в форме гитлер-югенда. На перроне столпилось немало любопытных. Здесь же стояли несколько человек в коричневой униформе. На рукавах у них были красные повязки с черной свастикой в белом кружке.

Как только поезд остановился, девочки начали подносить к вагонам кулечки. В них оказался вареный картофель. В моем кулечке было три неочищенные холодные картофелины. Я обратил внимание, как девочки передавали кулечки. Они делали это со смесью безразличия и испуга — боялись, чтобы наши руки не коснулись их рук, словно имели дело с заразой. Протягивали кулек — и тут же отдергивали руку. Так с опаской кормят голодных диких зверей. Если кулек падал, девочки высокомерно покрикивали.

Впрочем, и с нашей стороны по отношению к немцам — не фашистам, а немцам вообще — мне приходилось наблюдать нечто подобное.

Эти немецкие девочки-подростки и боялись, и ненавидели нас, а мы презирали, и ненавидели их — еще почти детей... Народ ненавидел народ. И кровь, пролитая с другой стороны, не только не пугала, но и была желанной.

Конечным пунктом следования поезда оказался город Вупперталь. Он образовался в конце двадцатых годов двадцатого века в результате слияния двух городов — Эльберфельда и Бармена. В Вуппертале располагался специальный распределительный лагерь. Точнее его было бы назвать рынком невольников, если угодно — рабов. Сюда за дармовой рабочей силой съезжались «купцы» — представители фирм, концернов, ведомств.

Лагерь состоял из нескольких десятков сборно-щитовых бараков, огороженных колючей проволокой. Бараки были переполнены, и нам пришлось разместиться прямо на асфальте. Наступила ночь. Угомонились за-

ключенные. Вполголоса перекидывались фразами охранники. Неожиданно тишину ночи разорвали рев сирен и грохот зениток. Охранники в черной униформе палками стали поднимать нас с асфальта и загонять в набитые до отказа бараки. Им помогали овчарки.

Сирены в эту ночь не умолкали. Едва успевал отзвучать сигнал отбоя, как тишину снова взламывала очередная воздушная тревога, и где-то не очень далеко опять рвались бомбы. Сам лагерь в эту ночь не бомбили, но я представил, каково должно быть там, в Эссене, в самом центре германской военной промышленности.

Итак, я уже находился где-то совсем недалеко от Эссена...

С наступлением дня началось распределение живого товара. Среди покупателей были и бауэры — так здесь называли фермеров. Эти выбирали особенно тщательно. Щупали мускулы, заглядывали в рот. Попасть на ферму к бауэру, где нет ни колючей проволоки, ни жестокого лагерного режима, ни бомбежек, считалось большой удачей. Жизнь на ферме не грозила голодной смертью, плюс ко всему имелась реальная возможность для побега. И если пробиться на Родину через всю Германию и Польшу представлялось маловероятным, то пробраться, например, во Францию или Бельгию было хотя и сложно, но вполне осуществимо. Словом, жизнь на ферме, по сравнению с лагерем, казалась почти райской. Когда выяснилось, что бауэры отдают предпочтение семейным парам, многие парни и девушки тут же стали заключать поспешные брачные союзы (не только на словах). Больше всего шансов попасть на ферму давало хоть приблизительное знание немецкого языка. Владение им предоставляло мне возможность выбора. Соблазн был велик. Но меня интересовал только Эссен. И я надеялся, что будут «покупатели» и от Круппа. Чтобы попасть туда, я вслушивался в разговоры охранников. Так я узнал, что как раз на днях ожидается отправка большой партии рабочих-специалистов на заводы Круппа в Эссен. Ведь только это мне и нужно было!.. Чтобы не угодить куда-нибудь еще, я забрался в самый дальний угол барака и решил, что лучше всего пока не попадаться никому на глаза. Но вскоре меня разыскали: мать и ее дочь из нашего эшелона. Они знали, что в пути я обращался к охранникам по-немецки, когда потребовалась помощь больному из нашего вагона. Мать предложила мне пожениться с ее дочерью,

чтобы всей семьей, втроем, попасть к бауэру на ферму. Женщина вкратце рассказала их историю. Они ленинградки, война застала их на Украине. Эвакуироваться не успели, и вот попали под отправку в Германию. Ферма представлялась им единственным спасением. Мать не сомневалась, что и для меня такой вариант был бы наилучшим. Во время нашего разговора я видел только смущенные глаза девушки. Ее лицо и фигуру скрывал большой старушечий платок. Такой наряд не по сезону показался мне весьма странным, но когда мать сняла с нее платок, стало видно, что маскировка была не напрасной: девушка была очень хороша собой. Она не могла не заметить, какое впечатление произвела на меня, и ответила извиняющейся улыбкой.

Ну что за горе-злосчастье преследовало меня по пятам — я вынужден был отказаться и от этого честного, доброго предложения и даже не мог толком объяснить им истинную причину отказа.

Между тем крупновские представители не заставили себя ждать. Я назвался электриком и с сотней токарей, металлургов, химиков, энергетиков был отправлен в Эссен.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ (Взгляд на самого себя со стороны)

Вот так — еще немного и мне следовало стать тем, кем я сам себя назначил этой весной.

Электриком я был слабоватым, но надеялся на сообразительность, игру судьбы и еще на кое-какой армейский опыт. Конечно, я не был настоящим технарем, но ведь я и не был настоящим гуманитарием... Так кем же я был накануне вступления в должность разведчика?.. Кем я был «настоящим»?

Внешне меня трудно было отличить от обыкновенного немца: светловолосый, глаза серо-голубые, худое продолговатое лицо — еще в школе я почти не отличался от немецких ребят. Все мои юношеские увлечения и практические навыки оказались как бы специально подобранными для той деятельности, к которой так неуклонно вела меня моя судьба. Охотно играл в драмкружке, хоть и не всегда удачно. А позже даже исполнял небольшие эпизодические роли в двух кинокартинах на «Мосфильме». И дело было вовсе не в том, что мне самому приходилось исполнять в этих фильмах, а в том, что я видел на съемочной площадке, как рабо-

тают настоящие профессионалы, выдающиеся мастера режиссуры и знаменитые актеры.

По протекции давнишнего друга нашей семьи — артиста Николая Сергеевича Плотникова — я попал на «Мосфильм» к кинорежиссеру Григорию Львовичу Рошалю, который снимал фильм «Семья Оппенгейм» по роману Лиона Фейхтвангера. Заглавную роль немецкого юноши исполнял молодой актер Владимир Балашов. В роли главного нацистского руководителя — популярнейший актер Михаил Астангов. У меня и еще у одного мальчика были малюсенькие эпизодические роли немецких школьников-шалунов. Мы должны были разыграть между собой сценку потасовки. Под слепящими и палящими прожекторами надо было много раз повторить одну и ту же сцену, много раз пробежать по лестнице вверх и вниз... А когда мы просматривали уже готовый фильм, эпизод, на который ушло почти два съемочных дня, промелькнул на экране за несколько секунд. Второй эпизод этого фильма до сих пор не могу вспоминать без смеха. С утра нас, несколько десятков школьников, нарядили в униформу, гитлер-югенда, загримировали и усадили в большом зале перед трибуной со знаменами, свастикой и огромным портретом фюрера. Здесь же присутствовали духовные наставники молодежи в коричневой униформе, с красными нарукавными повязками со свастикой. У них у всех были зверские лица (подбирали их специально или так загримировали — не знаю). Помреж объяснили нашу задачу: при появлении главного фашиста (Астангова) мы должны были все вскочить и приветствовать его криками «хайль Гитлер!» с охолпелым вытягиванием вперед правой руки. Немного потренировались — получалось у всех просто замечательно. Потом, когда главный фашист будет произносить речь с трибуны, мы должны были вдохновенно слушать оратора, пожирая его газами и раздражаться неистовыми аплодисментами и овациями по условному сигналу. Все это у нас тоже получалось сразу и великолепно. Какая-то помощница режиссера заявила, что мы все готовые актеры. Хорошо, что не сказала — фашисты... К середине дня мы успели изрядно взмокнуть, а главный нацист (международная паскуда!) все не появлялся (кажется, знаменитый Астангов задерживался в театре на репетиции). Нервничали помощники, негодовал сам Рошаль. Нас на время выпустили, дали передохнуть. По ходу действия было несколько ложных тревог. Рошаль уже вслух произносил

что-то непристойное, а в массовке подробно передавали, как именно выругался режиссер, кажется, больше прибавляя от себя... Астангов явился к концу дня. Рошаль не успел раскрыть рот, как «обер-фашист» сам обрушился на него, будто это Рошаль опоздал, а он прождал его целый день на морозе. Артист все больше распалялся, дошел до крика и во всеуслышание сообщил, что вообще отказывается от роли!.. Рошаль начал уговаривать разволновавшегося артиста: дескать, Миша, дорогой, не волнуйтесь, ну чего не бывает в театре, в кино и в промежутках между ними. «Обер-фашист» и главный режиссер наконец крепко обнялись. Астангов сразу успокоился и пошел гримироваться. Нам объявили трёхминутную готовность, которая продолжалась около часа. Еще несколько раз прорепетировали вставание и приветствия. Всё застыло в напряжении. Осветители включили свет! И вот он появился в безукоризненном мундире, с моноклем в глазу. Раздались команды: «Мотор!», «Камера!»... По команде мы дружно вскочили с мест и гаркнули вражеское приветствие. Было сделано еще два дубля. Только-только раскошегарились снимать дальше, но тут выяснилось, что Астангов не успел выучить текст речи. Рошаль только попытался выразить ему свое недоумение, как Астангов снова и еще более яростно накинулся на него, и как-то так получилось, что Рошаль оказался кругом виноват и должен был его успокаивать:

— Хорошо-хорошо, Миша! — клокотал режиссер. — Говори что хочешь. Только темпераментно! Как только ты умеешь! Текст речи запишем отдельно. Потом! — а сам уже заискивал перед ним, даже хихикал.

Все это было для меня удивительным и невиданным уроком компромисса, приспособления, искусственной бури и талантливой игры.

Снова раздалось: «Мотор! Камера!»... Астангов великолепно взошел на трибуну, вздернул руку в приветствии и в наступившей мертвой тишине громко, с осата-нелым пафосом произнес:

— Бу-уря мгло-ою не-бо кроет!.. Вихри!.. снежные крутя!..

Изнуренный томительным ожиданием зал взорвался гомерическим хохотом...

— Сто-о-оп!! — заорали со всех сторон, и дюжина проклятий обрушилась на наши фашистские головы.

Весь эпизод пришлось повторить сначала, но с первыми словами: «Буря мглою...». Мы уже не в силах были

сдержаться, хохотали с нарастающей силой и портили дубль за дублем. Съёмка удалась только на четвертый или пятый раз, и то лишь, наверное, потому, что Астангов уже ничего не произносил, а только беззвучно раскрывал и закрывал рот, величественно размахивая руками.

После «Семьи Оппенгейм» я участвовал в съёмках «Александра Невского» Сергея Эйзенштейна, в роли ополченца в кольчуге со щитом и мечом, конечно, бутафорскими. Есть там такой эпизод: молодая русская красавица вступает в народное ополчение, чтобы сражаться за Святую Русь. Она просит дать ей меч и помочь надеть кольчужку, что мы, исполняющие втроем роль ополченцев, и делали с большим воодушевлением: слава Богу, мощная была красавица!

Много лет спустя, уже после войны, я прочел у поэта Николая Глазкова:

...Проворно и ловко,
фанерой гремя,
Массовка массовку
теснила, громя.
Простой и высокий —
не нужен мне грим, —
Я в русской массовке
служил рядовым.
...Себя на экране
найти я не смог,
Когда поле брани
смотрел как знаток.
Себя было сложно
узнать со спины..
Все сделал, что можно:
спасал честь страны¹.

В Эссен, главный город промышленного Рура состав прибыл в конце дня. Солнце едва проглядывало сквозь густую серую пелену и бесконечный частокोल больших и малых заводских труб. Поезд свернул на внутризаводскую ветку. По обеим сторонам возвышались мрачные, без единого окна, стены производственных корпусов высотой с десятиэтажные дома. Казалось, мы движемся по дну узкого, зажатого дефиле. Кирпичное ущелье заполнял смрадный чад. С непривычки трудно стало дышать, во рту появился кисловатый привкус.

Вагоны подогнали почти к самым воротам лагеря. Как только смолк шум поездов, в вагон ворвались лязг

¹ Строки из стихотворения Николая Глазкова — «Фильм «Александр Невский».

и грохот, многократно повторенные гулким эхом. В этом грохоте выделялись мощные с одинаковыми интервалами удары, похожие на биение сердца гигантского чудовища. От ударов вибрировали земля и воздух. Мне почему-то представился невероятно больших размеров штамповочный агрегат с огромной пастью. Туда заталкивается огромная стальная чушка. Удар — и из пасти выкатывается готовый танк или самоходка: удар — танк! Удар — самоходка!..

И хотя это было лишь плодом моего воображения, я ощущал, что каждый такой удар здесь отзывался разрушениями и смертью на Востоке, в моей стране. И главная мысль: как теперь, если не остановить этот поток, то хотя бы нарушить его дьявольскую ритмичную непрерывность. Я еще не сознавал всей сложности предстоящего, но четко понимал одно: «Я плохо подготовлен для решения таких задач. Если б не война и не случайные обстоятельства, я никогда бы не решился взять на себя такую не свойственную моей натуре функцию. Тем более — разведка!..» Поспешная, а затем и вовсе прерванная подготовка при штабе армии была рассчитана на действия в оперативном, а не глубоком тылу противника. Не было у меня ни необходимых навыков, ни знаний.

Сейчас, перед воротами Эссенского лагеря, я ощутил себя слабым, беззащитным, окруженным враждебными мне людьми и грохочущими машинами.

Лагерь, куда нас привезли, размещался на сравнительно небольшом заасфальтированном многоугольнике между глухими стенами производственных зданий и железнодорожной веткой. Внутри — несколько одноэтажных щитовых бараков. Рядом с ними — двухэтажное каменное здание. В нем, как выяснилось позже, находились администрация и охрана. В подвале — карцер и помещение, где совершались экзекуции. По углам многоугольника — сторожевые вышки с пулеметами. Ни дерева, ни травинки.

Из-за проволоки смотрели изможденные худые лица мужчин и женщин, похожие на серые маски. В потухших глазах не было даже любопытства. На всех одинаковая лагерная одежда с нашивкой «OST» на груди. Казалось, за проволокой не люди, а тени. Между ними не спеша расхаживали рослые охранники в черной униформе, с резиновыми палками в руках. Еще несколько шагов, и ворота закроются за нами. Для многих, возможно, навсегда.

Итак, первая часть задания — пробраться в Эссен — выполнена...

При регистрации вновь прибывших я записался Вальдемаром Витвером (под именем Альфред меня могли найти, ведь под этим именем я был пленным!). Писарь поднял голову, уставился на меня и спросил:

— Дойче? (Немец?) — Был большой соблазн тут же ответить: «Да», и решить одним махом множество проблем. Но внутри что-то екнуло и крикнуло: «Стоп!» — Я ответил: — По метрике русский. Фамилия от предков из Прибалтики... Переводчик перевел.

Я был зарегистрирован, как и все «остарбайтером», получил лагерную куртку с нашивкой «OST» и личный номер. Знание немецкого языка пока решил не раскрывать.

Я часто удивлялся тому, как быстро человек ко всему привыкает. Даже к тому, что не только чуждо, но и отвратительно его природе. Пробыв какое-то время на оккупированной территории, я уже относительно спокойно принял лагерные порядки. Меня уже, казалось, ничто не могло ни удивить, ни повергнуть в уныние, ни вывести из кажущегося равновесия. Лагерь был расположен так, что лишь с одной из четырех сторон мы могли видеть небольшую часть улицы, ведущей в город. Две другие стороны, как я уже сказал, примыкали к высоким глухим каменным стенам промышленных корпусов. А вот с четвертой возвышалась железнодорожная бетонная эстакада. Время от времени сверху грохотали эшелоны с вооружением, изготовленным на этих заводах. И я знал, что производится оно хоть и подневольно, хоть и под страхом смерти, но с нашей помощью, остатками наших сил, навыков и знаний.

Те, кто попал в этот лагерь, имели бесспорное преимущество перед теми, кто оказался в Освенциме, Дахау, Бухенвальде и др. То были лагеря массового уничтожения. Этот обслуживал военные заводы Круппа, и администрация была заинтересована не только выжать как можно больше пользы из остарбайтеров, но и сохранить рабочую силу. Поэтому и назывался он лагерь для восточных рабочих. Питание хотя и скудное, все же умирать не давало. Нас не стригли наголо, не облачали в полосатую арестантскую форму. Работа на заводах, даже в горячих и вредных цехах, все-таки была легче чем каторжные работы в каменоломнях или шахтах. Однако режим был исключительно жестким. За малейшее нарушение — наказание, а за саботаж, дивер-

сию или кражу на производстве — гильотина. И хотя эти лагеря не нарекли «лагерями смерти», но дело не в названии. Ведь и советские концлагеря почти любовно назывались «исправительно-трудовыми»...

Мы постоянно ощущали себя на дне огромного колодца, и даже для того, чтобы увидеть, что именно везли на открытых платформах, приходилось высоко запрокидывать голову. При этом риск получить увесистый удар резиновой палкой был велик. Впрочем, большинство узников ходили с постоянно опущенными головами и взгляда не поднимали. Их мало что интересовало, а круг основных забот сузился до двух: хоть что-нибудь поесть сегодня и не получить оглушающего удара палкой по голове.

Меня временно оставили электриком при лагере. Это совсем не входило в мои расчеты. Вместо того чтобы попасть на один из военных заводов, я вынужден был работать за колючей проволокой лагеря. Но вскоре я обнаружил и серьезные преимущества своего положения: сделал несколько карандашных портретов охранников. Немцы сразу оценили мои художественные способности (еще бы — ведь сам Адольф Гитлер когда-то хотел стать художником!).

Последовали заказы от лагерной администрации. Тогда я осмелел и сказал, что мне необходимы краски, кисти, разноформатная бумага... Хитрость удалась — я получил возможность выходить в город — сначала в сопровождении одного из охранников, а потом и самостоятельно. Видно так уж повелось, что в людях просыпается неумемная любовь к живописи и графике, когда «шедевры» с изображением их лиц достаются им бесплатно.

Больше всего меня поразило первое посещение Эссена. Как война кажется чем-то противоестественным после мирной жизни, так и обычный, еще почти не тронутый войной город удивлял после фронта, плена, подвалов, казематов и лагерей. Люди, обыкновенные нормальные люди, спешили по своим делам, дзинькали трамваи, работали магазины...

Вместе с сопровождающим мы сели в трамвай и отправились разыскивать все, что требовалось для рисования. Пожилой кондуктор в униформе объявлял остановки. Среди них была улица какой-то Елены — Хелениенштрассе. Кондуктор произнес название, и мне показалось, он сказал: «Хайль-Ленин-штрассе!», да при этом еще и подмигнул мне. Как бы то ни было — действительно он так произнес или показалось (последнее,

конечно, вероятнее) — это оторвало меня от моих мыслей: вот уж вправду воздух свободы пьянил...

Окраины Эссена были застроены одно-, двухэтажными коттеджами, как мне показалось, похожими один на другой. Такое впечатление складывалось, очевидно, из-за того, что все они имели одинаковые двускатные черепичные крыши. Правда, их тональность менялась от темно-коричневой, почти черной близ заводов, до ярко-красной по мере удаления от них. Над невысокими домами возвышались готические шпили соборов. Я попросил сопровождающего — добродушного, уже немолодого немца — зайти в один из них.

Никогда прежде я не был в лютеранской кирхе. Органная музыка, прихожане, сидящие на длинных узких скамейках, похожих на школьные парты, строгий по сравнению с православными церквами интерьер — все это тоже было непривычно. Поражал сам мирный уклад жизни города и то, что не было заметно следов разрушений. Но даже там, где они были, на месте разрушенных зданий разбивались скверы. Правда нам попало несколько домов, у которых взрывной волной сбросило черепицу с крыши. Над домом возвышался только скелет стропил с редкой обрешеткой. Это смотрелось как-то странно еще и потому, что почти все фасады были увиты вьющимися растениями. Нередко увиты настолько плотно, что трудно было даже определить, из чего сделаны стены. Такие строения походили на старинные перевернутые остовы парусных судов или заброшенные замки.

На одной из улиц я чуть не налетел на человека, одетого в черный костюм, с черной плюшевой шапочкой на голове и специальным инструментом, который не спутаешь ни с каким другим. Это был трубочист. А встреча с ним, как я помнил еще из детских книжек, означала удачу и исполнение желаний. Я даже сказал ему какое-то приветствие, и, чуть ли не по-русски.

Мы дошли до базарной площади. Здесь работали аттракционы. Под музыку взрослые и дети кружились на карусели. Вокруг нее почему-то не было никакого ограждения, даже маленького барьерчика. Я подумал, что сейчас какой-нибудь подвыпивший зевака или, не дай Бог, ребенок зацепится за пролетающие в считанных сантиметрах от толпы колесницы. Но этого не произошло.

Первые выходы в Эссен остались в памяти немногими, отрывочными эпизодами. Мысль напряженно рабо-

тала в одном направлении: как связаться с товарищами в Сумах.

Мы купили необходимые художественные принадлежности и направились к трамвайной остановке: время свободы подходило к концу. Но мой немец, видя, очевидно, что на меня город не произвел особого впечатления, решил показать мне еще одну достопримечательность. Он повел меня на узенькую улочку. Кончалась она тупиком, а по обе стороны ее стояли обычные двух-, трехэтажные дома. Старый конвоир с помощью жестов и нескольких русских слов пытался объяснить, что хочет показать мне что-то такое, чего я никогда еще не видел... Но ничего примечательного я пока не замечал, если не считать идущих нам навстречу мужчин, преимущественно немолодых, среди которых было немало инвалидов в солдатской форме.

Мы прошли еще совсем немного, и я увидел действительно для меня нечто необычное. У подъездов домов стояли женщины. А вот удивительным было то, что каждая была буквально заштукатурена румянами и пудрой. Они зазывали всех желающих развлечься. Всего за пять марок. Едва мы оказались в поле их внимания, как я попал под перекрестный огонь: молодые парни сюда заглядывали, видимо, редко, а постоянными клиентами были пожилые солдаты и калеки.

«Дамы» выставляли напоказ свои прелести, которые и так все были на виду. Я испытывал нечто среднее между любопытством и жалостью к «нешадно эксплуатируемым» женщинам — наше воспитание дало себя знать! Одна из нимф, приняв мою стойкость за иностранную нерешительность, устремилась ко мне, вытянув вперед ладонь с растопыренными пальцами — это, видимо, был ее привычный жест взбадривания: взъерошить волосы и тем самым сразить клиента!.. Я попытался увернуться от этого натиска, но не тут-то было: красotka потеряла равновесие, всей тяжестью телес навалилась на меня и к тому же обдала одуряющим запахом своей безудержной косметики. Я еле выбрался из-под нее. Вокруг раздавались ехидные смешки и патентованные шуточки (я никогда раньше такого от женщин не слышивал!). Смехом встретил меня и порезвившийся конвоир... И все это совершенно бесплатно.

Пора было возвращаться в лагерь. Там жизнь для большинства заключенных шла от сигнала до сигнала. Сигнал — отбой, сигнал — подъем, сигнал — на работу. Сигнал — принятие пищи, если лагерную кормежку мож-

но было назвать пищей. Тем не менее это всегда был самый долгожданный сигнал... Выстраиваемся с мисками. Сегодня на ужин «киршензуппе» — вишневый суп! Каждый получает черпак мутной, розоватой похлебки. Вода, а в ней — косточки от вишен, аккуратно очищенных, без мякоти. Скорее всего отходы от производства джема. Для такого супа ложка не нужна. Больше на ужин ничего не положено. Хлеб — смесь опилок и отрубей — выдается один раз в день. Залпом выпиваю так называемый суп. От такой кормежки быстро останутся кожа да кости. Только подумал об этом, слышу обращенные ко мне слова:

— Не продадите ли вы свои косточки?

— Что?! — я не сразу догадался, что он имел в виду.

Оказывается, вишневые косточки, которые я всегда считал несъедобными, были не только пищей, но и предметом торговли и обмена. Одни их проглатывали, как говорится, «живьем», другие раскалывали камнем, извлекая ядра. Разгрызать их зубами не мог почти никто. Кучку зернышек можно было поменять на сигареты или продать за несколько пфеннигов. Сосед по столу, узнав, что я отдал косточки даром, обвинил меня в крайней расточительности. Я обещал впредь отдавать эти косточки только ему. Он оказался инженером-химиком и здесь, у Круппа, работал в научно-исследовательской лаборатории. Понимая, что сведения о лабораторных исследованиях могут очень пригодиться, я решил поддерживать с ним дружеские отношения.

Чтобы обеспечить себе свободу передвижений и действий, я не жалел времени и сил, выполняя заказы моих охранников, как говорится, старался «полностью удовлетворить все художественные запросы высокой администрации!» Все свободное и несвободное время я малевал их рожи — портреты были до жути фотографичны; я знал, что навсегда теряю стиль и художественное чутье, но им всем именно эта фотографичность, похожесть нравилась!..

Их благосклонное отношение ко мне еще более упорчилось из-за моего чрезвычайного «прилежания» в освоении немецкого языка. Уж что-что, а это немцы умеют ценить. Но здесь важно было не переборщить...

Теперь, когда у меня появилась возможность самостоятельно выходить в город, я отправил с двухнедельным интервалом два письма в Сумы, естественно, без обратного адреса на конверте. В письмах, адресованных

«любимой девушке», сообщал о своем местонахождении. Но для получения ответа нужен был обратный адрес надежного человека в городе.

Во время одного из посещений магазина художественных принадлежностей, я обратил внимание на посетителя, объяснявшегося, как мне показалось, с явно русским произношением. Я не ошибся — посетитель оказался русским эмигрантом — Глеб Александрович Скворцов.

Эмигрировал он из России в конце гражданской войны, скитался по разным странам и в конце концов поселился в Париже. Там завершил образование, стал инженером-строителем. В Эссен приехал по контракту и уже несколько лет работал в какой-то частной фирме.

Когда он узнал, что я из лагеря, то сразу проявил ко мне заметное сочувствие. Сначала я обрадовался такому знакомству — оно было как нельзя кстати. Но вскоре выяснилось, что он бывший белогвардейский офицер, сражался против большевиков, — я сильно засомневался и даже пожалел, что завязал с ним знакомство. Мое представление о белогвардейцах, основанное на комсомольском воспитании, разумеется, было самым неприязненным. Все же, умудренный уже некоторым жизненным опытом, я не стал делать поспешных заключений. Решил получше присмотреться к нему. Тем более, что другого варианта у меня не было. Очень скоро пришлось убедиться в хлипкости и ограниченности моих предубеждений. Глеб Александрович проявил себя не только добрым самоотверженным, но и благородным человеком. А главное — человеком слова. Он расходовал на меня почти весь свой карточный паек, я замечал — он нередко сам оставался голодным.

Сначала я неохотно принимал его помощь, гордо полагая, что он делает это, якобы замаливая свои белогвардейские грехи перед солдатом Красной Армии. Приписывал его благотворительность угрызениям совести православного христианина за злодеяния против красноармейцев в гражданскую войну. Помните, эти вырезанные на спинах пятиконечные звезды, выколотые штыками глаза!..

Но как я ни старался убедить себя в его белогвардейской лютости, мне это никак не удавалось. Его образ и облик не соответствовали такому наработанному стереотипу. Чем больше я узнавал его, тем больше убеж-

дался в его душевной глубине и абсолютной порядочности. Во всяком случае, облик Скворцова как «белогвардейца» зародил во мне серьезные сомнения в справедливости того, что закладывали в наши головы с самого детства. Действительность вносила в мои представления серьезные поправки.

Запомнился эпизод, происшедший на бывшей польской территории. Отъехав километров тридцать от Львова, где был расквартирован дивизион, наше отделение расположилось на поляне, недалеко от шоссеной дороги. Предстояло отработать приемы быстрого приведения в боевую готовность четырехметрового оптического дальномера, научиться обнаруживать цель и определять расстояние до нее. На шоссе показалась длинная колонна. Повернул дальномер в ту сторону, прильнул к окулярам и увидел конвоируемых нашими солдатами людей в польской военной форме. Многократное приближение позволило хорошо разглядеть все детали. Это были совсем молодые парни, в обтрепанной униформе, многие были босы. Вид у них был совершенно изможденный. Колонна уже поравнялась с нами, когда конвоиры объявили привал. Это были военнопленные, но почему-то очень уж юные, лет по семнадцати-восемнадцати. Один из них обратился к нам по-украински, попросил закурить. С разрешения конвоира мы отдали пленным весь имевшийся при нас запас махорки, выданный на неделю. Завязался разговор. Это были курсанты военного училища. Они оказались на территории, отошедшей к нам, и их поместили в лагерь как военнопленных. Их использовали на работах в карьере. Об условиях, в которых они содержались, красноречиво свидетельствовал весь их внешний вид.

Раздалась команда: «Подымайсь!» Некоторые не могли подняться сами. Им помогали их товарищи и отборный мат конвоиров. Пленный, с которым мы беседовали, поблагодарил за махорку и, горько усмехнувшись, громко произнес: «Дзякую вам, братику, що звольили нас!» («Спасибо вам, братья, что освободили нас!») Эту фразу я вспоминал часто. Да и теперь вспоминаю.

Неоднократно мне приходилось слышать о массовых репрессиях со стороны НКВД по отношению к жителям Польши, Бессарабии, Западной Украины, там, где я побывал вместе со своей воинской частью. Мы ощущали постепенное ухудшение отношения к нам со стороны местного населения присоединенных территорий.

С Глебом Александровичем мы встречались обычно по воскресеньям, если, конечно, мне удавалось вырваться хоть на часок из лагеря. Обычно немногословный, он становился более разговорчивым после первого небольшого стаканчика вина (а много мы не пили). Он рассказывал о боевых эпизодах гражданской войны, не скрывал обоюдной жестокости, но постоянно утверждал, что с их стороны она была в основном ответной реакцией. Я то спорил с ним до одури, то затихал и просто слушал — ведь это он участвовал в той войне, а не я... В минуту откровений Глеб Александрович рассказал, как однажды, на свой страх и риск, он отпустил захваченного в плен «настоящего комиссара» — так и сказал. Он вспоминал об этом случае и всегда спрашивал: «Как ты думаешь, жив он еще?.. Ведь прошло с тех пор всего года двадцать четыре — двадцать пять?.. А?..»

Чем больше я узнавал Скворцова, тем больше открывал в нем. Это был человек, органически не способный на предательство. А ведь и вправду на Руси верность всегда ценилась даже больше, чем любовь.

Через Скворцова я смог теперь отправить несколько писем в Сумы с обратным адресом. Ответа пришлось ждать довольно долго. Наконец пришло письмо. В нем, за прикрытием обыденных фраз, сообщался пароль для контакта со связником. Когда и как это произойдет, не сообщалось. Оставалось набраться терпения и ждать.

Глеб Александрович Скворцов был одним из тех людей, расставание с которыми я пережил с болью и глубоким сожалением.

Откровенно говоря, для меня эта странная, авантюрная и малость с вывихом работа всегда была адовой — не столько по причине постоянной опасности (к этому можно привыкнуть), а вот невыносимость этой деятельности считаю по причине внезапных исчезновений: ушел, не простившись с человеком, который столько сделал для тебя и которого ты полюбил; порвал отношения без объяснений и даже не сказал «извини»; вот тут горе горькое, неизлечимое, и совесть больная, — никакие объяснения не оправдывают. Вот почему я, наверное, не считаю себя профессиональным разведчиком. Не потому что недоучка, а потому, что всю жизнь не тому учили. Не тому учился.

Лагерная охрана относилась к нам по-разному. Одни не выпускали резиновых палок из рук и по малейшему поводу сыпали удары направо и налево. Только держись — не свались. Другие были менее ретивы, а некоторые даже проявляли сочувствие. К последним относился, например, охранник Гюнтер. Внешне нейтральный, сдержанный, он не только никогда не пускал в ход дубинку, но нередко, если это можно было сделать незаметно, помогал нам.

Еще до знакомства со Сковрцовым я попытался осторожно выведать у Гюнтера: можно ли из лагеря отправить письмо на Украину «любимой девушке»? На что он ответил: «Надежды мало, но можно попробовать...»

Тогда я не решился воспользоваться его помощью, хотя он сам, через какое-то время, напомнил мне об этом. Мне показалось, что он с тех пор присматривается ко мне. Однажды он предложил поработать у него в саду.

В этом не было ничего необычного. Охранники часто договаривались с начальством и брали по воскресеньям не занятых на производстве рабочих для различных дел дома. Желавших поработать в огороде всегда было много: это обещало хоть какую-то прибавку к голодному лагерному рациону. А потом — возможность выйти за пределы зоны.

В воскресенье Гюнтер зашел за мной в барак, и мы отправились к нему. Он жил в небольшом домике на окраине города. Нас встретила его жена и мужчина средних лет — приятель Гюнтера, Эрнст. Втроем мы немного поработали в саду. А потом жена Гюнтера позвала обедать.

Беседа во время обеда была обычной, хотя Эрнст, как бы между прочим, упомянул имя своего тезки Эрнста Тельмана и, вскользь, нелестно отозвался о его тюремщиках — это было не мало!

После обеда он отвел меня в другую комнату, и разговор принял совсем другой оборот. Эрнст назвал слегка искаженный пароль, сообщенный мне в письме из Сум.

Я ни о чем не расспрашивал его. Каждый понимал, что в условиях постоянной слежки и террора лучше было меньше знать о делах и связях другого. Никто не мог быть полностью уверен, что устоит против пыток гестапо...

Несмотря на угрозу смертной казни, время от времени на заводах стихийно предпринимались попытки вы-

вода из строя оборудования, инструмента, замены взрывчатки в бомбах и снарядах песком. Как правило, все эти попытки заканчивались жесточайшей расправой. Причем кара ожидала не только исполнителей, но и многих непричастных. После таких попыток и без того жестокий лагерный режим еще больше ужесточался.

Когда стало известно, что я немного печатаю на пишущей машинке, меня тут же определили на должность учетчика лагерного инвентаря. Это уже была «должность». И маленькая победа — я зацепился.

В мою обязанность входил учет мисок, ложек, матрасов, спецодежды и другого инвентаря в нескольких лагерях. Меня перевели в другой, больший по численности лагерь, и поместили в крохотную каморку на чердаке здания «вахштубе». Незаметная должность учетчика открывала доступ в другие лагеря и даже на производство. Контакт с рабочими разных заводов давал возможность поподробнее, поточнее узнать о производстве вооружений, а это было делом совсем простым и небезопасным. Любые сведения приходилось выуживать по крупицам, ведя отвлеченные разговоры. Иногда собеседник начинал догадываться о смысле моих вопросов и проявлял готовность помочь. Каждый раз в таких случаях, увы, мне приходилось менять тему разговора и избегать дальнейших встреч, чтобы не нарваться на провокатора.

Должен сказать, что наряду с довольно пассивной и безропотной массой, в нашем лагере была небольшая группа активных людей. Они старались поддерживать друг друга, не унижались ради дополнительной порции похлебки, не выпрашивали у охранников недокуренных сигарет, держались с достоинством. Я замечал, что при каждом удобном случае они пытались как-то расшевелить остальных, подготовить их к сопротивлению.

Однажды мне пришлось ремонтировать электропроводку в вахштубе. Мое внимание привлек разговор. Он доносился из кабинета коменданта сквозь неплотно прикрытую дверь. Была упомянута знакомая мне фамилия одного из активистов. Его подозревали в недозволенной заключенным связи с немецкой женщиной и в подготовке к побегу... Из разговора я смог понять, что конкретных доказательств у администрации пока не было, и их решили спровоцировать. Я обо всем тут же предупредил товарища, и расправа не состоялась. После этого мне стали доверять и даже предложили войти в состав подпольной группы. По совету Эрнста, мне пришлось укло-

ниться от окончательного ответа, а потом ретироваться и уйти в тень, что, естественно, вызвало недоумение... если не подозрение.

Стало известно, что в одном из цехов начали производство крупнокалиберных снарядов, начиненных отравляющими химическими веществами. Состав ОВ держался в строгом секрете. В отличие от обычных артиллерийских снарядов эти имели цветные кольцевые полоски, в различном цветовом и количественном сочетании, в зависимости от состава и концентрации отравляющего вещества.

Через Гюнтера Эрнст предложил мне собрать сведения об этой ядовитой начинке. Тут-то и пригодилось знакомство с инженером-химиком, бывшим моим соседом по нарам и столу. Он имел отношение к разработке новых химических веществ. Мне было известно, что немцы высоко ценили его как специалиста. Он пользовался некоторыми привилегиями, но и охранная служба окружала его повышенным вниманием. Это осложняло мои действия и требовало особой осторожности. Павел Алексеевич, или Доктор, как звали его немцы, был скрытен и подозрителен. С товарищами по лагерю старался общаться как можно меньше, друзей не имел. Ко мне он почему-то проявлял некоторую благожелательность. Причиной этого, думаю, были мои вишневые косточки, ну и, может быть, углубленный интерес к его любимой химии. И раньше, когда наши места были рядом, мы часто беседовали на научные темы. Теперь это было более чем кстати. Чувствовалось, что Доктор любил свою профессию и говорил о ней с увлечением. Я старался перевести разговор на интересующие меня детали. И хотя Доктор, как оказалось, имел только косвенное отношение к химическим секретам немцев, но он умел догадываться, вычислять и определять. Кое-что через него удалось установить.

Собранные сведения я передавал Эрнсту. Не знаю, были ли они достаточными и кто еще работал в том же, что и я, направлении. Так или иначе секретный состав, как я позже узнал, был раскрыт.

Благодаря контакту с рабочими разных цехов и заводов, я имел теперь общую картину производства вооружения в главной кузнице фашистского рейха.

Отсюда, с заводов Круппа, на Восточный фронт шел непрерывный поток оружия. Танки, пушки, самолеты,

мины, снаряды... Даже железные кресты всех степеней и солдатские пряжки с надписью: «Гот мит унз» («С нами Бог») штамповались из той же крупновской стали. Авиация наших союзников уже не раз сбрасывала бомбы на жилые кварталы города и лагеря иностранных рабочих, но заводы оставались нетронутыми и продолжали работать на полную мощность.

8. УНИЧТОЖЕНИЕ

Накануне нового, 1943 года Эрнст сообщил, что вскоре ожидается мощный налет авиации союзников на весь промышленный комплекс Рура, и что нужно вывести из строя всю противопожарную систему на предприятиях и заводах. Причем не заранее, а в самом начале воздушного налета, чтобы не выдать себя предварительными действиями. Гюнтеру удалось отыскать человека, знающего крупновскую противопожарную систему. С его помощью была воссоздана схема противопожарного водоснабжения и намечены наиболее уязвимые и доступные узлы.

Началась напряженная подготовительная работа. Она требовала большой осторожности и изобретательности. Дополнительно была составлена схема размещения складов взрывоопасных и горючих материалов, с тем, чтобы ликвидировать их, если они уцелеют при бомбежке. В мою задачу входило уточнение схемы по цехам. Помимо опроса рабочих, иногда удавалось самому побывать на объектах. Не обошлось без опасного инцидента. Один из наших рабочих, судя по всему, догадался о нашем плане и начал активно действовать по собственной инициативе. При очередном моем посещении он улучил момент и продемонстрировал результаты своего труда: брандспойты с забитыми каналами, заклиненные водопроводные задвижки и вентили, проколотые пожарные рукава... С большим трудом, применяя сочетание уговоров и угроз, все-таки удалось остепенить его. Я объяснил ему всю вредоносность этой идеи. Такая самодетельность могла напрочь погубить весь намеченный план. Активист пообещал угомониться и ждать...

Для выполнения всего, что было намечено требовалось немало верных людей. Эрнст не разрешил привлекать к этой работе остарбайтеров из нашего лагеря. Он сам занялся созданием подрывных групп из надежных антифашистски настроенных рабочих. Каждый был тщательно подготовлен и проинструктирован. Им пред-

стояло действовать в тот момент, когда начнут рваться бомбы, рушиться стены и перекрытия.

Эрнст настоял на том, чтобы я занимался только подготовительной работой и в решительный момент оставался бы на территории лагеря.

И вот этот долгожданный момент наступил.

Январским вечером 1943 года, вскоре после того как конвой развел по цехам ночную смену, раздался сигнал тревоги. В последние дни «алярм» (прерывистый вой сирен) звучал почти каждый вечер, но обычно это были ложные тревоги. На крупновские заводы пока все еще не упала ни одна бомба. Вот и сегодня где-то вдалеке постреляли зенитки, затем все стихло. Видимо, это была очередная ложная тревога. А я все еще напряженно ждал... Прозвучал отбой воздушной тревоги, вскоре и лагерный отбой. Надзиратели загнали всех в барак, заперли двери и ушли спать. Осталась только охрана на вышках. В наступившей ночи еще отчетливее раздавался лязг и скрежет грандиозной кузницы оружия. Через ровные промежутки времени небо озарялось красноватым светом: из мартенов выпускали очередную плавку стали.

Вдруг, почти одновременно, небо с разных сторон разрезали яркие голубые лучи прожекторов. Взвыли сирены. Отдаленным громом ударили зенитки, сначала дальние, а вслед за ними и те, что были поближе. Непрерывный грохот многочисленных зенитных орудий и необычно мощный, нарастающий рокот моторов в вышине были не похожи на то, что приходилось слышать раньше. Я вылез на крышу вахштубе, где была моя коморка, и оцепенел от увиденного. На большой высоте, в четком строю надвигалась армада, состоявшая из многих сотен летающих крепостей. Бомбардировщики шли, не меняя курса, невзирая ни на слепящий свет прожекторов, ни на плотную завесу зенитного огня. Такое зрелище я видел впервые, хотя и пережил множество воздушных налетов. Таким оно и осталось в моей памяти, наверное, навсегда и до сих пор все еще продолжает являться во сне, воскрешая ликующий ужас той январской ночи.

Некоторое время я еще оставался на крыше. Подумал: а не пролетят ли бомбардировщики мимо, — показалось, что для бомбометания слишком большой была высота. Но когда понял, что вся эта лавина движется прямо на нас, — мне стало жутко. Только теперь дошло до сознания, что надвигается наша гибель.

Я быстро спустился вниз. На дворе перед бараками собралось несколько человек из лагерной obsługi. Все, как зачарованные стояли задрав головы вверх. Никто до сих пор не видел такого количества самолетов и такой фантастической световой феерии.

Заметались часовые на сторожевых вышках. Позабыв о своих обязанностях, они в страхе поглядывали вверх.

У меня не было возможности покинуть лагерь в ночное время и ничего другого не оставалось, как присоединиться к тем, кто собрался на лагерьном дворе и ждать, что же будет дальше.

Рокот тысячи моторов сливался в единый звенящий гул и с высоты спускался на землю всепоглощающим потоком. Но вот сквозь него пробился едва различимый шелест. В одно мгновение он перешел в сплошной вой и свист. Все бросились в небольшую траншею между бараками. Первая волна бомбардировщиков сбросила зажигательные бомбы — шестигранные стержни длиной в метр, начиненные фосфорной, самовозгорающейся смесью. Их было такое множество, что они напоминали струи сплошного ливня или града. В нашей траншее прямыми попаданиями ранило несколько человек. Одному, рядом со мной, «зажигалка» угодила в плечо и почти оторвала руку. У другого застряла в поясице. Горела одежда, горел асфальт, запылали бараки и заводские корпуса. Только начали перевязывать раненых, как снова послышался вой и все кругом затряслось, закачалось и потонуло в страшном грохоте разрывов фугасных бомб и свисте осколков. Взрывом бомбы ближайшая к нам сторожевая вышка была превращена в груды щепы. На других вышках охранников как ветром сдуло. Едва затихли разрывы, снова послышался вой, а точнее, рев, не похожий на обычный звук падающих бомб. Это были так называемые «воздушные мины». Взрывы сопровождались воздушной волной огромной силы. Этой волной были практически сметены остатки пылающих бараків. А в вышине надвигалась новая волна летающих крепостей. Все кругом было охвачено пламенем. Нестерпимый жар и дым затрудняли дыхание, у людей из рта и ушей текла кровь. Ничему живому в этом аду не оставалось места. Но это было еще не все. Я увидел, как над морем огня, бушующим на земле, в вышине вдруг появилось пламя. Казалось, само небо теперь вспыхнуло. Огненное покрывало из горящего голубым пламенем жидкого фосфора устремилось вниз, чтобы слиться с ог-

нем на земле. Это было уже за пределом того, что может ощутить и вынести нормальный человек, а потому дальше воспринималось уже как что-то потустороннее, апокалиптическое. Теперь я с уверенностью мог бы сказать: «Я видел конец света».

Удалялся гул моторов, глухо молчали зенитки. Только ревело и неистовствовало вселенское пламя. Ночь и зимняя стужа растопились в этом море огня. Все смешалось — и время года и время суток... Горели стены траншеи, тлела одежда на еще живых и на трупах.

Карабкаясь по обломкам и телам, я выбрался из траншеи и через догорающую проходную побрел за пределы не существующего больше лагеря. В ушах звенело, во рту стоял вкус крови, кашель раздирал грудь. Надо было бежать из этого ада. Но я и бежать не мог. Вспомнил о подрывных группах, об Эрнсте... Вместо того чтобы уйти, ноги сами повернули к горящим заводским цехам. Впереди — сплошная стена огня. Асфальт был покрыт слоем застывшего фосфора, который тут же воспламенялся снова, как только его касалась подошва ботинка. Стоило остановиться, и ноги охватывало синеватое пламя. Я осторожно продвигался вперед, стараясь держаться середины проезда, где жар от пылающих по обеим сторонам заводских зданий ощущался слабее.

Хотя бомбардировщики давно улетели, все еще раздавались взрывы. Никто не боролся с огнем, не видно было ни одной струи воды, ни одного действующего брандспойта. словно все пересохло и вымерло в этом мире. снова подумал об Эрнсте, и тревожное предчувствие заохлодило душу. Я постарался ускорить шаги, и вдруг лицо опалило нестерпимо ярким выбросом огня. Сильно резануло по голове. На левый глаз опустилась красная марля, мешала смотреть. Хотел отвести ее в сторону, но понял, что это кровь...

Только под утро, сам не знаю как, дотащился я до дома Гюнтера. Здесь меня ждало тяжелое известие... Вместе с одной из подрывных групп погиб и Эрнст.

Оборвалась жизнь замечательного товарища и надежного друга. Оборвалась вместе с его жизнью моя ненадежная связь с Родиной.

Несколько суток после налета пламя уничтожало то, что не разрушили бомбы. Лагерь, где все мы находились, был также полностью уничтожен. Большая часть людей, запертых в деревянных бараках, погибли сразу. Остальные разбежались. В городе, недавно еще прак-

тически не тронутым войной, теперь превращенном в руины, воцарились ужас и хаос. Спасательные команды не успевали откапывать заживо погребенных. Особенно значительны были разрушения от «воздушных мин». В отличие от обычных фугасных бомб, эта смертоносная новинка не крошила стены и перекрытия, а опрокидывала целые кварталы. Чтобы извлечь людей из подвалов, приходилось подрывать огромные куски стен. Но чаще всего в подвалах оставалось мало живых. Воздушной волной разрывало легкие и люди умирали, захлебываясь собственной кровью.

По городу бродили непривычно растерянные гестаповцы. Искали разбежавшихся из лагерей, допрашивали рабочих, пытались найти виновников вывода из строя противопожарных систем. Оставаться в Эссене — значило подвергать риску тех, кто помогал мне. Да и делать здесь больше было нечего.

В штабе подпольщиков решали, куда меня лучше перебросить, во Францию или Австрию¹.

Сначала я скрывался в доме Гюнтера. Потом меня переправили в пригород, к его знакомой фрау Тишлер. Эта пожилая женщина потеряла на войне мужа и сына.

Благодаря ее материнской заботе я начал быстро поправляться: затягивалась рана на голове, да и нормальное питание восстанавливало силы. Не принимая повреждений, фрау Тишлер предоставила в полное мое распоряжение комнату сына и его обширный гардероб. Многие вещи были еще ни разу не надеты. Судя по их размеру, рост ее сына и комплекция совпадали с моими. Я неожиданно оказался полностью экипирован. Да еще как! Такого количества рубашек, галстуков, обуви у меня никогда не было. А после трех лет фронтового обмундирования и лагерной спецодежды, к такому обилию одежды надо было еще привыкнуть. Иногда по просьбе фрау Тишлер я сопровождал ее на прогулках. В добротном костюме, шляпе, в солнцезащитных очках и с тростью, я бы и сам себя не узнал, не то что... Прохожие, очевидно, принимали меня за ее сына. Впрочем, как утверждала фрау Тишлер и свидетельствовали фотографии, некоторое сходство действительно было.

Наконец появилось свободное время. Я написал порт-

¹ Писатель-историк из ГДР Курт Финкер в книге «Заговор 20 июля 1944 года» свидетельствует: «Подлинные зачатки настоящих действий имелись только в Вене и Париже». — Издательство «Прогресс». М., 1975. С. 308.

рет сына фрау Тишлер. Портрет поместили в рамку, и я повесил его на самое видное место в доме. Фрау Тишлер стала называть меня «майн зон» («мой сын»).

От нее я узнал, что на одном из здешних кладбищ похоронены русские военнопленные первой мировой войны. Мне очень захотелось посетить их могилы. Незадолго перед моим отъездом мы с фрау Тишлер отправились на это кладбище. По иронии судьбы оно находилось рядом с загородной резиденцией династии Круппов, известной как «Вилла Хюгель». Сам основатель династии уже давно отбыл в лучший мир, и его преемником стал зять, фон Боллен. Вилла представляла собой довольно скромное строение, огорожена невысокой легкой оградой. А рядом — недлинный ряд могил, и в конце я увидел то, что искал. На надгробных каменных досках четырех или пяти могил можно было разобрать наполовину стертые имена и фамилии русских, похороненных здесь в 1915—1916 годах. К сожалению, запомнилось лишь одно из них — Иван Хоробров.

Трудно было поверить, что такое почтение к усопшим врагам могло быть в Германии всего лишь четверть века назад. В эту войну от сотен тысяч пленных, умерших в фашистских лагерях, оставался лишь пепел. И больше ничего.

Наверное, почти все люди старшего поколения знают немецкое слово «Drang», ну еще бы: «Drang nach Osten» — «Марш на Восток!». В действительности слово «Drang», помимо основного значения — «напор», имеет еще одно более высокое значение — ДРАНГ — «неосознанное, непреодолимое влечение». Так вот, я испытывал этот самый ДРАНГ. Мне не терпелось еще хоть раз взглянуть на разрушения в промышленном районе, где находился наш лагерь и где я чудом уцелел во время январской бомбежки. Поскольку трамвайное движение еще не было восстановлено, я рискнул отправиться туда на велосипеде.

Картина, которая представилась мне, напоминала мертвую зону. Справа и слева, там, где в ту ночь все горело и взрывалось, теперь возвышались горы битого кирпича, обломки бетона и искореженного металла. Не видно было ни одного уцелевшего здания. И ни души, кто пытался бы расчистить завалы. Всё как будто бы вымерло. Лавируя между развалинами и обломками, я добрался до места, где был наш лагерь, и не увидел ничего, кроме тех же руин торчащих из них обугленных

досок. Такие же руины виднелись на месте, где стояли заводские корпуса и где меня ранило в голову. Немного отдохнув, я отправился в обратный путь. Проезжая перекресток, неожиданно для себя повернул налево (будто кто-то за меня повернул руль). Проехал немного и сообразил, что мне надо было ехать прямо, никуда не сворачивая. Едва успел развернуться и поехать обратно, как услышал сильный взрыв. Подкатил к перекрестку и увидел, что улица, по которой я должен был ехать, заполнена дымом и пылью — взорвался «блиндгенгер» (авиационная бомба замедленного действия). Неизвестно откуда возникший полисмен устанавливал zagrożение... Кто дернул меня за руку? Почему я повернул влево? Почему не поехал прямо на взрыв?..

Иногда меня навещал Гюнтер. Во время одной из встреч он сообщил, что решено направить меня в Вену. У товарищей из эссенского подполья установились контакты с одной из групп австрийского движения Сопротивления.

Я не стал расспрашивать Гюнтера, было ли это решение согласовано с нашим разведцентром, связь с которым прервалась после гибели Эрнста. Здесь в условиях жесточайшей конспирации, задавать вопросы было не принято.

Гюнтер передал мне документы на имя Вальдемара Витвера, демобилизованного из вермахта по ранению, и письмо на бланке гауляйтера Рура в Управление высшими учебными заведениями Вены с ходатайством о поступлении на архитектурный факультет Высшей технической школы. При этом он пояснил, что версия о переезде в Вену для учебы представлялась моим товарищам достаточно правдоподобной, а положение студента давало некоторую свободу действий.

Справка о демобилизации подтверждалась действительными ранениями, а заметный шрам на голове позволял мне затягивать паузы при разговоре, как это бывает у контуженных, давал возможность ссылаться на провалы в памяти, в случае необходимости.

Кроме документов и железнодорожного билета Эссен — Вена, Гюнтер передал мне устно содержание моей легенды, которую я должен был хорошо запомнить.

Фрау Тишлер и слышать не хотела о моем отъезде, но война продолжалась, и я не принадлежал себе.

Я только обнял ее на прощание — вот и все.

С небольшим чемоданом в одной руке и с тростью в другой, я подошел к железнодорожному вокзалу. Он чудом уцелел и выглядел довольно странно среди сплошных руин. Неразрушенное здание вокзала с кустами цветущей сирени казалось неестественным сооружением среди громоздившихся обломков. Это было утро, апрель 1943 года.

Прежде чем пройти на перрон, я внимательно осмотрел пространство позади себя, отраженное как в зеркале на внутренней стороне стекол моих темных очков. Эта маленькая хитрость давала возможность, не поворачивая головы, видеть все, что происходило вокруг. Слабый аромат сирени тонул в отвратительном запахе смеси светильного газа и разлагающихся под руинами трупов.

Экспресс подошел к платформе точно по расписанию. Немцы по-прежнему были пунктуальными при любых условиях и в любых обстоятельствах. Когда до отправления оставалась минута, я еще раз внимательно осмотрелся и быстро, насколько позволяло ранение ноги, вошел в вагон. В купе уже находились двое пассажиров — пожилые супруги. Прошло несколько минут. Они показались бесконечно длинными, а поезд почему-то не отправляли. Задержка заставила насторожиться. От мысли, что дверь купе вот-вот откроется, и явятся гестаповцы, мне стало не по себе. И дверь действительно открылась... В купе вошла миловидная девушка и села на свободное место напротив меня. Наконец поезд тронулся. Я вздохнул с облегчением.

Набирая скорость, экспресс миновал разрушенные городские кварталы, но еще долго не мог выбраться из предместий. Вот унылый серый пейзаж за окном сменился зеленеющими полями, залитыми утренним солнцем. Супруги тихо переговаривались, не проявляя интереса к попутчикам, девушка нет-нет да поглядывала на меня. Наверное, ей было скучно, и она была не прочь скоротать время в беседе. Мне же сейчас больше всего хотелось побыть наедине со своими мыслями, я прикрыл глаза... и вскоре задремал...

Год почти непрерывных боев на фронте выработал во мне привычку спать крепко — не реагировать на канонаду, громкий разговор или шум; но я мгновенно просыпался от звука крадущихся шагов или шепота. Не раз это спасало жизнь.

Забегая вперед, расскажу, как однажды — это было

уже в 1944 году — я оказался в польском городе Кракове. Сюда, в Краковское воеводство, в местечко Близна, гитлеровцы перебазировали испытательный полигон нового секретного оружия — реактивных снарядов «фау-2», после того как был уничтожен с воздуха полигон в Пенемюнде. По имеющимся данным, эти снаряды они собирались применить и против нас.

Я имел задание связаться с краковским подпольем и с его помощью собрать сведения об этом сверхсекретном объекте.

Поезд в Краков прибыл утром, а на конспиративную квартиру следовало прийти только вечером. Я решил осмотреть город. Случайно разговорился с местной жительницей. Она немного знала немецкий язык, а я столько же польский. Женщина согласилась показать достопримечательности Кракова. День прошел незаметно. Расставаясь, женщина объяснила, как добраться в нужный мне окраинный район города, но предупредила, что появление там, особенно вечером, небезопасно. Мне долго пришлось пробираться по узким пустынным улицам, отыскивая нужный адрес. Обращаться с расспросами к редким прохожим не хотелось, да и они, завидя меня, куда-то исчезали. Только к полуночи нашел нужный мне дом. Довольно долго на стук никто не реагировал, а когда мужской голос отозвался и я назвал пароль по-немецки, дверь долго не открывали, и слышно было, как внутри шепчутся. Впустил меня мужчина и тут же закрыл за мной дверь. Я повторил пароль по-польски: «У вас сдается комната для приезжего?». Но ответного пароля: «Сдается, но только на одну ночь», не последовало... Либо не точен был адрес, либо я оказался в ловушке. Мужчина внимательно меня разглядывал, а затем потребовал паспорт. Его он сунул в карман, а меня молча провел в крохотную комнату с кроватью и исчез, ни слова не говоря. Расстроенный вконец, я прилег на кровать, ломая голову, как выйти из этого затруднительного положения. Ничего не придумал и почти под утро заснул.

Проснулся от приглушенного шепота за дверью. Было еще темно. Разговаривали двое мужчин. Один говорил по-польски, другой на смеси польского с украинским. Мне сразу все стало ясно: они явились, чтобы прикончить меня и шушукались, как сделать это бесшумно и желательно без крови... «Конспираторы» не могли раньше договориться!.. Дверь начала медленно откры-

ваться, и как только в проеме возникло два силуэта, я сказал чисто по-русски:

— Доброе утро, панове! По-моему, вы хотели мне что-то сообщить?..

Этого они никак не ожидали. По разговору вечером и по документу они были уверены, что я немец. К тому же приняли меня за гестаповского провокатора, назвавшего старый, недействующий пароль: Вену, как потом выяснилось, не успели предупредить о смене пароля. Теперь я знал, что не ошибся адресом и мог раскрыть цель своего приезда.

Но это все случилось позже, а сейчас, в поезде, по пути в Вену, я проснулся от легкого прикосновения пальцев, осторожно поглаживающих мои волосы. Не сразу сообразил, что сижу, едва не уткнувшись в колени девушки. В купе мы были одни. Супруги, очевидно, вышли раньше. Я поднял голову и извинился за непреднамеренную вольность.

— *Mir scheint sie haben eine stürmische Nacht verbracht, und ich wollte sie nicht stören*¹, — сказала девушка и сложила ладошки, шутливо изображая монашеское смирение.

Это развеселило нас обоих, и всю оставшуюся дорогу мы проболтали. Я узнал, что Гертруда ехала домой в Санкт-Пельтен, небольшой австрийский город западнее Вены.

Поезд шел вдоль берега Рейна, затем повернул на юго-восток — в Баварию. Он нырял в тоннели, преодолевал ущелья на головокружительной высоте по ажурным, не похожим один на другой, почти сказочным виадукам.

Говорят, путешествие по железной дороге отвлекает и успокаивает. Это действительно так. Несколько часов пути позволили освободиться от постоянного ощущения скрытой опасности. Это ощущение не покидало меня с того дня, когда я оказался в тылу врага. На фронте противник перед тобой. Здесь, на чужой земле, кто враг, кто друг, сразу не распознаешь, и неизвестно, откуда и от кого ждать удара. Снились преследования, перестрелки. Иногда во сне я наносил кому-то удары и просыпался от боли в ушибленных пальцах. Еще долго после войны повторялись эти сны.

¹ Мне подумалось, вы провели бурную ночь, и я не хотела вас беспокоить. (нем.).

С Гертрудой мы расстались ночью, когда поезд сделал последнюю остановку перед Веной, в Санкт-Пельтене. Девушка оставила свой адрес и пригласила заехать, как только предоставится возможность. В дальнейшем мне пришлось воспользоваться ее любезным приглашением, и она оказала немалую помощь австрийскому движению Сопротивления.

Теперь в купе я был один. Мысли вновь и вновь возвращались к войне.

Еще за год до ее начала между двумя моими товарищами-однополчанами и мной произошел разговор, запомнившийся на всю жизнь. Несмотря на то, что заключенный с Германией договор, мы, все трое, сошлись на том, что в ближайшем будущем нам с Гитлером воевать все равно придется. При этом каждый пытался предопределить свою судьбу в предстоящей войне.

Миша Дадонов сказал, что, вероятно, погибнет; Анатолий Харчев — что вернется невредимым, а я — что буду ранен, но вернусь живым. Невероятно, но эти предсказания в точности сбылись! Спустя год началась война. Миша, предсказавший себе гибель, умер в результате тяжелого ранения еще в начале войны. Я был трижды ранен, контужен, но остался жив. А тот, кто предсказал себе возвращение невредимым, Анатолий Харчев, участвовал во многих боях и вернулся без единой царапины...

Да, мы знали, что война будет, и готовились к ней. Так почему же она застала нас такими неподготовленными и мы несли невиданные доселе, огромные потери?

Вспомнились предвоенные годы. Бравые лозунги, песни: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...»

Сразу после заключения с нами договора Гитлер разгромил Польшу. За 42 дня поглотил Францию, с ее 110 боеспособными дивизиями, неприступной линией Мажино и танками, которые были лучше немецких. Так же быстро он расправился и с другими европейскими странами. На очереди была Англия — основная цель его притязаний, как он сам неоднократно заявлял. А на самом деле, даже не Британские острова, а богатейшие английские колонии.

Захват Великобритании — главной виновницы несправедливого, как считал Гитлер, передела мира, давал Германии возможность почти даром получить огромные колониальные земли в Африке и Азии, принадлежащие Англии. Думаю, что такая перспектива была куда заманчивей и доступней, чем покорение заснеженных российских просторов, с непонятным и плохо управляемым народом. Не случайно Гитлер вложил значительную часть государственного бюджета не в производство вздоходов и танков повышенной проходимости в расчете на наше бездорожье, а в создание самого мощного в мире подводного флота, способного заблокировать британский флот и установить господство на всем водном пространстве. И это, как известно, в определенной степени ему удалось.

В те дни в нашей печати сообщалось, что Гитлер сосредоточил главные свои вооруженные силы на побережье пролива Ла-Манш. Он собрал для этого многочисленный десантный флот, вплоть до частных катеров и моторных лодок. Газеты приводили высказывания разных авторитетных генералов, считавших, что Англия, из-за малочисленности сухопутных войск у себя на островах, не в состоянии будет противостоять вторжению. Ее основная сила — флот, был частично заблокирован, стеснен и связан немецкими подводными лодками. В воздухе полное господство «люфтваффе». Лондон и другие города непрерывно бомбили. Захват Англии, по их мнению, был вопросом нескольких дней, недель или месяцев.

Я все время спрашивал себя, что заставило Гитлера отказаться от вторжения, когда столько было сделано для его успешного осуществления? Что заставило его так резко повернуть на Восток?.. (Бомбили Англию, а войной пошли на нас... Ну и ну!)

Вспомнилось, как уже в конце 1940 года, когда все германские армии были перебазированы на Запад для вторжения в Англию, к границе, в район Львова, начали прибывать наши бронетанковые и мотострелковые части. Именно тогда, а точнее 18 декабря 1940 года директивой № 21, Гитлер задействовал план «Барбаросса», разработанный ранее на случай военных действий против СССР. Видимо, это было сделано для того, чтобы у Сталина не возникло искушения нанести Гитлеру удар в спину со стороны оголенной границы.

Нас, вместе с кавалерийскими частями, переместили в Бессарабию, на границу с Румынией.

Незадолго до Первомайского праздника 1941 года наша и соседние части были приведены в полную боевую готовность. Нам подвезли боевые снаряды и указали азимут, расстояние до целей, расположенных на **чужой** территории. Спали тут же, в окопах, возле орудий, готовые в любой момент открыть огонь. Даже на Первое мая было приказано не отходить от орудий. В такой же боевой готовности находились и соседние части. Недалеко проложили железнодорожную ветку. По ней непрерывно прибывали все новые и новые воинские части и снаряжение.

Однажды, майским утром, на позицию принесли свежие газеты с заявлением ТАСС. В нем говорилось, что слухи о концентрации советских войск на германо-советской границе являются злым вымыслом, рассчитанным на то, чтобы посорить Советский Союз с его другом Германией.

Естественно, такое заявление вызвало у нас в дивизионе недоумение. Во время политинформации на вопрос: «Как связать все это с действительностью?» политрук, как сейчас помню, дословно, ответил: «Все эти заявления и пакты пишутся для цивилизованных, но мы-то должны понимать, что нас сюда послали не к теще на блины. Мы знаем, кто наш враг, и с честью выполним любую, поставленную перед нами партией задачу».

Однако вскоре боевую готовность почему-то отменили. Последовал приказ, по которому вся техника приводилась в небоеспособное состояние. Командный состав — в отпуск, остальным — в летние лагеря на учения. Мы окончательно перестали что-либо понимать в этой странной и страшной военно-политической игре.

Наш летний лагерь находился на побережье Аккерманского залива. По соседству оказались танкисты и летчики. Самолеты и танки стояли разобранными, как и наши пушечные тягачи «Коммунары».

Основой боевой подготовки сделались строевые занятия. Слова нового наркома обороны маршала Тимошенко: «Каждый солдат должен владеть строевым шагом так же, как он владеет ложкой», стали основным лозунгом армейской подготовки. С утра до вечера, до отупения, войска отрабатывали строевой парадный шаг. Даже в гарнизонную баню шли строевым шагом, окутанные облаком пыли. Из бани — так же. Тех, кто протестовал против бессмысленной, до одури шагистики, отправляли в штрафные рабочие батальоны. Их создали по приказу наркома. Там вообще не разрешалось

ходить простым шагом — только строевым или бегом... Вот так мы шли навстречу войне.

Всё это мои наблюдения, мой собственный опыт, мои умозаключения. И что я могу с ними поделать?.. Со мной можно не соглашаться, можно спорить, можно предъявлять новые и новые аргументы и документы, но нельзя кричать: «Заткнись!.. К ответу!.. К барьеру!..» (еще куда ни шло), а то — «К суду!! За решетку!!» — вот и весь спор, вот и весь поиск правды и стремление к Истине.

На суд истории и историка должны быть представлены все за и против — иначе это не история, иначе это ее отсутствие и ложь, ложь, повсеместная ложь. Все это мы уже проходили и много раз. Все это мы уже хлебали и хлебали по сей день.

Что я могу делать с опытом всей своей жизни?.. Пренебречь им?.. Для этого нужен полный маразм или паралич памяти. А в вопросах изучения истории Отечества эти качества не самые лучшие и не самые нужные.

А потом — первый день войны. Нас подняли по тревоге, когда еще только начинался рассвет воскресного дня 22 июня. Мы бросились к пушкам, но... Снарядов не было. Тягачи — разобраны. Командиры — в отпуске. Позже, встречаясь в госпитале с участниками первых боев, я узнал, что в таком же положении оказались и другие части. И это тогда, когда командованию был точно известен день и час нападения... Почему? Почему так? Чем больше я думал об этом, тем меньше что-либо понимал... Тогда.

Воспоминания прервал голос проводника. Он сообщал о прибытии экспресса в столицу Австрии — Вену.

9. ВЕНСКИЙ ЭКЗАМЕН

Уже светало. Я зашел в привокзальный буфет, чтобы за чашкой кофе дожидаться начала дня. Приглушенно звучал вальс Штрауса «Голубой Дунай», наверное, чтобы никто не сомневался, что это Вена. Мне, разумеется, захотелось немедленно увидеть этот Дунай со всей его голубизной. Я вышел на улицу и направился пешком наугад в сторону реки. Улицы были еще пусты. Озаренная первыми отблесками солнечных лучей весенняя Вена была действительно прекрасна. Город явно еще не ощутил настоящей войны. Я шел по бульвару с ров-

ными рядами деревьев и аккуратно подстриженным кустарником. По обеим сторонам — неразрушенные дома. Причудливые формы «барокко» чередовались со строгой «готикой». Пройдя несколько кварталов, я вышел к Дунаю. Улица вела к мосту. Дошел до его середины и перегнулся через перила, чтобы с высоты посмотреть на воду, но в тот же миг ощутил на плече тяжелую руку: «Криминальная полиция, ваши документы!»

Первой реакцией было броситься вниз, в реку. Прыжок с моста, может быть, и давал какой-то шанс на спасение, но исключал возможность остаться в Вене. Мысли с лихорадочной быстротой проносились в голове, когда внимание сконцентрировалось на слове «криминальная»... Мной скорее могло интересоваться гестапо. Уже протягивая документы, догадался: полицейский, по-видимому, принял меня в этот ранний час за самоубийцу. Полицейский просмотрел документы, извинился. Расспросил о бомбежках Эссена и о ранении. Пожелал доброго здоровья и даже объяснил, как добраться до Управления учебными заведениями.

Первая венская встреча хотя и доставила несколько неприятных секунд, в то же время стала проверкой годности и надежности не только документов, но и моей нервной системы.

В Управлении высшими учебными заведениями, куда я обратился, начальником отдела оказалась элегантная женщина лет тридцати. Она бегло просмотрела документы, мило улыбнулась, но пристальный взгляд серых, пронизательных глаз оставался холодным. Мне даже показалось, что под модным жакетом скрываются нашивки штандартенфюрера. Позже выяснилось, что ее отдел, ведавший иногородними и иностранными студентами, был связан со службой безопасности. А сама фрау-доктор, помимо ученой степени, действительно имела эсэсовское звание. Она устроила мне подлинный допрос, выясняя степень чистоты моего арийского происхождения, а также политической благонадежности.

Первый экзамен я выдержал благодаря тщательно подготовленной и выученной легенде. Однако сам факт моего появления в Вене и кое-какие другие детали, связанные с эссенскими событиями, все же вызвали подозрения у пронизательной фрау-доктор. За мной установили негласный надзор.

Эссенские подпольщики, по договоренности с австрийскими коллегами, не дали адресов или явок. Гюнтер предупредил, чтобы я ничего не предпринимал, и

что контакт со мной венские товарищи установят сами, как только сочтут это возможным. Такая предосторожность показалась мне тогда излишней, но время подтвердило правоту и предусмотрительность подпольщиков.

Я получил направление в студенческое общежитие и отправился по указанному адресу в девятый район города, на Порцеллангассе. В комнате, куда меня поместили, жили еще двое студентов.

Отправляясь в Вену, я отказался от денег, собранных эссенскими товарищами. Взял только небольшую сумму на дорогу и первые два-три дня жизни. Теперь нужен был постоянный заработок для оплаты общежития, курсов подготовки в институт, на питание и зимнюю одежду. Уже на следующий день я пошел устраиваться на работу по объявлению в газете. Выбор остановил на керамической мастерской, неподалеку от общежития, куда требовалась, как говорилось в объявлении, неквалифицированная рабочая сила. Мастерская принадлежала молодым супругам, выпускникам художественного училища. В мастерской они изготавливали керамическую посуду и недорогие украшения.

Разработку эскизов, изготовление опытных образцов и роспись изделий выполняли сами хозяева. Мне поручили заполнять глиняной массой гипсовые формы для керамических пепельниц. Работа была несложной, но утомляла однообразием. Стоять девять часов у верстака, вминая большими пальцами рук глину в полость форм, — не слишком приятное занятие. В первую получку я расплатился за общежитие и посещение платных общеобразовательных курсов: для поступления в высшее учебное заведение требовался аттестат зрелости. Оставшихся денег едва хватало на самое скромное существование. К счастью, в общежитии можно было готовить себе пищу на небольшой кухне. Здесь я познакомился со студентом-чехом по фамилии Видлички. Он старался обратить меня в свою вегетарианскую веру и научил готовить овощные блюда. Видлички был противником не только мяса, но также табака и вина. Вегетарианский рацион в финансовом плане оказался для меня вполне подходящим, и мы по очереди готовили пищу.

Однажды я принес из мастерской в общежитие шмот глины, покорпел несколько часов и вылепил настенную маску Мефистофеля. Подобную маску, под впечатлением оперы «Фауст», я уже однажды пробовал лепить, когда занимался в изостудии районного Дома культуры.

Я показал маску шефу. Он похвалил меня и тут же перевел в разряд лепщиков. Вскоре, когда маски получили хороший сбыт, хозяева заключили со мной контракт. Теперь я мог работать дома. Денег хватило на то, чтобы снять небольшую комнату с отдельным входом в одноэтажном особняке на Вальрисштрассе в восемнадцатом районе Вены. В конце лета я закончил подготовительные курсы, сдал экзамены и был зачислен студентом-заочником на первый курс архитектурного факультета Высшей технической школы.

До начала занятий оставалось несколько дней, и я старался использовать это время для того, чтобы лучше узнать Вену и ее окрестности. Кроме того, я ездил на все экскурсии, организованные деканатом.

Одна из них — поездка на теплоходе по Дунаю — имела для меня немаловажные последствия...

Утром небольшой теплоход отошел от причала и медленно поплыл вниз по течению. День оказался пасмурным, и экскурсантов набралось немного. Я вышел на палубу. Здесь никого не было, и только на корме я заметил девушку. Она стояла спиной ко мне, мягко опиралась на поручень и рассматривала след на воде, расходящийся за кормой. Если учесть мой возраст, романтические наклонности, чрезвычайно малый любовный опыт и обстановку, то станет ясно, о чем я подумал: «Она одинока, наверняка несчастна и нуждается в друге!» — ах как трогательно!.. Я подошел поближе, тоже стал смотреть на воду, а сам украдкой наблюдал за девушкой. Наконец наши взгляды встретились, и я тут же убедился: «Ну конечно! Она чем-то глубоко опечалена!..». Девушка не проявляла никаких признаков расположенности к знакомству. Ее скромность сокрушила меня и послужила поводом к началу разговора.

Дело в том, что с некоторых пор я стал замечать «опеку». Несколько знакомых студентов усердно старались войти ко мне в доверие и вызвать на откровенность за стаканом вина. Я делал вид, что охотно пью с ними, но оставался трезвым, применяя наипростейшие способы... Порой, разыгрывая легкое опьянение, я сам подливал им вино, настаивал, чтобы они непременно выпили до дна, пользуясь известным и, кстати, международным принципом: «Ты меня уважаешь?». Кончалось обычно тем, что они изливали мне душу, выкладывали то, что должны были держать за зубами. После таких товарищеских встреч незадачливые кандидаты в

друзья больше не появлялись или старались держаться подальше.

Я понимал, что эта опека стала препятствием для установления контакта со мной венскими антифашистами, и испытывал неуютную неопределенность.

Позже выяснилось, что венская служба безопасности действительно послала запрос в Эссен. К счастью, наш расчет оправдался. Эссен так и не оправился после январской бомбежки. На запрос из Вены не смогли сообщить ничего вразумительного и порекомендовали обратиться в Берлин, который к тому времени сам стал объектом непрерывных массированных бомбардировок. Из Берлина запрос переадресовали снова в Эссен. На том счастливый для меня треугольник пока замкнулся. Пока.

...Путешествия на воде обычно располагают к лирическому общению, — по крайней мере, тогда мне так казалось. Постепенно между девушкой и мной завязался разговор. Мы беседовали на отвлеченные темы, преимущественно об искусстве. Она была неплохо образована, общаться с ней было интересно. Мое расположение к ней еще более возросло, когда после речной прогулки она не позволила проводить себя и не дала своего телефона. Это, впрочем, меня и несколько огорчило. В многолюдной и шумной Вене я чувствовал себя чужим и одиноким. Место работы девушка также отказалась назвать, и я не надеялся встретить ее вновь. Каковы же были мои удивление и радость, когда однажды я встретил ее в кафе. Мне показалось, и она рада этой случайной встрече. У нее оказался свободный день, и мы отправились бродить по аллеям Венского леса... Мы говорили о чем-то, впрочем, все больше ни о чем. Между нами установилось подобие какой-то внутренней близости. Хотя в сущности я пока ничего не знал о ней. Кроме разве того, что ее зовут Мария. Причем я и не хотел ни о чем расспрашивать, чтобы не получить встречных вопросов. С этого дня мы стали встречаться довольно часто. Жизнь становилась не столько безрадостной.

Но вскоре моему лирическому настрою пришел конец. Как-то вечером на улице я увидел Марию. Она шла впереди метрах в пятидесяти. Ускорив шаг, я почти догнал ее, но меня опередил мужчина в форме офицера службы безопасности. Совершенно неожиданно он вышел с боковой улицы. Они поздоровались и пошли рядом, оживленно беседуя. Я продолжал идти сзади и по

обрывкам фраз догадался, что стал свидетелем случайной встречи сослуживцев... Хотя разговор ничего особенного, тем более секретного, не содержал, он мог вестись только между сотрудниками одной организации. Я замедлил шаг и отстал — ругал себя, как последнего дурака, за непростительную оплошность и заставлял себя вспоминать все подробности. Чем больше я анализировал содержание наших встреч, тем меньше оставалось сомнений, что наше знакомство на теплоходе не было случайным. С другой стороны, я успокаивал себя тем, что ни слова не сказал лишнего. Все взвесив, я решил пока ничего не говорить Марии. Мы еще какое-то время продолжали встречаться. Но теперь от моего внимания не ускользало ни одно ее движение, ни одно слово. Присматривался и проверял. Увы, я имел дело с квалифицированным агентом.

Все эти дни я находился во власти недобрых предчувствий и тревожных ожиданий. И вот, пришел домой, увидел повестку. Меня вызывали в здание парламента. Указывался номер комнаты. Парламентом называлось великолепное по своей архитектуре беломраморное здание на Шоттенринге или, как еще называли эту самую широкую улицу Вены, — Рингштрассе. Прежде в этом здании находилось правительство республики. Теперь здесь размещались какие-то нацистские службы, и от парламента осталось лишь прежнее название. Я терялся в догадках о конкретной причине вызова.

На следующий день, в указанное время, я поднялся по мраморным ступеням наружной парадной лестницы мимо огромных скульптур античных богов, лошадей и золоченых колесниц. Предъявил повестку охране и вошел в здание. Мелькнуло: удастся ли так же беспрепятственно выйти обратно? В конце длинного коридора постучался в массивную дверь. Ответа не последовало. Надавил на ручку — дверь легко и бесшумно отворилась. Я оказался в просторной полутемной прихожей с тяжелыми портьерами. Стал искать дверь, запутался в складках ткани и уже хотел вернуться обратно, но чей-то голос назвал меня по фамилии и пригласил войти в дверь за портьерой. Похоже, за мной и здесь скрыто наблюдали.

Кабинет, куда я вошел, был огромен, и человек за массивным письменным столом казался маленьким и щедедушным. Кроме него в кабинете никого не было.

Дневной свет почти не проникал сквозь зашторенные окна, но на столе ярко светила настольная лампа. Когда я сел в указанное мне кресло, свет лампы, отраженный рефлектором, ударил в лицо. И обстановка и человек, его непринужденные манеры, холодная улыбка и вкрадчивый голос, говорили о том, что на этот раз передо мной находился серьезный противник. И хотя внешне это не было похоже на допрос, а скорее на беседу, я понял, что имею дело с контрразведкой. Впрочем, такая встреча не была для меня неожиданностью, особенно когда я заметил за собой слежку.

Внешне хозяин кабинета скорее напоминал чиновника, чем военного. Он был в несколько старомодном черном костюме. В свете настольной лампы совершенно лысый череп тускло отсвечивал желтизной. Задавая вопрос, он слегка привставал с кресла, опирался о крышку стола длинными костлявыми руками с разведенными в стороны локтями и напоминал паука, готового двинуться на свою жертву.

— Для начала, господин Вальдемар, расскажите подробно о себе.

Я стал рассказывать автобиографию по заученной легенде, слегка растягивая слова, делал паузы между фразами и морщил лоб. При этом, как бы по привычке, иногда касался пальцами шрама на голове. Этот жест, как я и рассчитывал, не остался незамеченным. Чиновник осведомился о ранении и поинтересовался, не отразилось ли оно на памяти? Я ответил, что некоторые, особенно фронтовые моменты, совершенно выпали из памяти и что раньше таких провалов не было. Чиновник часто прерывал меня, уточнял детали. Иногда он просил повторить уже рассказанные места автобиографии, требовал новых уточнений. Сами по себе повторения меня не затрудняли, но уточнения таили в себе серьезную опасность. Во-первых, они не были увязаны с действительностью, во-вторых, возвращаясь к ранее рассказанному, я мог запутаться в придуманных уже во время рассказа данных. Сам допрашивающий, судя по всему, обладал отличной памятью. Сначала его корректный, спокойный тон и то, что он был австрийцем, о чем свидетельствовал его венский диалект, несколько приободрили меня, но вскоре я понял, что этому человеку незачем было повышать голос и прибегать к угрозам. Его сила была в уме и опыте. Чиновник был уверен в своей победе, как профессионал над любителем. Чтобы не попасть в западню, я старался все, что не входило в ле-

генду, отнести к провалам в памяти. Но объем придуманного становился все больше и больше. Все это уже трудно было удержать в голове. У меня действительно стучало в висках и было ощущение, что голова переполнилась всеми этими подробностями и уточнениями. Я должен был одновременно мыслить в двух направлениях. Придумывать ответы на вопросы чиновника и в то же время предугадывать очередной выпад, чтобы не дать застигнуть себя врасплох. Сперва эта раздвоенность мешала мне сосредоточиться, но вскоре, как бы сами собой, без моего участия, разделились и начали работать самостоятельно правое и левое полушария мозга!.. В то время как одно вело смысловую работу, другое — анализировало ситуацию и помогало избегать расставленных ловушек. Позже, как я ни старался, так и не смог восстановить в себе способность, спасительно возникшую в минуту крайней опасности. Именно это второе мышление подсказало мне, что у контрразведки нет конкретных улик и весь расчет строился на том, что если я не тот, за кого себя выдаю, то при умелом допросе допущу оплошность.

Такое открытие меня несколько ободрило, и я даже позволил себе чуть-чуть поиграть со своим собеседником. Увел разговор в сторону, в область архитектуры и искусства. Этим дал себе некоторую передышку, но, видимо, переборщил. Чиновник прервал меня и заявил, что хотя рассказанная мною автобиография выглядит правдоподобно, но в произношении некоторых слов и построении фраз проглядывает иностранный акцент...

— Чем вы, господин Витвер, объясните это? Может быть, немецкий не является вашим родным языком? А свободное владение им — заслуга умелых наставников в Лондоне или Москве? — спросил чиновник.

Я не ответил на вопрос и высказал недоумение — почему меня все время перебивают и не дают рассказать все по порядку.

Возможность такого вопроса была предусмотрена, и тут мне не пришлось импровизировать. Согласно легенде, мой отец еще до войны уехал вместе с семьей работать по контракту в Польшу, в город Львов (в этом городе до войны я проходил службу в Красной Армии). Моя мать, по той же версии, вскоре умерла, и мое воспитание было поручено гувернантке русского происхождения. Отец часто отлучался в командировки, и я значительную часть времени проводил вместе с ее сыновьями. А после вторичной женитьбы отца остался в семье

тувернантки и посещал русскую частную школу. В течение нескольких лет дома и в школе я говорил только по-русски и даже начал забывать свой «родной» немецкий язык. Только с началом войны, после присоединения Польши к Рейху почувствовал зов Родины, вернулся домой и был призван в вермахт. После демобилизации по ранению вернулся в Эссен, откуда и прибыл сюда, в Вену, для поступления в Высшую техническую школу по ходатайству гауляйтера Рура.

Я понимал, что даже не очень тщательная проверка вскроет много погрешностей в моей «биографии», но сейчас важно было не дать себя запутать, чтобы избежать немедленного ареста и передачи в гестапо.

Чиновник дослушал биографию до конца и сделал вид, что удовлетворен рассказом. Он сделал паузу, и я подумал, что допрос окончен. Тут возникло новое требование: рассказать о службе в вермахте. Это было самым уязвимым местом легенды. Чтобы не обнаружить незнание, я старался избегать деталей, поддающихся быстрой проверке, ссылаясь на провалы в памяти, и, к своему огорчению, обнаружил, что из памяти действительно выпали даже некоторые заученные детали. Вероятно, мое действительное ранение головы не прошло бесследно, а возможно, сказалась чрезмерная нагрузка на память в последнее время. Нужно было запомнить массу данных и сдавать экзамены по немецкой истории, литературе, математике, расовой теории и другим предметам, о чем я не преминул сообщить следственному чиновнику, как и о том, что продолжал работать в керамической мастерской, чтобы заработать на жизнь. Для сна оставалось не более трех часов в сутки, а иногда и того меньше... Жаловался ему я довольно искренно.

Сейчас под ярким светом лампы и сверлящим взглядом нужно было называть фамилии командиров части, роты, отделения, соседей по госпиталю, свидетелей ранения и массу других подробностей. При этом допрашивающий задавал все новые вопросы, не давая передышки.

— У вас ведь были друзья, с которыми вы хотели бы встретиться? — спросил чиновник, и в его голосе снова слышалась ирония. Показалось, что кто-то, доставленный для очной ставки, уже находится здесь, в кабинете, и ждет сигнала, чтобы выйти из-за портьеры. Я подумал, что сейчас передо мной может предстать кто-либо из товарищей по побегу из эшелона или из лагеря в

Эссене. Встреча с ними в этой обстановке могла означать фактически только одно: конец.

В этот момент за спиной действительно послышались приглушенные ковром шаги. Кто-то приблизился и встал сзади. Мне даже померещилось, что это гауптман из сумской фельджандармерии явился, чтобы учинить обещанную тогда расправу, и теперь стоит у меня за спиной и целится в затылок. Я ощутил холодок в том месте головы, куда было направлено дуло его пистолета. Вспомнил, что подобное ощущение уже испытал, когда по дороге в Сумы меня схватили каратели и повели на расстрел. Сейчас мне неудержимо хотелось обернуться, чтобы увидеть того, кто стоял сзади, но я сделал вид, что вошедший меня вообще не интересует. Наконец тот вышел вперед и встал сбоку. К счастью, он не был мне знаком, и это открыло второе дыхание. В отличие от чиновника, в нем чувствовался кадровый военный, резкий и бесцеремонный. Скорее всего, он был из гестапо. Поэтому, как он сразу же подключился к допросу, стало ясно, что он слышал все с самого начала. Теперь под перекрестным допросом я едва успевал поворачивать голову то к одному, то к другому. Кончалось «второе дыхание», силы мои были на исходе. Оба допрашивающие понимали это и вошли в азарт. Хотя чиновник тоже, видимо, утомился и уже дважды вытирал платком свой взмокший череп.

От мысли, что отсюда я буду отправлен на Морцин-платц, в гестапо, тело пронизывал леденящий холод. Я чувствовал, что меня сейчас начнет трясти как в лихорадке, мышцы лица вдруг ослабли, и челюсть вот-вот начнет выбивать судорожную дробь. Я пытался придержать подбородок рукой, сделал вид, будто от скучной и неинтересной беседы меня одолела зевота. Слегка похлопывая себя ладонью по губам, как это делают некоторые люди, я извинился за непреднамеренную неучтивость. Эффект этого простого жеста превзошел все мои ожидания. Оба чиновника как-то сразу утратили ко мне интерес. Лица их сникли, погас азартный блеск в глазах. После паузы мне сказали, что вопросов больше не будет и я могу идти.

Беспрепятственно пройдя мимо часовых, я вышел на улицу. Солнце, отраженное белым мрамором лестниц, ослепило. Я перешел проезжую часть и оказался на бульваре. Первой мыслью было уйти как можно дальше от этого здания. В глубине, справа от него, сквозь деревья просматривались островерхие башни Вотивкирхе. Еще

дальше, на Кертнерштрассе, оживленной торговой улице, возвышалась величественная ажурная башня собора святого Стефана — Штефансдом. Мне следовало кого-то поблагодарить, но я не знал, кому именно мне следует сказать — спасибо... Сейчас мне хотелось уединения, и я пошел в сторону, противоположную Кертнерштрассе, подальше от ее многолюдной толпы, шумных увеселительных заведений и множества магазинов. Несмотря на еще жаркий осенний полдень, меня знобило и все тело продолжала трясти нервная дрожь. Чувствовалась страшная усталость, хотелось присесть. Но я все шел и шел, ничего не замечая вокруг, и только когда отошел на достаточно большое расстояние, остановился и в изнеможении опустился на скамейку. Надо было принимать какое-то решение, но я не мог ни на чем сосредоточиться и бесцельно прошатался остаток дня, позабыв о еде. Порыв прохладного ветра вывел меня из состояния безразличия. Я заметил, что иду по мосту, приближаясь к месту, где в первый день прибытия в Вену меня чуть было не задержала криминальная полиция. Я взглянул вниз. Воды Дуная спокойно текли мимо. Сейчас они казались слегка розоватыми, отражая закатное небо. Быстрое течение создавало впечатление, что движется не вода, а я сам лечу над рекой вместе с мостом. И это уже не Дунай, а Москва-река, с которой соседствовало мое детство.

Теперь, далеко от дома, как это ни банально звучит, я все чаще вспоминал родные места, и горько становилось на душе оттого, что не могу сообщить о себе маме и отцу. Лишь в начале сорок четвертого года мне предоставилась возможность написать им несколько строчек.

Когда после войны я вернулся домой, мама рассказывала, что каждый день ждала весточки от меня. В одно из воскресений она отправилась в церковь помолиться и поставить свечку за сына. В тот раз необъяснимое чувство облегчения и радости овладело ею. Она поспешила домой. В ящике для писем лежал конверт без обратного адреса. В записке было всего несколько малозначащих строк без подписи. Она знала, что записка написана мною.

Воспоминания о доме помогли мне взять себя в руки и окончательно вернуться к действительности. В закоулках сознания теплилась надежда, что у службы безопасности сейчас слишком много более неотложных дел, чтобы отвлекаться на проверку шатких подозрений.

Кроме того — и это следовало бы отметить особо — многие австрийцы явно игнорировали нацизм. Даже государственные чиновники уже не проявляли служебного рвения, а иногда и просто саботировали гитлеровский «новый порядок». Так или иначе, но оттого, какое решение примет контрразведка, — а точнее, что напишет чиновник о допросе, — зависела моя участь. Что же делать? Остаться и ждать? Или, скажем, воспользоваться приглашением Гертруды и не медля уехать из Вены в Санкт-Пельтен? Но мое исчезновение только подтвердит подозрения. Будет объявлен розыск (а искать они умеют), и расправы не избежать.

Значит, все зависело от того, сумею ли я узнать о принятом лысым чиновником решении, прежде чем последует команда к его исполнению. Хорошо. Но ждать помощи пока не от кого. Самому решить эту задачу — невозможно. Проще получить благословение Святой де-вы Марии... «Марии», — машинально повторил я, а в сознании уже мелькнула дерзкая мысль...

Что же, если другого выхода нет, почему бы не обратиться к Марии, тайному агенту службы безопасности? Той самой Марии, которая ловко разыграла сцену случайного знакомства со мной на теплоходе. Она ведь не знала о том, что счастливый случай помог раскрыть глаза на мою дурацкую сентиментальность и излишнее самомнение. «Еще бы! Возомнил, что покори́л милую недотрогу с первого взгляда! Идиот!»

Правда, в последнее время ее наигранная радость при встречах вызывала раздражение. Но наигранная ли? Или я впадаю в другую крайность? Ведь порой нежность ее кажется неподдельной, а чувства вполне искренними. Почему бы и нет? Выполняя задание, офицер безопасности (ну не офицер — агент) влюбилась в советского разведчика: чем не сюжет? Нормально. Как бы то ни было, все это вызывало во мне противоречивые чувства. Но тут, в этой безвыходной, как казалось, ситуации родилась четкая мысль: привлечь ее на свою сторону. Это была опасная затея, почти без шанса на успех. Но другой возможности я не видел.

В художественной литературе или кино наш разведчик в подобной ситуации оперирует известными ему данными, компрометирующими противника, и тот под страхом разоблачения вынужден подчиниться нашему разведчику! Таким образом убивается сразу два зайца: наш разведчик остается хозяином положения и заставляет работать на себя противника. Но так бывает

в кино, а здесь была жесткая реальность и роман — такой, какой есть.

Я не знал никаких компрометирующих данных против Марии и мог рассчитывать лишь на некоторую благосклонность ко мне. Но как воспользоваться этим?

Медлить было нельзя. Я так ничего и не придумал, а хоть что-то решить нужно не позже завтрашнего вечера. Потому что я не верил, что мои противники в парламенте и гестапо могут сидеть и ничего не делать. Чтобы принять решение и что-то сделать — им понадобится не много времени...

С наступлением темноты я отправился на остановку штадтбана¹ и уже через несколько минут был в своем восемнадцатом районе, а дальше прошел пешком на Вальрисштрассе. Все тихо. Ничего подозрительного я не заметил и вошел в дом со стороны сада. Бесшумно открыл ключом дверь и потихоньку вошел в комнату. Запер дверь, освободил задвижку окна, оставил слегка приоткрытой одну створку. Не раздеваясь, прилег на тахту. Спать я не мог и продолжал думать.

Если придется покинуть Вену, то почти не останется шансов установить связь с движением Сопротивления и нашим разведцентром. Оборвалась бы невидимая нить, ведущая к венским подпольщикам. А они, увы, все еще воздерживались от контакта. Правда, я уже несколько раз замечал то изучающий, то, казалось, дружелюбный взгляд механика гаража, с которым мы в последнее время часто встречались в студенческой столовой. Знакомство еще не состоялось, но оно должно было произойти. Не с ним, так с другим, но я точно знал, что это будет скоро.

Я задремал, но часто просыпался, прислушивался к шорохам, готовый в любой момент выскочить в окно. Впрочем, это было бы бесполезно, если бы дом был окружен. Утром я позвонил Марии и договорился о встрече вечером. Чтобы не поддаваться тревожным мыслям, решил не пропускать лекции для заочников. Первой была начертательная геометрия. Этот предмет вел профессор Корн, очень молодой и, пожалуй, самый популярный у студентов. На его лекции всегда приходило немало слушателей. Мне нравился этот предмет и манера преподавания. Корн был отличным графиком. Изображаемые им на доске цветными мелками эпюры и проекции были всегда безукоризненно понятны и четки. К

¹ Скоростной городской трамвай.

нам, студентам, он обращался не иначе как «герр коллега» и никогда не показывал своего превосходства, даже над первокурсниками.

После начертательной геометрии была высшая математика. Ее вел пожилой, болезненного вида профессор. Материал он излагал монотонным голосом, и слушать его было утомительно. Сегодня — особенно. С трудом досидел я до конца, наскоро перекусил в буфете и отправился в мастерскую, где еще иногда подрабатывал.

Эту неделю я раскрашивал кувшины для воды. Орнамент в виде стилизованных цветов наносился специальной эмалью с помощью тонкой кисти, без трафарета. Работа требовала внимания и аккуратности. Но сегодня дело не клеилось. Орнамент получался неровным, линии не имели четкости. Хозяйка мастерской, решила, что я нездоров. Засунула мне в карман порошки, таблетки и отпустила домой. По дороге я внимательно наблюдал, нет ли «хвоста». Дома быстро переоделся, приготовил на всякий случай чемодан с самым необходимым, и отправился на свидание с Марией. Мы встретились у памятника Иоганну Штраусу в сквере на Карлс-платц, рядом с величественным зданием Петерскирхе, напоминающим Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Небо хмурилось. Было прохладно. Мария поеживалась от холода в своем легком, не по погоде, платье и предложила пойти к ней домой. Она жила в небольшом коттедже. Мать и сестра еще не возвратились из Бадена, куда уезжали на лето. Мы были одни. Я помог разжечь камин в гостиной, и мы устроились поближе к огню в удобных шезлонгах. Она придвинула небольшой столик с вином и закусками. Я протянул руку к бутылке, но она сама налила две полные рюмки крепкого брандвейна и со словами «Zum Wohl!»¹ быстро выпила вино и выжидающе посмотрела на меня. Я последовал ее примеру.

Щеки ее покраснелись, длинные ресницы были слегка опущены, губы полуоткрыты в ожидании поцелуя. В этот миг она была просто обворожительна.

— Ты не хочешь поцеловать меня? — спросила, она.

Я подошел ближе. Она закрыла глаза и слегка подалась вперед. Я наклонился к ней и, едва не касаясь ее губ, произнес:

¹ Аналогично нашему: «будем здоровы».

— Лучше скажи, какое задание ты получила относительно меня?

Она вздрогнула.

— Какое задание? О чем ты?..

— Довольно притворяться! Мне известно, кто ты!

Она хотела что-то сказать, но запнулась. Губы ее задрожали, она закрыла лицо руками и разрыдалась... Я терпеливо ждал. Через некоторое время она совладала с собой. Слегка привела себя в порядок.

— Да, я выполняла задание. Но сегодня сама хотела тебе сказать об этом. Мне надоело это притворство. Ты можешь мне верить, можешь не верить... Но я люблю тебя так, как не любила никого и никогда. Если хочешь, можешь в этом убедиться. Прости!

Она снова заплакала... У меня не было особых оснований сомневаться в ее искренности, а потом, не так уж часто мне объяснялись в любви с такой пылкостью. И ведь я не был к ней вовсе безразличен; но до конца я ей все равно теперь уже не верил.

Когда она успокоилась, я рассказал ей о допросе в парламенте (тут я почти ничем не рисковал). Сказал и о том, что мне необходимо узнать, что же, в конце концов, в отношении меня планирует контрразведка.

Мария пообещала, что постарается все узнать и сразу же известит меня, как только ей станет хоть что-либо известно... Худой мир был восстановлен, он был лучше доброй ссоры.

В один из дней тревожного ожидания венские подпольщики наконец решились установить со мной контакт. Их представителем, как я и предполагал, оказался механик гаража Вилли. Он передал мне привет от эссенских товарищей. Это был пароль.

Вилли знал о допросе в контрразведке и догадывался о моем «чемоданном» настроении. Он сказал, что в случае опасности, о чем им станет известно заранее, меня переправят во Францию или Италию. Из этого разговора я понял, что в венской контрразведке у них были свои люди. Может быть, тут крылась одна из причин, благодаря которой допрос не имел для меня тяжелых последствий, и я оставался пока на свободе. Хотя вполне могло быть и по-другому.

Позже я узнал, что венскую контрразведку курировал полковник граф Марогна, ближайший сотрудник

Канариса, шефа абвера и участник заговора 20 июля 1944 года против Гитлера. Как известно, план заговора предусматривал физическое устранение фюрера и свержение нацистского режима. Полковник Марогна являлся начальником обороны Юго-Востока и одновременно был посредником немецкой офицерской оппозиции в Вене. План и условия для свержения власти гитлеровцев в Австрии подготовил офицер штаба семнадцатого военного округа майор Карл Сцоколль. Он возглавил австрийское движение Сопротивления. Марогну и Сцоколля связывала давнишняя дружба.

Мария сдержала обещание и уже вскоре могла пересказать содержание секретной бумаги, направленной в ведомство фрау-доктор. Текст примерно гласил следующее: «Проведенное по Вашей просьбе дознание не дало каких-либо конкретных подтверждений Вашим предположениям, хотя ряд обстоятельств остался не полностью выясненным. Служба... (указывается шифр) выражает глубочайшую признательность за бдительность, но из-за огромной загруженности не видит в настоящее время необходимости в отвлечении сил от более важных государственных дел, связанных с безопасностью Рейха...»

Такой ответ, естественно, меня вполне устраивал, особенно последняя фраза. О содержании документа я рассказал Вилли, с которым мы быстро сошлись. Он оказался отличным, смелым парнем и верным другом. Позже я познакомился с его братом Рудольфом, руководителем одной из подпольных групп движения Сопротивления.

О братьях Рудольфе и Вилли Кралль стоит рассказать подробнее. Старшему, Рудольфу, едва перевалило за двадцать, а Вилли успел достичь совершеннолетия, когда 12 марта 1938 года Гитлер оккупировал Австрию. Началось планомерное внедрение фашистской системы во все поры австрийской жизни. Уже 13 марта вооруженные силы Австрии перестали существовать.

Теперь это был единый и монолитный «дойче вермахт». А 15 марта под личным контролем фюрера началось устранение политических противников нацизма из всех государственных учреждений Австрии. Пресса, кино, радио были включены в систему гигантской нацистской пропаганды. Золотой запас, все национальные

богатства и резервы были конфискованы Берлином. Но самый большой ущерб был нанесен людям, интеллектуальному ядру. Свыше 130 тысяч человек подверглись репрессиям и гонениям. Началось преследование евреев. Не избежала этой участи и семья Кралль. Был репрессирован и погиб в концлагере отец, австрийский еврей. Рудольф и Вилли были причислены к категории «мишлингов» (смешанная кровь), людей второго сорта. По этой причине их не брали в армию, считали неблагонадежными. Рудольф стал членом подпольной коммунистической партии. С ним наши встречи, по понятным причинам, были редкими. Знал я о нем очень мало. Внешне между братьями сходство было, но если в Вилли чувствовался спортсмен, то у Руди это качество почти не просматривалось. Он сутулился и внешним видом напоминал ординарного служащего. На него легла основная забота по поддержанию семьи. Вилли еще только заканчивал образование: решил посвятить себя технике.

Уже в юности он хорошо разбирался в механике, радиотехнике, увлекался автоспортом, фигурным катанием на коньках. Имел несколько призов. Коротко стриженные светлые волосы слегка курчавились. Если б не очки, делающие его похожим на бизнесмена, в нем можно было бы увидеть хорошо натренированного спортсмена-профессионала. Сочетание в Вилли разнообразных талантов неизменно нравилось мне. Но больше всего — невозмутимость, умение владеть собой, пунктуальность, верность данному слову. Он не примыкал ни к одной партии, но симпатизировал социал-демократам. Нацизм считал абсолютно неприемлемым, да и относительно коммунизма во многом не соглашался со старшим братом. Правда, в этих спорах у Руди был убийственный аргумент: вот придет советская армия... Кто станет у власти? кто накормит народ? — мы, коммунисты.

— Все это, возможно, так и будет, — отвечал ему Вилли, — только вот скажи, на чью поддержку вы, коммунисты, больше рассчитываете: на народ Австрии или на советские танки?..

Обычно в таких спорах я предпочитал не участвовать. Для меня было главным, что они оба были серьезными противниками нацизма и так же, как я, ненавидели войну. Они оба любили Австрию, обожали свою Вену, и сознательно шли на риск, проявляли мужество

и стойкость, оставаясь очень скромными, добрыми людьми.

Я постепенно включался в работу группы, и теперь основной своей заботой считал по возможности быстрее связаться с нашим разведцентром. Прошло немало дней, прежде чем от Вилли я узнал, что ко мне будет направлен связной. Но когда — он не сообщил.

Рядом с домом Вилли имелся заброшенный сад, заросший кустарником и высокой травой. Здесь подпольщики прятали свою радиостанцию. Два раза в неделю, с наступлением темноты мы приходили сюда с Вилли для того, чтобы поймать Москву. Я записывал сводку последних известий с фронта и переводил ее на немецкий язык. Радиостанция включала в себя и передатчик. Однако с кем поддерживалась связь, мне знать не полагалось.

Знаю только, что если бы эту станцию запеленговали, — нам бы всем не сносить головы.

По каким каналам руководство Сопротивления осуществляло связь с нашим центром, мне тоже не было известно. Организационная структура нашей группы, а тем более всего движения Сопротивления, была тщательно законспирирована. Долгое время я знал только одного Вилли и через него получал задания. Как и в Эссене, я старался знать о подполье только то, что нужно было для дела. Впрочем, когда я стал участвовать в операциях венских подпольщиков, круг моих контактов расширился.

С Марией я продолжал поддерживать видимость отношений — изредка звонил, но под разными предлогами стал избегать встреч. И все же мне было искренне жаль ее, но на большее у меня не было ни времени, ни особого желания. Позднее я в деликатной форме дал ей это понять. И наша связь прекратилась.

10. ЭЛИЗАБЕТ ФОН КЕСЛЕР И ДРУГИЕ

Зимой 1944 года мне пришлось побывать в Кракове, откуда я привез переданные мне польскими подпольщиками сведения о секретном полигоне для нового оружия гитлеровцев — «фау-1» и «фау-2». Потребовались уточнения полученных сведений. Мне было поручено узнать состав и место изготовления одного из компонентов горючего, поставляемого на полигон в закрытых контейнерах, фирмой австрийского промышленника фон Кес-

лера¹. Ему принадлежал ряд заводов по выпуску парфюмерной продукции, а также по переработке целлюлозы. Часть заводов и сырьевых баз находилась за пределами Австрии. Раздобыть нужные сведения мне посоветовали через его жену, Элизабет фон Кеслер. Польского происхождения, она родилась в России и знала русский язык. С мужем у нее были весьма прохладные отношения. Фактически их связывал лишь совместный капитал, вложенный в дело. Каждый вел самостоятельную жизнь, имел свой круг друзей и знакомых. Элизабет была вдвое моложе мужа, считалась одной из красивейших женщин Вены, отличалась хорошим вкусом и острым умом. В круг ее знакомых входили видные промышленники, влиятельные чиновники и военные. По воскресеньям она посещала русскую православную церковь, а по средам — эмигрантский клуб, попасть в который можно было только по приглашению.

В ближайшее воскресенье я отправился в церковь. Этот единственный в Вене русский православный храм стал местом, где собирались почти все немногочисленные русские, жившие тогда в австрийской столице. В то воскресенье здесь совершался свадебный обряд. Люди заполнили всю небольшую площадь перед церковью. Грузинский князь-эмигрант женил своего сына на русской девушке. На молодом князе была белая черкеска с серебряными газырями; на невесте — белое платье с длинным шлейфом, который поддерживали четыре мальчугана, тоже в черкесках, с маленькими кинжалами на поясах. Жених и невеста были молоды и красивы. Все происходило очень торжественно и чинно. Я оказался словно в старой дореволюционной России.

Протиснулся внутрь церкви. Услышал пение, вдохнул ни с чем не сравнимый сладковатый воздух, насыщенный запахом ладана и горящих свечей.

Как приятно было здесь на чужбине слышать русскую речь. Правда, она несколько отличалась от привычной мне и напоминала скорее слог героев из книг Чехова или Куприна... Но от этого была еще дороже.

На какое-то время я, помнится, даже забыл, зачем пришел в храм.

Госпожу Кеслер в тот раз встретить не удалось. Позже выяснилось, что она была в отъезде. Зато я позна-

¹ Здесь и далее некоторые подлинные имена и фамилии изменены.

комился с сестрами Колесовыми: Лилей — солистской балета Венской оперы, и Танюшей — ученицей музыкальной школы. Я представился как студент архитектуры. Тут же они познакомили меня со своей матерью, и я был приглашен к ним домой на обед.

Семья русских эмигрантов Колесовых занимала небольшой особняк в северо-западной части города. Глава семейства, известный врач-хирург, заведовал отделением в городской клинике. Он производил впечатление человека смелого и принципиального, открыто говорил о жестокости нацистов, не скрывал симпатии к советским людям и мечтал вернуться на Родину. Уже второй раз в тылу врага — сначала в Эссене, теперь в Вене — я говорил с эмигрантом и прямо наслаждался прекрасным, не испорченным, открытым русским языком.

Из России семья Колесовых эмигрировала в Югославию в конце гражданской войны. Перебраться за границу им помог видный полководец Красной Армии. Его ранение могло стать смертельным, если б не хирургическое вмешательство Колесова. Тот его буквально вытащил из могилы. В Белграде Колесов довольно быстро завоевал признание своих коллег и вскоре стал заведующим хирургическим отделением в одной из больниц.

Жена, в свое время известная петербургская пианистка, первое время выступала с концертами, а после рождения второй дочери, Татьяны, полностью посвятила себя воспитанию детей.

Лиля окончила хореографическое училище и стала солисткой Белградского театра оперы и балета.

Из Белграда в Вену им пришлось перебраться, когда в Югославии, во время второй мировой войны, начались жестокие междоусобные стычки.

Хотя Лиля не могла помнить свою русскую Родину, она постоянно мечтала о возвращении в Россию. Признаюсь, я советовал им вернуться, не думая о том, какую медвежью услугу могу оказать им своими советами.

Несколько раз я провожал Лилю домой после спектакля. Иногда мы вместе ужинали. У себя дома Лиля охотно позировала мне в театральных костюмах. На память ей осталось несколько карандашных набросков.

Лиля и Танюшка все больше привязывались ко мне. Скорее всего из-за возможности свободно поболтать порусски. Мне так же было приятно бывать у них. Но даже в этом я постоянно должен был себя ограничивать,

хотя версия моей немецкой биографии (или «легенда») позволяла проявлять знание русского языка и посещать храм, и отдавать предпочтение общению с русскими...

В контактах с семьей Колесовых и с другими людьми, к которым я чувствовал расположение, приходилось воздерживаться от установления нормальных человеческих отношений. Хотя бы уже потому, что не хотел ставить их под удар в случае провала. Я не имел права на привязанность, не говоря уже о более серьезных чувствах, не мог отвечать откровенностью на откровенность. Вынужден был, вопреки желанию, расставаться с хорошо относящимися ко мне людьми, не объясняя причины. А главное, не мог быть самим собой. Это было порой самым тяжелым испытанием.

Я понимал, что мои отношения с Лилей могут уйти слишком далеко, а это было ни к чему: она старше меня на два года; в эмиграции чувствовала себя чужой; тосковала по всему российскому; немецкий язык знала плохо. Может быть, по этой причине избегала связей с большинством местных мужчин. Меня, не смотря на конспирацию, сердцем чувствовала русским и все больше привязывалась ко мне...

Колесовы были вхожи в русский клуб — я, постоянно помня о задании, как-то заговорил о клубе и тут же получил приглашение сопровождать Лилию и ее мать в следующую среду.

Два дня пролетели незаметно. В среду, вечером, я заехал за Колесовыми, и мы отправились в клуб. Размещался он в старинном особняке с просторным залом на втором этаже. Здесь же находилась и небольшая библиотека. В основном книги русских писателей. Я бегло и без видимого интереса осмотрел полки: особый интерес к ним мог показаться подозрительным. В зале уже собралось человек двадцать. Слышался негромкий разговор по-русски, по-немецки, даже по-французски. Несколько мужчин за небольшим столом в глубине зала играли в карты. Кто-то уже сел за рояль и негромко наигрывал какую-то мелодию... Вновь я почувствовал себя в дореволюционной России, какой знал ее по книгам и фильмам. Вдруг все на мгновение притихли, взгляды обратились на вошедшую женщину, стройную, элегантную, с темными медно-каштановыми волосами, собранными в тугий пучок. Под руку с ней шел молодой офицер в венгерской форме.

Я сразу догадался, что это Элизабет Кеслер. Она приветливо поздоровалась с присутствующими. Несколь-

ко мужчин подошли поцеловать ей руку. Вокруг Элизабет сгруппировалась целая компания, завязался общий разговор. Я понял, что у меня мало шансов удостоиться внимания этой женщины. И тем не менее я подошел поближе. Элизабет что-то оживленно рассказывала. Она хорошо владела русским, но в произношении отдельных букв, особенно «л», чувствовался легкий польский акцент. Она говорила о своей недавней поездке в Трансильванию, сказала, что в ближайшее время собирается побывать в Польше, и спросила, не знает ли кто-нибудь о положении там сейчас. Лучшего повода для начала знакомства с ней трудно было представить.

— Недавно я побывал в Кракове и готов поделиться с вами всем, что мне известно, — сказал я, как бы подбирая слова.

Говоря по-русски, я не старался имитировать акцент: по легенде, я несколько лет учился в русской школе. Но нельзя было, чтобы кто-то догадался, что русский — мой родной язык.

— Какое редкое совпадение! Это город моей юности. Он по-прежнему интересует меня больше других. Завтра вы мне подробно обо всем расскажете. Мы можем встретиться в семь вечера, в «Жар-птице».

Я был ошарашен такой удачей — это было невиданное везение, — и я не сразу подумал о том, что мое внимание к Элизабет может не понравиться Колесовым.

К счастью, в это время в зале появилась новая пара: довольно известная певица Ксения Рекова в сопровождении своего болгарского коллеги Коларова. Она только что вернулась из Болгарии. Ее упросили спеть, и она с большим чувством исполнила несколько старинных русских романсов. Потом они пели дуэтом с Коларовым. Им дружно аплодировали.

До конца вечера я находился возле Колесовых, а потом проводил их до самого дома.

Ресторан «Жар-птица» принадлежал богатому сербскому эмигранту и был оборудован в старорусском стиле. Сам зал, мебель, деревянная посуда — все было украшено русским национальным орнаментом. Официанты в косоворотках на выпуск подпоясаны красными кушаками. На небольшой эстраде исполнялись русские песни и пляски.

Этот ресторан пользовался большой популярностью, и попасть в него можно было только по предваритель-

ному заказу. В условиях войны это казалось мне по меньшей мере странным. В тот вечер ресторан был забронирован для какого-то торжества и, соответственно, закрыт для посетителей.

Я дождался Элизабет и предложил отправиться в знакомый мне ресторан «Мароканер». Как я и ожидал, при нашем появлении в зале взгляды мужчин обратились к Элизабет. Едва мы сели за свободный столик, к нам тут же подсел майор в форме штабного офицера вермахта. Он стал бесцеремонно вмешиваться в разговор, расточал высокопарные комплименты красоте Элизабет. Майор был изрядно навеселе. Сначала мы разговаривали по-немецки, но потом она перешла на русский, чтобы избавиться от назойливого собеседника. Майор раскрыл рот от удивления и запнулся на очередном комплименте. Наконец он проговорил:

— Что я слышу? Как может фрау осквернять свои прелестные уста языком наших врагов? Даю голову на отсечение, что такое совершенное произведение... э-э... природы не могло быть создано среди грязных варваров — русских или поляков.

— Что ж, майор, считайте, что у вас головы уже нет, — сказал я как ни в чем не бывало.

Это была невиданная дерзость, и моя петушиная заносчивость могла мне обойтись дорого. Но какую глупость ни совершишь в присутствии такой женщины, только чтобы не упасть в ее глазах!..

Майор встал и шагнул ко мне. Мне пришлось подняться ему навстречу. Он оказался ниже меня ростом, плотноватый и с животиком. Я, пожалуй, мог бы уложить его одним хорошим ударом. Но здесь бы этого мне не простили. Майор не то грозил, не то визжал и брызгал слюной. Я плотно вцепился в спинку стула, приблизился к нему вплотную и очень тихо произнес:

— Исчезни, или я проломлю тебе череп!

Он отскочил и, бормоча угрозы, куда-то действительно исчез.

Оставаться здесь было опасно, и мы направились к выходу. Но едва оделись, как появился майор. Он вел за собой полицейского.

Я сказал Элизабет, что ей лучше уйти, но она отказалась. Майор показал на меня и потребовал ареста.

Я объяснил полицейскому, что произошло. Он посмотрел мои документы, заявил, что вмешательства полиции не требуется, и посоветовал майору не слишком увлекаться спиртным.

Это могло произойти только в стране, где не чтили своих завоевателей даже австрийские блюстители порядка. Мне снова повезло: а если бы майор приволок эсэсовца?.. Во всяком случае, если бы подобный эксцесс произошел, например, в Берлине, — исход был бы для меня куда плачевнее.

Я нещадно ругал себя за неосмотрительность и за то, что не смог проявить должной выдержки. Но что-то было и выиграно. Элизабет взяла меня под руку, и мы отправились к ней домой.

Да, по-видимому, в моем положении не всегда достаточно было проявлять осмотрительность и осторожность. Надо, чтобы еще очень везло. Правда, если везет чрезмерно, — это тоже плохо. Но тут уже опасность совсем иного рода... Не будь этого неразумного и неосмотрительного поступка, навряд ли я бы попал в дом Элизабет фон Кеслер.

Мои приятельские отношения с Элизабет, безусловно, давали возможность получить ответ на интересующие движение Сопротивления вопросы. Но тут я столкнулся с новыми проблемами. Необходимо было войти в доверие к ее мужу. А для этого требовалось, прежде всего, как-то повысить мой сословный ранг (фон Кеслер происходил из старинного дворянского рода). Эту проблему мы обсудили вместе с Вилли и в моей зачетной книжке, не без его помощи, перед фамилией появилась впечатляющая приставка «фон». В дальнейшем эта приставка появилась и в других моих документах, уже в целях сохранения конспирации. Осуществить это удалось благодаря влиятельным связям Вилли. Я был представлен фон Кеслеру, как студент, земляк его супруги и, видимо, произвел неплохое впечатление. Человек любознательный, он интересовался всем, что связано с Советским Союзом и странами Восточной Европы, любил поспорить о свойствах характера их народов, об искусстве и культуре. По-видимому, он нашел во мне полезного собеседника. Часто он уводил меня в свой кабинет и там, дымя сигарой, делился планами расширения концессий на захваченных землях. Я сделался в их доме своим человеком. Он стал подключать меня к работе. Это было большой удачей. Теперь, помимо дополнительного заработка, я имел доступ к производственным делам и мог в какой-то степени даже оказывать влияние на характер его решений.

Кое-что о моих отношениях с семьей Кеслер и странных свиданиях с Элизабет стало известно и в семье Ко-

лесовых. Лиля сразу взревновала и не сделала из этого большого секрета. Наши отношения дали трещину. Как бы тяжело все это ни было, пришлось постепенно расстаться с хорошими и даже близкими мне людьми.

Иногда вместе с Кеслером, иногда один я выезжал по делам производства. Побывал в Праге, Каменец-Подольске, во Львове, в Судетах и других городах. Почти каждая поездка давала возможность раздобыть нужные сведения, имеющие отношения к военному производству. И хотя это были отрывочные, разрозненные сведения, я понимал, что где-то они сходятся в узел и, в конечном итоге, способствуют скорейшему окончанию войны и победе над фашизмом.

По-видимому, наши сведения передавались и в Англию (я в этом теперь не сомневаюсь), и в штабы армий Соединенных Штатов. Ну и что? Я ведь не был ни кем из них завербован, я трудился на благо Отечества, на нашу общую победу.

Я не жалел об этом ни разу. И не жалею.

Как-то я оказался в компании трех офицеров технической службы. Один из них только что побывал на Восточном фронте и делился впечатлениями об увиденном. Говорили о тяжелом положении и о том, что война может быть выиграна Германией только с помощью разрабатываемого сейчас совершенно нового оружия огромной разрушительной силы. И что для этого нужно еще немного продержаться. Такое я услышал впервые и понял всю значимость этой информации сразу. Но как ни старался, ничего более конкретного узнать так и не смог. Однако, кажется, перестарался...

Тогда еще мало кому было известно, что Германия близка к созданию атомной бомбы. После очередного моего вопроса один из собеседников сказал:

— Никак не пойму, откуда вы родом. То, что вы не австриец, это ясно. У вас какой-то необычный акцент...

Это уж было вовсе некстати, и мне бы следовало заткнуться. Но я полез на рожон и спросил:

— Кто же я, по-вашему?

— Похоже, вы родом из Дании или Нидерландов.

— Нет, вы немного ошиблись. Я русский, из Москвы.

Все трое дружно рассмеялись, настолько неправдоподобными показались им мои слова. Вопрос о моем происхождении больше не возникал.

Когда двое ушли, третий сказал:

— Я понимаю, что вы пошутили. Но скажу откровен-

но, нисколько не удивился бы, встретив вас в форме английского или советского офицера...

Это уже было серьезное предупреждение, и мне стоило призадуматься.

Среди довольно обширного круга знакомых Элизабет фон Кеслер встречались разные люди. Меня в первую очередь интересовали те, кто мог быть источником секретной информации. Но были и просто очень интересные личности. Как-то меня познакомили с профессором, доктором теологии. Он слыл человеком высокой морали, больших познаний и ума. Узнав о предмете его исследований — религии, я едва не рассмеялся. В мое наивно упрощенное миропонимание не укладывалось, как может умный, образованный человек верить в какую-то чепуху, когда все уже давно известно, когда доказано, что Бога нет и быть не может. При первом же удобном случае я ринулся в дискуссию, полагая, что легко смогу доказать профессору несостоятельность его религиозных взглядов. Я не подумал о том, что мои аргументы, позаимствованные из массовой атеистической пропагандистской литературы, пригодны лишь для «внутреннего пользования». Но куда там! Я пошел на профессора, как бык на мулету, но все мои выпады тут же легко парировались им. Он был мудр, великодушен и снисходителен. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы обезоружить меня, доказать мое полное невежество в религиозных проблемах. Он мог бы на этом прекратить разговор, но продолжал терпеливо беседовать со мной. Не навязывал своего мнения и не высмеивал моего невежества, он просто открывал глубины неведомых мне явлений и бездны мироздания.

Запомнилась беседа с другим ученым-лингвистом. На мой вопрос, какой язык признан самым благозвучным, он, не колеблясь, назвал эстонский. В ту пору этот язык мне не приходилось слышать. Позже, когда я познакомился с этим языком, меня удивила непривычная мягкость его звучания, отсутствие резких звукосочетаний. В этом языке не было ни «шипящих», ни «рычащих» звуков. Правда, мне он показался немного пресным.

Раза три я посетил оперный театр, где выступала Лиля Колесова. В один из вечеров шла опера Рихарда Штрауса «Саломея». В антракте я решил зайти к Лиле и отправился за кулисы. А в это время неожиданно обнаружилась нехватка статистов для заключительной сцены. Всем не занятым в спектакле мужчинам предложили немедленно облачиться в костюмы император-

ских стражников и вооружиться деревянными мечами и фанерными щитами. В эту «облаву» попал и я. Сопротивляться не стал. Вместе с другими нацепил доспехи. Нам надлежало внимательно слушать и, как только император пропоет: «*man tötet dieses Weib!*»¹, ринуться на сцену и «прикончить» весьма симпатичную, правда, несколько полноватую, исполнительницу роли Саломеи. Мы очень старательно выполнили это задание, слава Богу, не нанеся ей серьезных телесных повреждений.

Правда, «убиенная» потом жаловалась помощнику режиссера, поправляя тунику и лифчик, что статисты были чрезмерно темпераментны... Но это было чуть позже. А едва начался второй акт, в зрительном зале вспыхнул полный свет. Действие на сцене было приостановлено. Все взоры обратились к ложе почетных гостей. Сквозь щель в декорациях я увидел того, кто привлек к себе все внимание: маленький, совсем древний старичок, с копной седых, совершенно белых кудрей. Он кланялся зрителям и артистам. Все стоя приветствовали его. Это был сам Рихард Штраус...

Я познакомился с гастролировавшими в Вене артистами парижской балетной труппы известного русского балетмейстера Князева, и в том числе с популярным исполнителем характерных танцев Рикардо. Он бежал из СССР в 1938 году, после того как его отец и мать стали жертвами сталинских репрессий.

Тогда ему было восемнадцать лет. Он тайно проник в трюм парохода и спрятался в угольном бункере. Рикардо не считал себя изменником Родины. Приводил в пример тех, кто в свое время по тем или иным причинам тоже покидал Родину, как, например, Плеханов, Ленин, Горький, Куприн, Эренбург, Алехин, Шаляпин и многие другие. Напротив, он считал предателями тех, кто мог, но не предотвратил массовых репрессий против ни в чем не повинных людей. И тех, кто превозносил проводимую политику.

— Восхваляют на все лады, соревнуясь, кто лучше, мудрейшего из мудрейших, Великого Вождя, дорогого и горячо любимого отца всех народов. Беззастенчиво врут самим себе и другим! — восклицал горестно Рикардо, но при этом он верил в здравый дух народа, в способность излечиться от этой болезни. Верил, что сможет снова вернуться домой.

С Рикардо я виделся дважды. В последний раз, ког-

¹ «Убейте эту женщину!»

да мы ехали в трамвае, его внимание привлекла хорошенькая молодая женщина. Сам он выглядел весьма эффектно. Я заметил, что женщины проявляли к нему интерес, и, видимо, он был избалован их вниманием. Он вслух по-русски высказал довольно откровенную фразу относительно ее соблазнительной внешности, полагая, что его никто не поймет. Лицо женщины оставалось рассеяннo-спокойным. Она словно не замечала Рикардо. Но когда он вышел на остановке, а я оказался рядом с ней, она на чистейшем русском языке сказала:

— Передайте вашему другу, что он слишком самонадеян. Когда-нибудь это его подведет.

Я проглотил язык от неожиданности, но на извинения у меня все же сил хватило. Я спросил, как она оказалась здесь, она ответила, что это длинная история, а в Вену прибыла в прошлом году из Дюссельдорфа. Я едва удержался, чтобы не высказать удивление такому совпадению. Ведь Дюссельдорф и Эссен — города-соседи. И все это было вотчиной Круппа. И время приезда в Вену у нас почти совпадало... Так, может быть, она и есть мой связник или, возможно, мы коллеги. Но почему же я ничего не знал об этом? Интересно, а знает ли она обо мне? Я задал ей много вопросов, рассчитывая, что если ей что-либо известно, то она может проговориться. Но тщетно.

— Вы слишком много хотите знать сразу, молодой человек, едва успели познакомиться с женщиной, — отшучивалась она.

Только теперь я обратил внимание на то, что попутчица, в противоположность мне, почти ни о чем меня не спрашивала. Когда на чужбине встречаются два земляка, между ними неизбежен обмен вопросами, даже пустяковыми, просто из любопытства.

Похоже, что она обо мне что-то знала. Себя она представила так: «Анна». И сказала, что работает переводчицей в военном госпитале, где значительная часть младшего медперсонала состоит из девушек и парней, вывезенных из оккупированных гитлеровцами стран.

Об этой удивительной встрече я рассказал Вилли, чем его также немало озадачил. Он посоветовал продолжить знакомство. Пообещал кое-что узнать и проверить.

И вот уже несколько раз мы ужинали вместе. Меня, признаюсь, смущало повышенное внимание мужчин к Анне. Она была несколько старше меня, но выглядела ровесницей. Относилась ко мне слегка покровительственно, как старшая сестра. Часто подтрунивала, была

умна и проницательна, имела превосходную память. Могла, один раз мельком взглянув на посетителей кафе, назвать их количество и описать, не глядя, характерные черты их внешности и особенности костюма. Помимо русского и немецкого, знала английский и немного французский. Вела себя просто и естественно. Каждый раз я открывал в ней все новые качества. Но чем больше я узнавал ее, тем загадочнее она становилась. Однажды мы ужинали в кабачке, где рядом со стойкой бара имелся тир. Группа слегка подвыпивших офицеров в униформе альпийских стрелков решили показать свое умение в стрельбе, тем более что за каждое попадание выдавался приз. Но офицерам, почти всем, крайне не везло. Они нещадно «мазали». То ли виновато было вино, то ли, возможно, умышленно сдвинутые хозяином прицельные устройства, чтобы поменьше выдавать призов. Офицеры все больше распалялись, уже слышались насмешки, но меткость от этого не увеличивалась. И тогда Анна, ни слова не сказав мне, подошла к стойке тира. Офицеры притихли. Она бросила несколько монет, получила пять пуль, взяла винчестер и одну за другой, почти не целясь, четыремя выстрелами поразила четыре мишени. У стойки произошло замешательство. Офицеры не верили своим глазам, а затем разразились бурными возгласами изумления и комплиментами. Тем временем Анна достала из сумочки пудреницу с зеркальцем в крышке, положила ее на ствол, стала спиной к мишеням и оставшимся пятым выстрелом, так же без промаха, поразила пятую цель. Поднялась овация. Возле тира сгрудились чуть ли не все, кто был в зале. Хозяин выложил перед Анной горку призов. Офицеры неистово поздравляли Анну, словно она сбила вражеский бомбардировщик. Пили за ее здоровье. А один из них в шутку предложил Анне возглавить их батальон. Я был удивлен не меньше других, знал, как трудно в подобных тирах попасть в цель из духового винчестера. Только позже Анна рассказала, что раньше была артисткой цирка и стрельба входила в один из ее номеров. Здесь, в этом кабачке, она уже побывала однажды. Пробовала стрелять. Сразу обнаружила смещение мушки. Определила поправку, заметила винчестер, из которого стреляла, и решила в следующий раз проучить хозяина.

Я все с большим и большим нетерпением ожидал новых встреч с Анной. Все чаще я ловил себя на том, что слишком привязался к ней, все больше попадал под ее

влияние. Не знаю, чем бы все это кончилось. Но однажды Анна с обезоруживающей прямоотой сказала мне, что серьезно влюбилась.

— Кто же он? — спросил, заранее зная, что это не я.

— Зовут его Алекс. Он повар!..

Я решил, что Анна меня разыгрывает, но она заявила, что очень скоро я смогу убедиться в правдивости ее слов.

Теперь уже я подтрунивал над ней, высмеивал ее выбор. Этот ее избранник почему-то представлялся мне маленьким человеком с большим животом и короткими ногами. В общем-то, вел я себя довольно скверно и глупо. Чтобы прекратить мои насмешки, она сказала:

— Хорошо, я познакомлю тебя с ним.

С надеждой и даже с каким-то трепетом ожидал я эту встречу. Решил, что хотя бы в словесном поединке я расправлюсь с этим кулинаром, как с картошкой!

В назначенный вечер мы с Анной встретились и отправились в кафе. Туда должен был подойти и Алекс. Я нетерпеливо поглядывал на дверь, представляя, как будет протискивать свой живот в узких проходах между столиками новоявленный жених. На секунду отвлекся и не заметил, как возле нас появился брюнет выше среднего роста с плотной спортивной фигурой, безукоризненно одетый. Я невольно привстал со стула. Он с открытой улыбкой протянул мне руку.

— Алекс. Очень рад с вами познакомиться, — сказал он довольно чисто по-немецки и уже тише добавил по-русски, — Анна мне много о вас говорила.

В одно мгновение рухнул весь план моей воинственной наступательной стратегии. Алекс обезоружил меня одним своим видом, улыбкой, первыми словами. Он и Анна словно были созданы друг для друга. Я почувствовал к нему доверие и тут же рассказал, как Анна подшутила надо мной, сказав, что он повар. Алекс спокойно подтвердил, что действительно работает поваром в офицерском казино. Только — шеф-поваром!

Теперь я уже не сомневался, что Анна и Алекс не те, за кого себя выдают, и ждал, что они первыми внесут какую-нибудь ясность. К этому времени мы уже точно знали, что они не связаны с нацистскими спецслужбами. Подозрение в возможной провокации полностью отпадало. Но кроме этого Вилли узнать ничего не смог. Кто же они?.. Раздумывая над тем, кого они могут представлять, я рассуждал так: если нашу советскую разведку, то какой смысл так долго вести игру, теряя дра-

гоценное время, когда можно было развернуть совместные активные действия?.. Я очень надеялся, что теперь, с подключением Алекса, все должно определиться. А пока разговор между нами велся на отвлеченные темы. Алекс одинаково свободно, так же, как и мы с Анной, говорил и на немецком, и на русском языках. Непроизвольно разговор коснулся литературы и искусства. Я встрепенулся, решив показать, что уж тут я кое-что знаю. Но очень быстро, как говорят боксеры, был «брошен к канатам». Какая бы тема ни затрагивалась, я значительно уступал Алексу в познаниях. Мой багаж по сравнению с его оказался мизерным и дилетантским.

В этот вечер так ничего и не прояснилось.

С Анной мы мимолетно несколько раз виделись, и она каждый раз признавалась, что все больше и больше влюбляется в Алекса. И наконец сообщила, что они решили пожениться. Я был приглашен на свадьбу.

Венчание состоялось в церкви, но, к моему удивлению, не в русской, а в немецкой, лютеранской. В качестве свадебного подарка я приготовил большой портрет Анны, выполненный мною сепией по наброскам с натуры. Их я сделал раньше. Анна заранее предупредила меня, что общение будет только по-немецки. Из церкви поехали домой к Алексу. Он снимал небольшую, но уютно обставленную квартиру в седьмом районе города. Гостей было немного. Никто из них не был мне знаком, и какое отношение они имели к новобрачным, было не ясно. Торжество проходило в немецком духе и соответственно военному времени. Умеренно пили, сдержанно смеялись. Произносили недлинные речи и тосты. Мне было совсем не весело, но я старался этого не показывать. Когда стали расходиться, Анна задержала меня и отпустила только под честное слово, что завтра буду у них на обеде.

Придя на следующий день, я оказался единственным приглашенным. Мне не удалось скрыть от Анны свое плохое настроение, и она снова стала подтрунивать надо мной. После обеда мы перешли в другую комнату. Устроились поудобнее в мягких креслах. Анна приготовила кофе. Я почувствовал, что сейчас должно состояться какое-то признание, и не ошибся...

— Дело в том, — начала Анна, — что мы с Алексом давно женаты...

Я решил, что это очередной розыгрыш. С мольбой взглянул на Алекса и попросил:

— Не разрешайте этой вредной женщине издеваться надо мной.

Но Алекс сказал:

— Это правда. Мы поженились еще перед войной в Москве. — Вот тут было в пору отбросить копыта... — Эту нашу семейную тайну, и не только семейную, — многозначительно добавил он, — знать будешь только ты один. Мы знаем о тебе достаточно, чтобы доверять. Но об этом потом... Итак, я прибыл в Москву в 1938 году из Штатов для работы в нашем посольстве. Вскоре познакомился с Анной. Она приехала из Харькова на гастроль в Московский цирк. Мои родители эмигрировали в Америку еще до революции. Когда меня отозвали снова в Штаты, я забрал Анну с собой. У нас она стала выступать в довольно известной труппе варьете и скоро сделалась популярной. Разъезжала по стране и даже приглашалась в Голливуд для участия в фильмах. У нее появилось много поклонников...

— И Алекс, конечно, стал меня ужасно ревновать, — заметила Анна, — из-за этого мы начали часто ссориться.

— А меня, — продолжал рассказ Алекс, — как раз преследовала полоса невезений. Я оставил государственную службу и занялся драматургией. Но и здесь мне вначале не везло. Я был неизвестен, и мои пьесы и сценарии никто не хотел ставить.

— Алекс очень болезненно переживал мою популярность, — продолжила Анна. — Если мы где-нибудь бывали вместе, то часто можно было слышать: «А это муж той самой Анны», что Алекса постоянно бесило! Между нами росла отчужденность. Я привыкла чувствовать себя независимой. Сценический успех тоже малость кружил голову... Мы оба были слишком горды и ни в чем не хотели уступать друг другу. Хотя, по-моему, продолжали любить друг друга. Ты как считаешь, Алекс?.. Однажды я вернулась домой из гастрольной поездки и не нашла его. В записке этот герой сообщал, что уехал надолго... И больше ни слова. Год спустя я прочла в журнале об успехе молодого сценариста. Писали об Алексее. Вскоре о нем заговорили как о талантливом драматурге. А потом он вдруг снова как сквозь землю провалился. Нигде о нем ни слова. Я пыталась узнать о нем хоть что-нибудь. Ни звука — глухо!.. Война в это время разгоралась все сильнее. Немцы захватывали советские города и подошли к Харькову. Я не могла оставаться безучастной и обратилась в военное ведомство с просьбой

дать мне возможность чем-нибудь помочь моим землякам. Вот так через некоторое время я оказалась в Германии, а год тому назад была переведена сюда, в Вену...

— Ты, Вальдемар, вероятно, не ожидал такой откровенности, — перебил Анну Алекс. — Не подумай, что это легкомыслие. Нам кое-что известно о твоей работе в Эссене. Ведь вывод из строя военных заводов Круппа — это в какой-то степени наша совместная работа. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? И наверное, помнишь, как удачно мы там поработали...

— Да уж, такое не забывается. Там я потерял близкого мне друга, Эрнста. Да вот и отметина на черепе...

— Что поделаешь, дорогой, война не бывает без жертв. И сам Бог велел нам действовать вместе, чтобы приблизить конец войны.

Итак, я знал, кого представляют Анна и Алекс, и догадывался, что предложение о совместной работе не идет от них лично.

Я понимал также, что осведомленность о моей эссенской деятельности ставила меня в некоторую зависимость от них, хотя Алекс, думается, несколько преувеличивал мои заслуги там. Лично я не считал эту деятельность столь весомой, чтобы говорить о ней как о совместной работе. Ведь основную роль в уничтожении военной промышленности Рура сыграла союзная авиация.

Прояснилось и то, что этот откровенный разговор стал возможен только после получения интересующих их данных обо мне.

Теперь, когда все стало ясно, мне захотелось дослушать историю Анны и Алекса, как они вновь встретились.

— Это произошло уже здесь, в Вене, — сказала Анна. — Я стояла на остановке. Подошел трамвай. На задней площадке я увидела Алекса. Сначала хотела броситься к нему, но сообразила, что не должна этого делать. Быстро перешла на другую сторону улицы, хотела идти дальше, но Алекс нагнал меня. Вот так мы и встретились вновь... Все остальное ты знаешь.

— Да, что и говорить, и любовь, и свадьбу вы разыграли натурально. Одно мне в утешение, что не один я оказался одураченным.

— Не сердись, так нужно для дела. И потом, мы разыграли только свадьбу. Любовь была и есть настоящая...

Еще долго я оставался под впечатлением этой необыкновенной истории. Вместе с тем мне нужно было дать ответ на сделанное предложение. В принципе все было вполне логично: Америка и мы — союзники, у нас действительно одна общая цель — разгром фашизма. И все же ряд обстоятельств не давал мне права принять их предложение.

С Анной и Алексом я продолжал дружеские отношения и помогал им, если предоставлялась такая возможность. Так, например, от военных, знакомых Элизабет, мне стало известно о дополнительных перебросках частей армии Власова на один из участков Атлантического оборонительного вала, в связи с ожидаемой высадкой англо-американских войск. Об этом я тотчас же рассказал Алексу.

Позже выяснилось, что именно на этом участке в день открытия второго фронта 6 июня 1944 года показались силуэты самолетов. У каждого на буксире по два-три больших планера. Не долетая до зоны огня, планеры отцеплялись и продолжали самостоятельный бесшумный полет в глубину немецкой обороны. Затем на этом же участке был выброшен парашютный десант. Гитлеровцы решили, что это и есть участок прорыва. Открыли ураганный огонь, чем обнаружили свою огневую систему, перебросили туда подкрепления с других участков. Вскоре обнаружилось, что десант здесь состоял из бутафорских чучел. Но было уже поздно. Отвлекающий маневр удался. Высадка союзных войск на других участках шла полным ходом.

Вскоре после этих событий Анна и Алекс были переведены в другое место. О дальнейшей их судьбе мне, к сожалению, ничего уже не было известно.

Спустя некоторое время завершилось и мое знакомство с Кеслерами. Продвижение советских армий на Запад вело к уменьшению поступления сырья для кеслеровского производства. Одна за другой прекращали существование сырьевые базы в Польше, Румынии, Чехословакии. Заводы простаивали. Кеслер с женой переехали в Зальцбург.

Элизабет несколько раз приезжала ненадолго в Вену. Но потом и это прекратилось.

Излишне говорить о том, что отсутствие прямой связи с нашим разведцентром лишало меня возможности работать по конкретным заданиям. Я постоянно поставлял информацию движению Сопротивления, но это казалось мне недостаточным. С нетерпением я ждал обе-

щанного еще в начале зимы связного. Но время шло, а он не появлялся.

Иногда на меня находила тоска. Отчаяние брало верх. Никого не хотелось видеть, немоготу было все время говорить по-немецки. Хотелось все бросить к чертям, крикнуть громко, чтобы все слышали: «Да гори оно все синим пламенем!», как тогда кто-то из раненых пленных под Харьковом крикнул, — и двинуть домой...

11. БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в том числе жестокое сражение с квартирной хозяйкой)

Физкультура на факультете считалась обязательным предметом. Для перехода на следующий семестр надо было набрать определенное количество зачетных баллов. Наибольшее число баллов по физкультуре давал бокс (десять — победителю в двухраундном зачетном спарринге и семь — побежденному). Я выбрал бокс — в этом виде спорта у меня уже был некоторый опыт. Еще во время службы в Красной Армии в городе Львове я участвовал в товарищеских встречах с польскими боксерами.

У меня не было особого влечения к кулачным боям. Я начал заниматься боксом еще в школе скорее для самоутверждения, чем из-за любви к этому виду спорта. Наблюдая бои настоящих боксеров в московском дворце спорта, я видел, что чаще всего побеждала не грубая сила, а ловкость, техника, точный расчет, воля. Мне хотелось обладать этими качествами, воспитать их в себе. Словно чувствовал, что в свое время они могут пригодиться. Бокс учил меня прежде всего побеждать самого себя, побеждать нерешительность, даже трусость. Помогал принимать мгновенные решения, смотреть не моргая в лицо опасности. Вот что было самым главным для меня в боксе. Надевая перчатки, я как бы переходил в иной тип личности, становился другим человеком, концентрировал мысли и волю на предстоящем поединке. Это было первым перевоплощением. Переход в следующий тип личности начинался с момента вступления на ринг, со встречи с глазами противника. В упор.

Тренер пригласил меня в спортклуб. Там регулярно, два раза в неделю, я выходил на ринг. И это было моей отдушиной.

У меня назревал серьезный конфликт с квартирной

хозяйкой. Надо было переселяться, но необходимо было сохранить этот адрес — ведь я сообщил его для встречи со связным и ждал этой встречи. Это была уже весна 1944 года.

И вот однажды, прихожу домой и застаю: хозяйка кокетничает, вся извертелась, беседует с каким-то мужчиной. Она была женщиной любвиобильной, так что тут ничего примечательного не было. Но в следующее мгновение слух резанул акцент гостя. Это был даже не русский — это был, как мне показалось, стопроцентный советский акцент — прямо с произношением из средней школы.

Хозяйка довольно ехидно улыбнулась и сообщила: — Господин иностранец уже давно дожидается вас... — и полностью отчеканила мое имя, фамилию со всеми приставками.

У меня засвербило в затылке, я понял, что это тот самый долгожданный связник, которого я... «Но какой болван и вражина сподобился подсунуть мне такой подарочек?!» Ведь он не смел приходить ко мне домой!.. Все его действия, как нарочно, были направлены на полный провал: его приход на квартиру, выбранное время, беседа с хозяйкой — решительно всё. Я не мог понять, что это было: провокация спецслужб, проверка из Москвы или откровенный кретинизм?.. **Не знаю... Положительным было только одно, как только я заметил ему мое, мягко говоря, недоумение, посетитель вдруг заторопился, сказал, что даст знать о следующей встрече, и исчез.**

Не сразу пришел я в себя после его ухода. Понял, что поддался первому впечатлению, может быть, раздражению, и промахнулся. Наверное, это произошло оттого, что я так долго ждал этой встречи. Постоянно думал о ней, связывал с ней все надежды. Теперь мысленно старался восстановить все детали этой встречи. Начал с внешности посетителя. Он был чуть выше меня ростом (выше среднего), примерно моих лет, а может, постарше, широкоплеч. Костюм бежевого цвета сидел на нем безукоризненно (может быть, даже слишком!), плащ перекинут на согнутой левой руке. Светлые волосы, располагающая улыбка. Взгляд нагловатый — такие, наверное, нравятся женщинам.

«Если бы к такой завидной внешности побольше бы сообразительности», — подумал я, но тут же вспомнил, каким был сам вначале...

А может быть, это я свалил дурака, не понял его

приема. Забыл, как однажды поступил сам, когда подозрение вызвал мой акцент? Тогда я, как бы в шутку, сказал, что я русский, из Москвы. Это вызвало смех. Никто не поверил. Может быть, при встрече с ним надо было разыграть радость? Раскрыть объятия ему навстречу, сказать: «Здорово, друг!». Тогда это не вызвало бы подозрений у хозяйки... Да, трудноато бывает порой сознаться в своем собственном кретинизме...

А с другой стороны, в случае провала мне не удалось бы сослаться на «шапочное знакомство». Вот и думай теперь как хочешь...

Даже из короткого разговора с посетителем стало ясно, что сго акцент не был русским, а тем более «советским», как мне показалось вначале. Он и по-русски говорил с едва заметным акцентом. А вот с каким — я не уловил... Как все это я сразу не заметил?.. Через Вилли попытался узнать, что же все это могло означать?.. Но ничего определенного выяснить так и не удалось. Скорес всего мы оба сразу друг другу не понравились и вызвали взаимные подозрения. А это скверно... Больше я сго не видел... Никогда...

Этот неудачный визит — был и моей оплошностью. Ошибки, как правило, не остаются без последствий. Но об этом позднее.

Еще осенью, когда из общежития я перебрался на частную квартиру, стоимость сдаваемых здесь комнат была невысокой. Сначала хозяйка соглашалась сдать комнату только до весны. Летом этот зеленый тихий район пользовался повышенным спросом, и стоимость комнат значительно повышалась. В конце концов она все же согласилась сдать мне комнату на более длительный период за полуторную цену с уплатой за два месяца вперед. При этом хозяйка сказала, что в крайнем случае, если ей все же понадобится самой эта комната, она предоставит мне равнозначную за ту же цену.

Не прошло и недели, как жильцы соседнего дома предостерегли меня. Они рассказали, что моя хозяйка, фрау Типот, уже не первый год проделывает хитрую махинацию. Сдаст с осени комнату как бы на длительный срок, за повышенную плату, получает деньги вперед за несколько месяцев, а с приходом весны выселяет жильца через суд и пересдает комнату на лето другому, за двойную плату.

Суд всегда бывает в ее пользу. Для этого она держит при себе двоих любовников-юристов. Один выступит в суде как ее адвокат, другой — в качестве свиде-

теля. Комнаты она, как правило, сдает иностранным или приезжим студентам. С ними суд и полиция меньше церемонятся, и можно не возвращать переплаченные деньги.

Кроме того, соседи предупредили, что мои предшественники даже жаловались на пропажу вещей и денег. Я не послушал их, но уже вскоре начал убеждаться в справедливости предостережения. Однажды обнаружил пропажу небольшой суммы денег, оставленных в кармане, в другой раз — продовольственных талонов.

С наступлением весны хозяйка забеспокоилась. Уж очень не хотелось ей упустить возможность пересдать комнату за более высокую плату. Она делала все, чтобы поскорее выжить меня. А вот мне приходилось все это терпеть ради сохранения адреса для повторной встречи со связником или каким-нибудь новым квалифицированным контактом.

Хозяйка подала в суд на выселение. Свой иск она мотивировала тем, что сдала комнату только на зиму, и что это может подтвердить свидетель.

Я посоветовался со знакомым юристом. Он не сказал мне ничего утешительного: доказать, что комнату она сдала не на зиму, как теперь утверждала, а на более длительный срок, не представлялось ему возможным. Юрист считал дело проигрышным и посоветовал освободить комнату без суда, чтобы не платить судебные издержки. Если бы он знал, почему для меня было важно хоть какое-то время сохранить этот адрес. Я пожалел, что сразу не послушал совета соседей. Обидно было за свой промах, но уступать уже нельзя было да и не хотелось.

До суда оставался один день. Я все пытался найти хоть какое-то решение, но безуспешно. Ни свидетелей, ни доказательств у меня не было, так же как не было и времени заниматься этим делом. Тем более что началась экзаменационная сессия в институте.

Из-за посздок по делам Кеслера я часто пропускал лекции. Теперь следовало наверстать упущенное. Весь вечер и почти всю ночь я приводил в порядок конспекты лекций, вычертил несколько эпюр и сделал отмывку тушью капитали дорической колонны. Снова вспомнил о предстоящем уже сегодня суде... Совершенно неожиданно возникла мысль: а что если попытаться в качестве моего свидетеля использовать саму истицу, фрау Типот?

Утром перед судом я снова заехал к юристу. Он ска-

зал, что если мой план удастся, то это будет практически уникальный случай в его практике.

Госпожа Типот явилась в суд как на праздник: приоделась, значительно омолодилась с помощью косметики. Ее сопровождали два солидных секунданта. Каждого из них по отдельности я уже встречал в доме фрау Типот, но забавно было смотреть на них вместе, чуть ли не обнимающихся в дружеской беседе.

Судья в черной мантии огласил иск и задал несколько вопросов фрау-майор Типот (так официально именовала себя вдова майора).

Затем он спросил, согласен ли я удовлетворить иск без судебного разбирательства, поскольку правомерность иска не вызывает сомнений. При этом судья добавил, что издержки, которые в этом случае мне придется уплатить, будут минимальны.

Мой отказ вызвал удивление. Свидетель подтвердил, что фрау-майор всегда сдавала эту комнату только на зимний период.

Потом слово было предоставлено защитнику. Он произнес целую речь. Основное внимание в ней он уделил достоинствам госпожи-майорши, ее порядочности, честности и множеству других добродетельных качеств. Маска доброты и прямо льющегося человеколюбия не сходила с лица фрау Типот. Эту маску она несла чуть ли не до конца судебного заседания. Но все же не до самого конца...

Перед тем как предоставить мне слово, судья еще раз спросил, согласен ли я освободить комнату, и в голосе его слышались раздражение и враждебность. Я снова ответил вежливым отказом. Было совершенно ясно, что проигрыш обойдется мне в изрядную сумму судебных издержек. А в том, что я проиграю, уже никто не сомневался. Кроме того, по опыту моих предшественников, следовало еще ожидать дополнительного иска на ремонт комнаты. Но я пошел напролом.

Судья, словно сделал большое одолжение, дал мне слово. Получив право говорить, я обратился к истице:

— Уважаемая госпожа Типот! Не могу не присоединиться к высокой оценке ваших достоинств, высказанных здесь господином адвокатом. Я полагаю, что, именно в силу доброты и порядочности, вы при найме мною комнаты осенью прошлого года обещали предоставить мне равнозначное жилье за ту же стоимость в случае, если вам самой летом понадобится эта комната. Я правильно повторил ваши слова, сказанные тогда?

Сейчас все зависело от ее ответа. Как я и рассчитывал, грубая, беспардонная, не знающая границ лести способна пробить даже стену лжи! Ведь она всюду выпячивала свое человеколюбие. Вот и сейчас с готовностью подтвердила, что, как женщина отзывчивая и добросердечная, она не могла не пойти навстречу студенту. И действительно обещала предоставить или помочь найти равнозначную комнату.

Я попросил зафиксировать ее подтверждение...

Судья начал догадываться о моем маневре. Его неодобрительное ко мне отношение сменилось удивлением и любопытством. Адвокат, видимо, тоже почуял ловушку и делал своей подзащитной энергичные знаки. Но госпожа-майорша закатила глаза к потолку и продолжала распространяться о своей доброте, о готовности всегда прийти на помощь бедным студентам.

Судье пришлось остановить это признание собственных заслуг.

— Итак, господин судья! — сказал я, получив наконец возможность закончить. — Сама фрау Типот подтвердила несостоятельность своего иска. Ведь если бы по договору между нами комнату мне она сдала только на зиму, ей незачем было бы связывать себя обещанием предоставить равнозначную комнату.

Суд решил: в иске фрау Типот отказать, судебные издержки отнести за ее счет.

Она и ее адвокаты никак не ожидали такого исхода. Хорошо отработанная схема на этот раз дала осечку. Это подействовало на госпожу-майоршу как слабительное. Она начала заискивать и старалась во всем угождать. Тут я почувствовал, что готовится подвох. И действительно, ни больше ни меньше, она донесла на меня в гестапо.

Весенним днем, когда чирикали птички, я получил вызов на Морцинплатц.

Здание гестапо не отличалось большой выразительностью ни снаружи, ни внутри, и в этом отношении сильно уступало великолепному зданию бывшего парламента на Рингштрассе, где размещалась контрразведка. Здесь узкий, плохо освещенный коридор с дверьми по обеим сторонам. Маленький кабинет... И если б не два вооруженных охранника при входе, можно было бы подумать, что это обычное заурядное учреждение.

Немолодой чиновник в штатском, с усталым лицом, сразу приступил к делу:

— Нам известно, что вас посещают подозрительные

иностранцы. Что вы можете сказать по этому поводу?

Вопрос лишь подтвердил мою догадку о доносе хозяйки, и я заранее обдумал, как себя вести.

— Могу сказать, что вас ввели в заблуждение, и даже назову, кто это сделал. — Я сразу перешел в атаку, чтобы захватить инициативу: — Это моя квартирная хозяйка! Я помешал ей заниматься жилищными махинациями, и она намеревалась выселить меня через суд. Но из этого ничего не вышло. Судью ввести в заблуждение ей не удалось, и тогда она решила избавиться от меня с вашей помощью. Вот подтверждение этому.

Я извлек из кармана копию решения суда и положил ее перед гестаповцем. Увидел по его лицу, что аргумент подействовал, и продолжал, как наметил заранее:

— Что же касается посещений, то действительно недавно приходил один, кажется, из русских эмигрантов. С ним мы случайно познакомились в трамвае, и я дал ему свой адрес, не придав этому значения.

— Но вам хотя бы известно, кто он, откуда и зачем приходил?

— Понятия не имею. Знаю только, что зовут его Николай и что он врач по профессии, — это был единственный экспромт. — Так он мне представился. Сам я его ни о чем не расспрашивал. Для общения с ним у меня просто не было времени. Ведь я работаю и одновременно учусь в Высшей тенхической школе. А сейчас у меня как раз экзаменационная сессия. Вот моя зачетная книжка (ее я нарочно захватил с собой — такая аккуратная, с хорошими оценками — радость нации!).

Было видно, что мне удалось убедить гестаповца. Но сейчас меня больше всего интересовала судьба связного — теперь я был почти уверен, что это был связной — и я решил выяснить, что им известно о нем.

Не успел я придумать, как бы это лучше сделать, как гестаповец снова обратился ко мне:

— Я вижу, вы прилежный студент, и все же у нас к вам просьба. В случае, если этот ваш Николай снова взглянет к вам, пожертвуйте своим временем и узнайте о нем побольше и немедленно сообщите нам.

— А я считал, что гестапо все знает и все может, — сказал я. — Разве не лучше вам вызвать его и обо всем расспросить?

Помедлив, гестаповец сказал:

— Дело в том, что он сумел скрыться от нас, когда мы хотели его задержать на вокзале.

Я был ошарашен искренностью чиновника, даже ус-

мнился в его принадлежности к гестапо и тут же пообещал, что, если этот русский снова появится, непременно выполню его просьбу. На том мы и расстались. И снова я подумал о том, что, случись подобное со мной в Германии, так просто мне бы не отделаться.

Я еще продолжал надеяться на установление контакта с разведцентром. Но тщетно.

Жилище я все же сменил. Но признаюсь, что после того как действия связного чуть не привели к полному провалу, после гестапо, мной завладело чувство глубокого отчаяния. Выходило, что центру не нужны мои старания и немалые возможности. Я фактически оказался предоставленным самому себе. Чтобы не оставаться в стороне, полностью включился в работу австрийского движения Сопротивления. Сознание того, что выполняемая мною, часто по личной инициативе, работа приближает конец войны, давало силы и уверенность. Всю добытую мною секретную информацию я передавал Вилли. По его совету, в конце зимы 1944 года я оставил мастерскую и устроился работать шофером в небольшую частную транспортную фирму Рихарда Шольца по перевозке мелких грузов. Но прежде чем сесть за руль, мне пришлось поступить на курсы водителей и до получения водительского удостоверения поработать грузчиком. Правда, недолго. Умение управлять автомобилем, приобретенное еще дома, помогло досрочно сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Хозяин выделил мне старенький автофургон «фиат». Работал я через день. Хорошо изучил город, пользовался кратчайшими маршрутами и за счет экономии горючего и времени имел возможность в своем маленьком автофургоне перевозить грузы, не только значащиеся в заказе, но и кое-что другое, по заданию руководства группы. Иногда это были листовки, иногда оружие. Несколько раз под видом грузчика переправлял в надежные укрытия тех, кому удавалось бежать из лагерей. Среди них мне запомнился летчик по фамилии Сергеев. Он попал в плен, спрыгнув с парашютом с подбитого самолета. Несколько дней мы прятали его в развалинах старого замка, а затем переправили в Санкт-Пельтен, на нашу запасную базу, устроенную с помощью моей давней знакомой фройляйн Гертруды. Вот и случайное вагонное знакомство пригодилось.

Не могу не вспомнить югославского партизана Марко, бежавшего из концлагеря. С ним я успел крепко сдружиться, а впоследствии мы вместе участвовали в

одной из боевых операций.

Помимо автофургона фирмы Шольц, теперь у меня была возможность пользоваться свободными машинами из гаража Вилли...

Забегу немного вперед и расскажу об одном повороте, который мог круто изменить всю мою дальнейшую жизнь: расскажу только для того, чтобы стала яснее вся степень моей изолированности от Родины в этот период... Но без этого рассказа картина может показаться несколько фальшивой.

С Александрой Кронберг я познакомился в университетском спортзале. Что послужило поводом к знакомству — точно не помню. Скорее всего то, что она, прибалтийская немка, родилась в России и немного говорила по-русски. Она закончила философский факультет Венского университета и теперь работала над диссертацией. Помимо встреч в спортзале, мы иногда вместе обедали в студенческой столовой. Мне импонировал ее оригинальный образ мышления и серьезные философские знания, к азам которых я тогда еще только подбирался. Раза два мы ходили с ней в кино. Этим наши взаимоотношения и ограничивались. Хотя, как женщина, она была вполне привлекательна, но я тогда старался об этом не думать, даже старательно избегал этих мыслей, считая, что они и есть самая большая помеха настоящему делу.

Потом она меня пригласила на собрание высшего учебного совета университета, где в торжественной обстановке ей присуждалась степень бакалавра философии. В черной мантии, четырехугольной шапочке, с волосами, ниспадающими на плечи, она выглядела великолепно — этакая белокурая философия!

Наши встречи, как правило, носили случайный характер и происходили не часто. С вступлением советских армий на территорию Австрии многие венцы покидали свои дома и направлялись на запад. На нашем архитектурном факультете занятия еще продолжались. Шла защита курсовых проектов, сдача зачетов. В один из дней мы снова встретились с Сашей Кронберг. Я понял, что на этот раз встреча была не случайной.

— Ты даже не догадываешься, что перед тобой очень богатая женщина, — сказала она. — Недавно получила известие из Америки — я стала наследницей изрядного состояния. После смерти моей бабушки. И отправляюсь туда немедленно... Пока еще есть такая возможность... С приходом русских она может исчезнуть... — Она со-

бралась с духом: — Как ты смотришь на то, чтобы поехать туда вместе со мной? — произнесла Саша, преодолевая волнение. — Ты, наверное, спросишь: «В каком качестве?..» Предоставляю тебе полную свободу выбора. Ты сможешь завершить свое образование, а дальше поступишь так, как сочтешь нужным. Я не буду тебе обузой... Сейчас можешь ничего не отвечать... Я буду ждать твоего звонка завтра, до десяти часов вечера. Дольше не смогу. Если ты согласен, то собери необходимые вещи, и послезавтра, очень рано утром, ты должен быть на машине у моего дома. Вот адрес. — Она протянула мне свою визитную карточку.

Я действительно был почти свободен. Но — почти... Она была блестяще образована и недурна собой. В ней не было ни грана фальши, правда, звание бакалавра философии дается не так-то легко, и к двадцати трем годам в ней был некоторый налет «синего чулка» — ученой женщины. Но что было самым главным — мы были открыто приятны друг другу, относились с взаимной симпатией, но... настоящей любви между нами не было и в помине. А кто в нашем возрасте не мечтал о настоящей... вечной и нерушимой... В общем-то она предлагала мне бегство от... а не сделку.

Это была наша последняя встреча. Я не позвонил ей. Ни всероном, ни утром. Не скажу, что мне легко было принять это решение. Сегодня нет-нет, а услышу фразу: «Ну какой же ты был дура-ак!». И то правда — но самое главное, что я таким и остался... И произносящий эту фразу ощущает себя таким умным, таким практичным жильцом на этой планете, но говорит-то мне это здесь.

Ан НЕТ. Все не так!.. Каждый живет в отпущенное ему время — ни раньше, ни позже. Тогда, в сорок пятом, все бросить и уехать с Сашенькой Кронберг было для меня все равно что бросить и забыть свою мать (которая никогда не бросала и не забывала меня), своего отца (они и так были заложниками этой системы), бросить свою, хоть еще и не высказанную, не произнесенную вслух, но все равно любовь — она уже была; свой город (город моего детства и юности), который я любил до боли; извините меня — своих друзей, свои привязанности, свою страну. И в конце концов, дело всей своей, еще не развернувшейся жизни...

Это предложение было узывно и заманчиво не оттого, что Сашенька умна, хороша собой и теперь еще вполне обеспечена (материальная оснащенность для меня ни-

когда не была решающей), заманчиво по очень странному и тяжелому предчувствию: наши войска уже находились на земле Австрии, подкапывалась и захлестывала победная общая эйфория (и меня захлестывала), а тяжелое предчувствие свинцовой плиты необъяснимой угрозы медленно наползало, и я ничего не мог поделать с этим ощущением. Как будто кто-то мне даже не шептал, а гудел в ухо и в душу — «Смотри!.. Смотри в оба!! Наши нахлынут и не станут разбираться!.. Они ведь НАШИ!..»

12. ЕСТЬ КОНТАКТ!

Уничтожение Рура сыграло немаловажную роль в расстановке сил воюющих сторон. Начиная с января 1943 года гитлеровское командование уже не могло восполнять потери военной техники. Рейх начал сворачивать боевые действия в Африке. На Восточный фронт стали прибывать танки, покрашенные в песчаный цвет пустыни. Их срочно перекрашивали в белый цвет заснеженных российских полей — цвет смерти.

Москва получила возможность наращивать боевую мощь, постепенно создавался подавляющий перевес в боевой технике на всех участках огромного фронта. С каждым днем увеличивался поток вооружения, поступающего с Урала, из Сибири, куда были эвакуированы в начале войны заводы из западных районов страны.

К 1944 году инициатива уже полностью находилась в руках советского командования. Наступление шло по всему фронту. Исход второй мировой войны был фактически предreshен. Приближалась развязка.

В кругу оппозиционно настроенных высших офицеров вермахта росло убеждение, что для спасения Германии необходимо устранить Гитлера, арестовать нацистскую верхушку, захватить власть и добиваться заключения мира. Впрочем, об этом уже написано множество книг.

Как известно, для подготовки и осуществления этого замысла участники заговора решили в качестве прикрытия использовать официально разработанный еще в 1943 году и одобренный Гитлером план под кодовым названием «Валькирия». План предусматривал меры на случай внутренних беспорядков в самой Германии или высадки десантов.

Согласно плану «Валькирия», армия резерва по боевой тревоге должна была обеспечить безопасность важнейших объектов и уничтожить появляющегося против-

ника. В нашей стране почти не знают о том, что тем планом решили воспользоваться и австрийские антифашисты. Обо всем этом подробно написано в книге Ф. Фогля «Участие военных в антифашистском движении в Австрии в 1938—1945 годах». Некоторые эпизоды, а точнее подробности, не известные мне, воспроизведены по этой книге. В Вене, при генеральном штабе резервной армии, была создана подпольная антигитлеровская группа. В нее вошли, насколько мне известно, в основном австрийские офицеры. Руководил группой офицер генерального штаба майор Карл Сцоколль. Впоследствии он возглавил общее австрийское движение Сопротивления, объединив военную группу с гражданскими отрядами, он был известен как «Майор Сокол».

По данным историка Ф. Фогля, майор К. Сокол подготовил план свержения нацистского режима в Австрии.

Несмотря на огромные трудности, к лету 1944 года план был почти осуществлен и открывал возможность активных действий по свержению власти нацистов. К началу 1944 года на территории Австрии находилось уже около десяти надежных батальонов и выдвинутых к Юго-Восточному фронту трех дивизий и двух бригад из австрийцев, подготовленных для осуществления плана Сокола. Этот план мог иметь успех уже летом 1944 года, если бы покушение на Гитлера удалось. После неудавшегося покушения стремление к свержению нацистского режима в Австрии не угасло.

Сокол продолжал осуществление своего плана, предусматривающего:

- концентрацию австрийцев, находящихся в вермахте, на территории Австрии, назначение их на ключевые посты;

- срыв строительства оборонительных сооружений вокруг Вены;

- создание австрийских боевых подразделений для участия в активных действиях по освобождению Австрии, внедрение борцов Сопротивления в войсковой и гражданский полицейский аппарат;

- создание складов оружия, боеприпасов, горючего;

- предупреждение о розыске участников Сопротивления со стороны полиции и гестапо;

- подготовка к внедрению гражданских групп в военные организации для участия в спецзаданиях по освобождению;

- содействие продвижению Советской Армии.

Сокол и его единомышленники знали о заговоре в Берлине и о готовящемся покушении на Гитлера. Они ждали условного сигнала, чтобы действовать одновременно. Однако неудача покушения и раскрытие заговора в Берлине сорвали эти планы.

Тем временем фронт неотвратимо приближался к границам Австрии. Регулярные части вермахта еще оказывали на этом участке фронта некоторое сопротивление, но многие из них были явно деморализованы. Дезертирство здесь приняло массовый характер. По данным военных комендатур, в Вене к началу 1945 года находилось от десяти до тридцати тысяч дезертиров¹. С одной стороны, это был результат стремительного наступления советских армий, а с другой — работа среди солдат вермахта, проводимая австрийскими антифашистами. Движение Сопротивления заметно ширилось. В ответ нацисты усилили репрессии. Непрерывно заседали военные суды, выносили смертные приговоры. Продолжалась тотальная мобилизация. Под ружье ставили всех — стариков, женщин, подростков.

Усиливая Венское направление, германское командование пыталось ослабить удары советских войск на центральном Берлинском направлении, выиграть время для подготовки и нанесения контрудара. Для этого ставка Гитлера решила превратить Вену в мощный оборонительный рубеж, способный задержать продвижение наступающих армий. Основанием для такого решения послужило выгодное для обороны расположение Вены. Река Дунай и старица Альте Донау превращали часть города в остров, который возвышался над равнинными подступами к нему. Эти природные условия создавали серьезные препятствия для штурма и могли отдалить день окончательного разгрома фашистов.

Майору Соколу стал известен план гитлеровского командования и то, что оно решило заменить деморализованные части вермахта свежими частями СС из резерва ставки. Этот резерв — танковая армия и пехотные соединения под общим командованием генерала Зепа Дитриха, был уже на пути в Вену. Передвижение войск проходило в полной секретности. Одновременно поступил приказ о выводе из города частей венского гарнизо-

¹ Из публикации Фридриха Фогля, 1977 г.

на. В приказе также говорилось, что все мосты через Дунай должны быть заминированы и взорваны после ухода частей гарнизона, кроме одного моста. Его надлежало взорвать сразу же по приходе частей СС, с тем чтобы превратить город в крепость и отрезать даже своим войскам все пути к отступлению.

Осуществление гитлеровского плана означало превращение Вены, сокровищницы мировой культуры, в руины, с десятками, а может быть, и сотнями тысяч напрасных жертв.

Для того чтобы сорвать эти планы, требовалось:

— задержать армию Дитриха хотя бы на несколько часов;

— ускорить вывод войск гарнизона из города;

— обеспечить беспрепятственный проход ударного отряда советских войск через линию фронта на участке, где оборону занимали австрийские части;

— сохранить мост через Дунай для вступления советских частей в город, в тот малый промежуток времени, когда в нем вообще не будет никаких войск.

Для выполнения этой задачи, а точнее задач, австрийское движение Сопротивления должно было срочно установить контакт с советским командованием. Сокол принимает решение направить через линию фронта своего связного. Выбор пал на обер-фельдфебеля Фердинанда Кеза. С ним Сокол познакомился еще в 1934 году, когда был курсантом военного училища. Тогда Кез был его командиром.

В конце 1944 года Сокол добился перевода Кеза в Вену, к себе в семнадцатый военный округ, на должность референта по созданию народно-ополченческой гренадерской дивизии. Кез вспоминал, что еще раньше в доверительной беседе с ним Сокол высказал решение связаться в нужный момент с командованием Красной Армии. И вот теперь такой момент настал.

2 апреля 1945 года Кез получил задание майора Сокола установить контакт с командованием 3-го Украинского фронта и передать предложение австрийского движения Сопротивления о совместных действиях при освобождении Вены и предотвращении разрушения города. Кез должен был также передать копию секретного плана обороны Вены с расположением обороняющихся частей. Сопровождать Кеза добровольно вызвался шофер майора Сокола, обер-ефрейтор Иоганн Райф.

Вот что об этом визите в штаб маршала Толбухина мне известно по рассказу Фердинанда Кеза:

— Вечером второго апреля мы выехали в направлении Глогнитца на служебной машине майора Сокола «Оппель-Олимпия» с армейским номерным знаком. В маршрутном предписании указывалось, что мы направляемся на поиски штаба венгерской части, с которой была нарушена связь. В пути нас несколько раз останавливали для проверки документов. В Глогнитце из разговора с начальником заградительного отряда стало известно, что русские находятся на северо-восточной окраине Земмеринга. Продвигаясь не по основной, а по параллельным дорогам под покровом ночи, мы достигли Земмеринга на рассвете третьего апреля.

С крыши отеля «Панганз» на возвышенности, в нейтральной полосе, я в бинокль точно установил, по вспышкам выстрелов и следам трассирующих пуль, где проходит линия фронта. Местность я знал хорошо и решил пересечь передовую линию обороны возле Крестовой горы. Как только мы выехали на вершину возвышенности, нас почти одновременно обстреляли и с немецких, и с русских позиций. Под обстрелом с обеих сторон мы выпрыгнули из машины и покатались по склону, пока не очутились перед двумя советскими солдатами. Нас обезоружили и с поднятыми руками препроводили на командный пункт части. Тут я обнаружил, что моя полевая сумка с картами и документами, необходимыми для ведения переговоров, осталась в машине. Это практически срывало выполнение задания Сокола. Под огнем с двух сторон я дал осечку.

На командном пункте, возле небольшого костра, сидели несколько человек. На костре разогревался чай. Командир в чине младшего лейтенанта выслушал доклад конвоиров и разрешил нам опустить руки. Он вполне разборчиво, по-немецки, предложил чаю и сигареты. Я воспользовался тем, что командир знал немецкий язык, и рассказал ему о порученном задании и о сумке с документами, оставленной в машине. Младший лейтенант тут же приказал двум бойцам отправиться за сумкой. Не прошло и часу, как они вернулись и вручили мне заветную сумку в полной сохранности.

За это время командир связался по телефону с начальством. Очевидно, он получил соответствующие указания, и нас отправили дальше, сперва пешком, затем на машине, с занавешенными окнами, в сопровождении уже двух полковников. К вечеру нас доставили в какой-то населенный пункт, где я изложил генерал-лейтенанту суть наших предложений. Поздно вечером того же дня

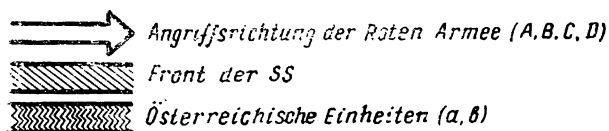
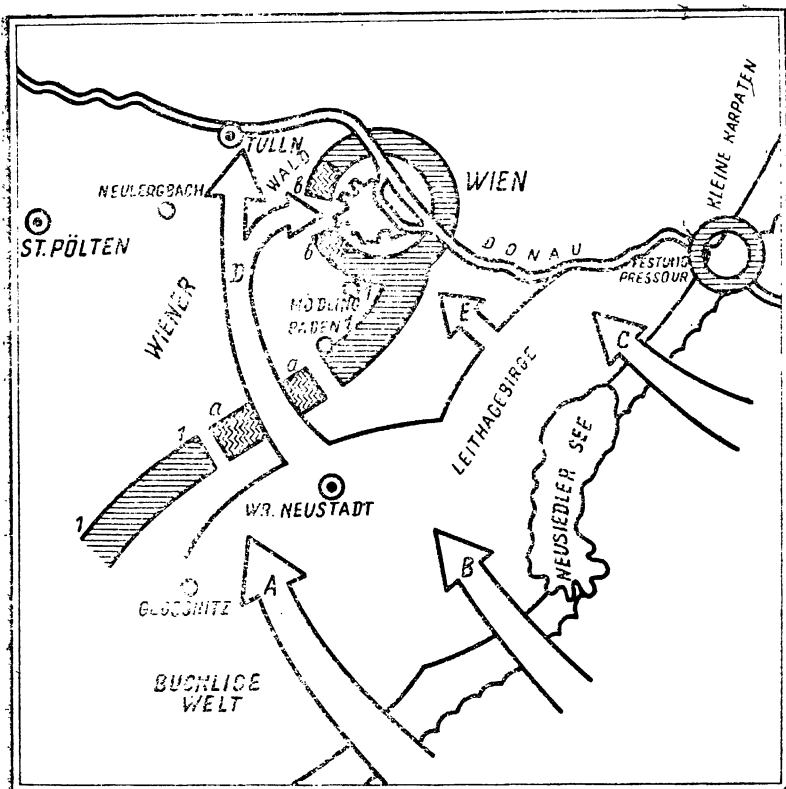
нас повезли в Хохволькерсдорф, в штаб фронта, где тут же, не дожидаясь утра, приступили к переговорам. Их вел член военного совета, генерал-полковник Желтов в присутствии генерал-лейтенанта, генерал-майора и двоих старших лейтенантов-переводчиков.

Сначала ко мне отнеслись с недоверием. Долго расспрашивали об обстановке в Австрии до 1938 года и моих политических взглядах. Затем перешли к существованию дела. Но недоверие еще проявлялось в замечаниях и вопросах генерал-майора¹. Он все время прерывал меня и своей подозрительностью вывел из себя. Даже заставил повысить голос. После этого, как ни странно, установилась атмосфера нормального доверия. Советское командование тут же связалось со штаб-квартирой фельдмаршала Александера в Италии, и договорилось о приостановке бомбардировок Вены союзной авиацией. Была также гарантирована сохранность объектов и линий высокого напряжения в зоне действия советских войск. После решения этих и других общих вопросов мы перешли к детальному обсуждению предложений по совместным действиям при освобождении Вены.

Суть этих предложений отражена на карте, доставленной Кезом в штаб маршала Толбухина (стр. 151).

Представленная копия карты является одновременно секретным планом обороны Вены и предлагаемым Соколом планом ее быстрого освобождения с малыми потерями и минимальными разрушениями. В этой карте квинтэссенция простого замысла. Тут стоило рисковать. На карте основная линия обороны, со стороны наступающих с юго-востока главных сил 3-го Украинского фронта, и кольцо обороны вокруг города Вены — заштрихованы. По предлагаемому плану крепость (заштрихованное кольцо) следовало брать не в лоб (как это часто бывало, и на что рассчитывали немцы) с юго-востока (стрелки А, С и Е), а с запада, откуда удар менее всего ожидался и оборона была значительно слабее. Кроме того, в линии обороны Сокол обозначил участки «а» и «в», обороняемые австрийскими частями. Их командиры были подготовлены к пропуску советских частей без сопротивления. К чести маршала Толбухина, он принял во внимание план Сокола, и на его основе был выработан совместный план действий. Из приведенных здесь воспоминаний Кеца следует, что этого уда-

¹ Бывший начальник политуправления 3-го Украинского фронта И. С. Аношин.



Секретная карта вермахта обороны Вены
с предложенным К.Соколом
планом ее освобождения

лось достичь в значительной мере благодаря члену военного совета фронта, генерал-полковнику Желтову, которому было поручено вести переговоры с посланцем Сокола. Если бы на его месте оказался начальник политуправления генерал-майор Аношин, то очень может быть, что Кез был бы расстрелян как провокатор или шпион. Ну а крепость, как у нас заведено, брали бы в лоб, не считаясь с потерями. И все «За Ро-о-о!.. За Ста-

а-а!!» — орут-то не погибшие, не искалеченные, а уцелевшие или вовсе не участвующие в сражении. А потери могли быть огромные. Для обороны Вены была направлена отборная эсэсовская армия, из личного резерва фюрера, под командованием не только опытного, но и удачливого генерала Дитриха.

Не знали и не знают до сих пор наши матери, кому они должны были бы поклониться, не только «За Освобождение Вены!», а за то, что десятки тысяч их сыновей, мужей и братьев не сложили свои головы в последние недели войны, при освобождении столицы Австрии. Мы же любим, любим — прямо трясемся, чтоб единственно и только нас благодарили за все и всяческие освобождения.

Странно только, почему же и Толбухин, и Желтов, и тот же Аношин сразу забыли, как вычеркнули из памяти, и Сокола, и Кеза, и других австрийских патриотов-антифашистов, в том числе и казненных Бидермана, Гута, Рашке — не доживших до победы всего одного дня и одной ночи.

У каждого из повешенных на груди щиток с надписью: «Я СОТРУДНИЧАЛ С БОЛЬШЕВИКАМИ» — это для уличного соглядатая, но по сути не в этом было дело: немецкий военно-полевой суд обвинил их в «срыве обороны города и в измене государству».

Традиция у нас, что ли, такая — забывать?.. Или кто-то специально ничего не знает и знать не хочет?.. Чего тогда удивляться, что и своих единокровных постоянно забываем, не то что не чтим, порой и не хороним по полвека... А то и сами казним.

Из рассказа Фердинанда Кеза:

«Переговоры в штабе командующего фронтом генерала Толбухина продолжались примерно до четырех утра 4 апреля. После небольшого перерыва они были продолжены и закончились только к вечеру. Уже темнело, когда мы в сопровождении старшего лейтенанта и около сорока бойцов на грузовиках отправились в обратный путь через Винернойштадт на Зоос. В целях маскировки на нас были советские шинели и меховые шапки.

Поздним вечером того же дня кортеж прибыл в Зоос, недалеко от места, где 3 апреля мы пересекли линию фронта. Нам вернули пистолеты и отобранные при пленении вещи. Было решено линию фронта пересечь в районе Линдкогель. Нам дали трофейный немецкий

автомобиль той же марки, что и наш подбитый. Но вскоре его пришлось оставить из-за того, что дорога в долине оказалась заблокированной. Дальше мы пробирались уже пешком. Обошли отступающие немецкие части прикрытия и рано утром 5 апреля вышли к перекрестку дорог. Отсюда на попутной машине добрались до Алланда. Здесь я предъявил свое удостоверение командиру эсэсовской части, они готовились занять оборону, и попытался убедить его дать нам машину для следования в Вену. Я сказал ему, что дело чрезвычайно важное и не терпит ни малейшей проволочки. Я говорил ему истинную правду, но все мои доводы успеха не возымели. Пришлось снова ловить попутную. Вскоре мы остановили автомобиль. За рулем сидел человек в коричневой форме СА, а рядом с ним нацистский крейслейтер¹. Они бежали из Винернойштадта. Они тоже не хотели... Тогда пришлось вытащить пистолет для большей убедительности, после чего крейслейтер согласился довезти нас до Вены. Днем 5 апреля нас высадили на углу Ринг-Бабенбергерштрассе».

Известие о контактах со ставкой маршала Толбухина быстро разлетелось по отрядам Сопротивления. Вечером 5 апреля Сокол созвал экстренное совещание военных. Обсуждались результаты переговоров. Распределили обязанности в совместных боевых действиях. Последние донесения о том, где проходит линия фронта, свидетельствовали, что советское командование учло сведения австрийской стороны и уже начало действия по срыву плана гитлеровцев. Наступил удобный момент для восстания.

В полночь совещание военных закончилось, и его участники разъехались, чтобы сделать последние приготовления. Майор Сокол отправился на переговоры с представителями гражданских групп движения Сопротивления. Спустя некоторое время в небе вспыхнули красные и белые ракеты. Это был условный сигнал с советской стороны о готовности к началу операции. В ответ, как было условлено, в разных частях города в небо взлетели зеленые ракеты. Соколу доложили о сигналах. Майор сделал несколько распоряжений и снова уехал в штаб гражданских отрядов, чтобы поторопить их с началом выступлений.

¹ Партийный руководитель округа.

Не прошло и часа после его отъезда, как стало известно об аресте одного из ближайших соратников Сокола, майора Бидермана. Очевидно, среди военных оказался доносчик. Нужно было спешить с началом активных действий, пока нацисты не арестовали все руководство Сопротивления. Кез отправился на поиски Сокола, чтобы предупредить его об опасности и необходимости немедленного выступления. Но найти его он не смог. Сокол вернулся только под утро и сообщил, что договорился со штабом гражданских отрядов о начале выступления в восемь вечера и что срок изменить нельзя. Он передал Кезу оперативный план восстания, согласованный с представителями всех боевых групп.

План предусматривал:

20 часов — в районах Зиммеринг, Майдлинг, Флоридсдорф боевые группы занимают исходные позиции для содействия вступлению в город Советской Армии;

21 час — сооружение баррикад в центральной части города;

21 час 30 минут — занятие важнейших правительственных зданий, арест оставшихся в городе руководящих нацистов;

23 часа 30 минут — передача города частям Советской Армии, воззвание к населению.

Сокол сделал еще несколько устных распоряжений и снова уехал... Кез отправился в арсенал — там размещалась резервная боевая группа — и передал приказ Сокола ее командиру: срочно направить караул в штаб округа, в распоряжение обер-лейтенанта Рашке для охраны здания штаба.

Выполнив поручения, Кез вернулся в штаб округа. При входе в здание путь ему преградили часовые в форме СС. От знакомого унтер-офицера Хубера Кез узнал, что в здание ворвались эсэсовцы, арестовали гауптмана Гута и обер-лейтенанта Рашке, а теперь ищут его и Сокола. Естественно, Кез не стал дожидаться, пока его опознают и схватят. Он тут же покинул здание и направился на поиски Сокола. Надо было успеть предупредить его о захвате эсэсовцами помещения штаба.

13. ПОМНИТ ВЕНА

Тем временем в боевых отрядах гражданского движения Сопротивления шли последние приготовления. Нашему отряду предстояло 6 апреля в 21 час 30 минут

вывести из строя несколько артиллерийских огневых точек, размещенных в черте города.

Я уже упоминал о югославском партизане Марко. Это был сдержанный, не очень разговорчивый, интеллигентный человек. Я бы сказал, замкнутый и властный. Но мы близко сошлись с ним и австрийские товарищи даже считали нас давними знакомыми.

Марко и мне досталась зенитная батарея, установленная в восемнадцатом районе Вены.

Рано утром 6 апреля я направился в гараж к Вилли. Там мы должны были обсудить план предстоящей операции. Решили, что сначала надо все хорошенько разузнать. Я выбрал из свободных машин, чьи владельцы бежали на запад, серенький быстроходный «Штайер» и поехал за Эрной. Это была замечательная девушка — она помогала нам и в печатании листовок, и в их распространении. Не было случая, чтобы она отказала нам в какой бы то ни было помощи. Для предварительной разведки я решил взять ее с собой и покрутиться возле батареи под видом влюбленной парочки. Эрна была дома. Она спокойно выслушала мое предложение и сразу согласилась не только прогуляться со мной возле батареи, но и принять участие во всей операции.

Честно говоря, нам особенно-то притворяться не пришлось бы, мы давно уже нравились друг другу. Она мне казалась голубоглазым воплощением этого сказочно-красивого города на Дунае. Волны ее золотистых волос, спадающие на плечи, дурманили голову. Но «долг превыше всего!», и мы корчили один перед другим «непринужденность товарищеских отношений».

Марко решили пока не беспокоить. После побега из концлагеря он скрывался на квартире у надежных друзей, и рисковать лишний раз было ни к чему.

На машине мы подъехали почти к самой батарее. Вышли и не спеша стали пробираться сквозь невысокий кустарник. О нашей роли влюбленных мы не забывали... Впереди, на возвышенности, виднелось четыре оружейных ствола. Это были зенитные орудия восьмидесяти-миллиметрового калибра, предназначенные для стрельбы по воздушным и наземным целям. Снаряд такой пушки свободно пробивал броню среднего танка. Возле орудий сустились несколько солдат в серо-сиреневой униформе «люфтваффе»¹. Мы почти уперлись в бетонный

¹ Военно-воздушные силы вермахта включали и зенитные войска. Униформа «люфтваффе» отличалась серо-сиреневым цветом.

бруствер, когда нас остановил окрик часового. При этом это был девичий голос. Оказалось, что вся оружейная прислуга состояла из совсем молоденьких девушек. В глубине площадки виднелась палатка. Возле нее, на веревке, были развешаны предметы женского туалета. Нас с Эрной, как мы и рассчитывали, приняли за влюбленную пару. Последовали завистливые возгласы и шуточные намеки. Я как бы засмущался-затуманился, и это вызвало еще более непринужденные шуточки и смех. Поговору и степени общительности можно было безошибочно определить, что это были австриячки. Я подхватил их игривый тон и выразил удивление, что вижу таких крепких, таких привлекательных девчат не в нарядах, не в объятых здоровых парней, а в постылой униформе, среди торчащих пушек! Мои довольно плоские острооты попали в цель и имели успех. Завязался разговор, девушки разоткровенничались, а их старшая, ее звали Гизела, рассказала, что первоначально они учились на курсах гражданских связисток, но из-за тотальной мобилизации были переведены в группу зенитчиц. После ускоренной подготовки их направили на батарею, а начальником поставили старого прусского вояку из «народных гренадеров». При этом он уже третьи сутки не появлялся на батарее, и они предполагают, что он, как и многие другие наши, драпанул на запад со страха перед русскими. Они не знают, как им быть, а пока рады отдохнуть от муштры и похотливых приставаний этого «народного козла».

Я спросил:

— А как вы сами относитесь к русским?

— Мы их очень боимся, — ответила Гизела. — Нам сказали, что они не щадят ни женщин, ни детей. И вообще, говорят, это дикий народ с дикими нравами!

— Ну как вы могли поверить этой чепухе? — возразил я. — Русские — обыкновенные люди, такие же, как вы, как Эрн и я. Вам их нечего бояться. Если, конечно, вы не будете стрелять в них. Отправляйтесь по домам и ничего не бойтесь. Ведь через два-три дня русские будут здесь — в Вене.

Я задал несколько вопросов о других батареях, расположенных в этом районе. Выяснилось, что до ближайшей батареи с кадровым мужским составом примерно с полкилометра напрямую, если пробираться через кустарник, а по дороге в объезд — все три. Мы дружески распрощались, и уже на ходу Эрн не удержалась и крикнула:

— Можете не сомневаться в том, что сказал мой друг, он сам русский. Прямо из Москвы! — Эти слова вызвали смех у зенитчиц, они приняли их за еще одну шутку.

Мы сели в машину и поехали на Зойленгассе к Марко. Я рассказал ему о результатах нашего посещения батареи и высказал свои сомнения:

— С какой стати мы будем штурмовать эту бабскую обитель? Да им свистни, и они сами разбегутся...

Мы решили обратиться в штаб группы с просьбой дать нам другое дополнительное задание, более серьезное, например ликвидировать соседнюю, мужскую батарею. Вместе с тем мы понимали, что оставлять эту женскую батарею просто так нельзя. Завтра девчонок заменят эсэсовцами, и тогда... Надо воспользоваться благоприятным моментом и, не применяя оружия, сделать всю батарею небоеспособной, а затем уж браться за другую. На том и порешили.

Не теряя времени, мы с Эрной отправились в штаб группы, там доложили о результатах разведки и получили дополнительное задание.

В штабе не только согласились с нашим предложением, но и выделили в помощь еще троих товарищей. Правда, я рассчитывал на большее количество бойцов, но меня заверили, что на батареях серьезного сопротивления не будет: венский гарнизон деморализован, а нацистское руководство устремилось на запад, опасаясь расправы.

По счастливому совпадению, один из наших товарищей жил недалеко от места расположения второй батареи, и он мог наблюдать за ней в бинокль из своего окна. Теперь мы располагали исчерпывающими данными о второй батарее: в дневное время там находилось не более десяти-двенадцати человек, а начиная с вечера и до утра оставалось только три человека охраны. Пушки были тщательно замаскированы. Нам стало известно, что батарея предназначалась для поражения только наземных целей и не должна была демаскировать себя раньше времени ни при каких обстоятельствах.

Обсудив подробный план действий, мы решили отказаться от предварительной разведки, чтобы заранее не вспугнуть опытных солдат и самим лишний раз не рисковать. Договорились о встрече вечером.

Домой мне ехать не хотелось, и я предложил Эрне пообедать в какой-нибудь закусочной, но она тоном, не допускающим возражений, заявила, что мы едем к ней.

Эрна жила с матерью в небольшой квартире на треть-

ем этаже. Она усадила меня на тахту в своей комнатке, а сама занялась приготовлением пищи на кухне.

Я закрыл глаза (так лучше думалось) и постарался мысленно проиграть весь ход операции. Хотелось предусмотреть каждую мелочь, все возможные случайности. Угнетал недостаток времени для более тщательной подготовки. Тревожные мысли приходили одна за другой: как поступить в случае, если зенитчицы на первой батарее откажутся добровольно покинуть ее?.. а как действовать, если вернулся их командир?.. Вопросов было много, ответов меньше.

Подошло время отправляться. Эрнэ взяла сумку с медикаментами. Поехали на Зойленгассе. Марко уже ждал нас. Мы влились в негустой поток автомашин, выехали на Марияхильферштрассе и скоро очутились за городом. Здесь, у полуразрушенного здания, я несколькими днями раньше спрятал оружие, привезенное из Санкт-Пельтена. В нашем распоряжении оказались фауст-патрон, браунинг «радом», два автомата, десятка два ручных гранат и несколько ракетниц, а также винтовки, но их мы решили пока не брать с собой. Оружие спрятали в машине под сидение и отправились в район расположения первой батареи. Там была назначена встреча с тремя нашими товарищами. Они также приехали на стареньком автомобиле. Я раздал оружие и еще раз объяснил порядок действий, в том случае если на батарее нам окажут сопротивление. Эрнэ с ракетницей осталась возле машин, чтобы подать сигнал опасности. Стрелка часов показывала 21.00. Солнце скрылось за горизонтом, наступали сумерки. Мы двинулись к батарее. Не доходя метров ста до бруствера, разделились, чтобы подойти к позиции с разных сторон. Марко и я продолжали идти прямо, а трое наших товарищей пошли в обход. До бруствера оставалось несколько шагов, а нас никто не останавливал... Что это? Уже знакомая беспечность зенитчиц или засада? У самого бруствера нас, наконец, окликнули, приказали остановиться. Я назвал свое имя и сказал, что хотел бы переговорить со старшей — фройляйн Гизелой. Меня узнали, и нам разрешили подойти. Судя по всему, на батарее оставалось все по-прежнему. Мы вручили Гизеле копию решения штаба округа о капитуляции, подписанную майором Соколом, и попросили ее ознакомить с решением о капитуляции весь личный состав батареи. Я уже

много раз замечал, что в подобных случаях действие официальной бумаги во много раз эффективней любых самых убедительных слов агитации. Сообщение было встречено с нескрываемой радостью. Мы поздравили девушек с окончанием для них войны и пожелали благополучно добраться до дома. Они не заставили себя уговаривать. Быстро собрали личные вещи, попрощались с нами и покинули батарею. Мы в считанные минуты сделали все, чтобы эти пушки уже не стреляли никогда: сняли и надежно спрятали оптические прицелы для стрельбы прямой наводкой, порубили кабели синхронного наведения орудий и вывели из строя приборы управления огнем. Про орудийные замки, разумеется, тоже не забыли.

Довольные и радостные, вернулись мы к машинам. Воодушевленные удачей, мы ехали на вторую батарею. По мере приближения к ней наше приподнятое настроение сменялось беспокойством. Орудийные расчеты этой батареи состояли из кадровых военных и народных grenадеров, солдат первой мировой войны. И хотя это были в большинстве своем уже старики, рассчитывать на то, что они добровольно уйдут с батареи, было бы наивно.

Все хорошо понимали, что успех зависит от слаженности наших действий. В случае сопротивления мы решили подорвать пушки гранатами, в том числе и заранее изготовленными связками.

Машины оставили в двухстах метрах от батареи. Дальше предстояло идти пешком.

Условились, что сигнал к атаке подаст Марко **выстрелом** из панцерфауста. Сигнал к отходу — зеленая ракета. Эрна вновь осталась у машины, а мы направились к батарее. Сначала шли вдоль каменной ограды, а когда она кончилась, пришлось двигаться ползком: местность здесь была открытой. Впереди, в нескольких шагах от нас и метрах в тридцати от огневой позиции батареи, стоял кирпичный сарай. Мы с Марко решили воспользоваться им как укрытием, поднялись, но не сделали и трех шагов, как раздался окрик «Хальт!», и прозвучала автоматная очередь. Пули просвистели над головой. Мы все же успели укрыться за стенкой сарая. Марко приготовил фаустпатрон. Сразу стало ясно, что мирно договориться не удастся. Но я все-таки решил попробовать и крикнул:

— Где командир? Переговорить надо!

В ответ прозвучало:

— Выкладывайте покороче, что вам нужно, и проваливайте отсюда, пока целы!

— У нас решение штаба округа о капитуляции. Через несколько часов здесь будут русские. Ваше сопротивление совершенно бессмысленно. Батарея окружена. Предлагаем добровольно...

Не успел я закончить фразу, как в ответ раздались выстрелы. Зазвенели, рикошетируя от стенки сарая, пули. Мелкие осколки кирпича оцарапали мне щеку. Я подал знак Марко, и он, направив панцер-фауст в ближайшее орудие, выстрелил. Взметнулось пламя, раздался грохот, и тут же, одна за другой, на позиции стали рваться гранаты. Они полетели с разных сторон. Через минуту наш запас боеприпасов был израсходован, и я вынужден был подать сигнал к отходу. Не успели мы с Марко дойти до ограды, как с батареи раздался одиночный выстрел. Марко тихо вскрикнул и начал опускаться на землю. Я подхватил его и оттащил за ограду. Правая рука его висела плетью. Пуля попала в лопатку. Вместе с товарищами мы донесли Марко до машины. Никто не преследовал нас. Батарея не подавала больше никаких признаков жизни. Кругом было тихо и безлюдно. —

Задерживаться здесь было опасно. Мы усадили Марко в машину. Эрна тут же занялась перевязкой. Рана оказалась серьезной, требовалось вмешательство врача. Мы попрощались с товарищами, попросили их доложить в штабе о результатах наших действий. Марко становилось все хуже и хуже. Временами он терял сознание. Судя по всему, нужна была операция, но о больнице, тем более госпитале, не могло быть и речи. Эрна знала одного частного врача, и мы поехали к нему. Врач осмотрел рану и подтвердил необходимость срочной операции. Сам же он помочь не мог, так как не был хирургом. Он сделал Марко болеутоляющий укол и дал нам два адреса знакомых хирургов. Мы снова отправились в путь. В одном месте врач был в отъезде, в другом — нам не решились открыть дверь. Мы не знали, что предпринять. И вот тут я вспомнил о хирурге Колесове. Начинался рассвет, когда мы подъехали к его дому. Дверь открыл сам хозяин. Без лишних расспросов он помог внести раненого в дом, сделал нужные приготовления и сразу приступил к операции. Жена и Эрна ассистировали ему. Хотя операция прошла удачно, положение Марко оставалось тяжелым. Теперь мы могли надеяться только на крепкий организм раненого. Доктор сам пред-

ложил оставить Марко у себя в доме до тех пор, пока ему не станет лучше. И попросил нас не оставлять раненого, так как понадобится круглосуточный уход за больным:

— И могут быть всякие неожиданности, — добавил доктор.

Еще перед выездом на задание мы узнали о разгроме штаба Сокола и понимали, что это может сорвать весь план общего восстания. Ночью раздавались отдельные выстрелы в центральной части города и где-то со стороны Флоридсдорфа, но здесь, на северо-западе, пока было тихо. Утром Эрна решила съездить домой, а я остался с Марко.

Вернулась Эрна к концу дня и рассказала, что в городе свирепствуют эсэсовцы, взбешенные действиями боевых групп Сопротивления. Ее несколько раз останавливали, но выручал пропуск медсестры. В штабе группы она никого не застала, но ей все же удалось связаться с Вилли. Он предупредил, что в течение ближайших суток никто из группы не должен находиться у себя дома. Надо было переждать эту последнюю волну репрессий. Лютовать нацистам осталось недолго. Части Советской Армии, как и было определено на переговорах с Кезом, упредили фланговый удар армии Дитриха и не подпустили ее к Вене.

Жена и обе дочери доктора делали все, чтобы облегчить муки Марко, вытащить его из тяжелого состояния. Более двух кризисных суток мне пришлось неотлучно пробывать в доме Колесовых, пока Марко не стало немного лучше. Он постепенно начал ровнее дышать, даже чуть улыбался и, как говорится, выплывал из глубокого и тяжелого забытья... Теперь я снова мог включиться в активную работу группы. Оставил Марко на попечении Колесовых и прежде всего поехал к Эрне — выяснить обстановку. Город словно вымер. Ни гражданских, ни военных. Где-то на юго-востоке рвались бомбы, слышался рокот самолетов, отдаленный гром орудийных раскатов.

Доехал беспрепятственно. Эрна была дома, в убежище не пошла. Она сообщила последние новости и новый адрес нашего штаба. Сказала, что Вилли ждет меня.

От всей этой стрельбы, от постоянного и многодневного напряжения, со мной приключилось то, чего никогда раньше не бывало — голова стала словно раскалываться на части; я готов был либо отвинтить ее и забро-

сильно подальше, либо разбить о ближайшую стенку. Порой казалось, вот-вот потеряю сознание... Я крепился как мог, старался ничем не выдать своей слабости, но Эрна быстро обнаружила некоторые странности в моем поведении. Тогда я попросил ее дать мне хоть пару таблеток от головной боли... Но не тут-то было.

— Раздевайся! — приказала она.

Не дала мне даже опомниться, расстегнула пуговицы моей рубашки, мигом сняла ее и добавила:

— Успокойся, пожалуйста. Никто пока не покушается на твою честь и достоинство. На целомудрие тоже!..

Слова словами, а до пояса я уже был раздет.

— Мне просто придется сделать тебе так называемый психологический массаж! — произнесла она. — Ты даже не знаешь, что это такое... И через десять минут с твоей головой все будет в полном порядке. Надеюсь, как медик, я имею на это право?

Я не мог ей ничего ответить, и обувь уже покорно снял сам.

— Распусти, пожалуйста, поясной ремень. А теперь ложись на живот и постарайся расслабиться. И ни о чем не думать!

Легко сказать «Не думай...» Я помню, как однажды пришлось побывать в подобной ситуации. Но там все было еще круче. В начале войны меня вместе с другими ранеными доставили в госпиталь. Молоденькая сестра милосердия сама раздевала меня, а потом мыла, — я весь был обсыпан землей, выброшенной взрывом, и из-за ранения и контузии самостоятельно ни раздеться, ни вымыться не мог. Помню, даже в полуживом состоянии я все равно испытывал отдаленное подобие чувства стыда и даже унижения. А она раздела меня, мыла и почему-то еще плакала... Эти воспоминания прервали легкие прикосновения рук Эрны к спине. Ее пальцы скользили, едва касаясь, по плечам, шее, вдоль позвоночника. Казалось, они источали какую-то особую живительную силу, вызвали то ощущение тепла, даже жжения, то приятной прохлады. Я не заметил, когда перестала болеть голова. Во всем теле чувствовалась легкость, появились спокойствие и уверенность. Это было похоже на волшебное обновление. Ничего подобного до того я не испытывал. Даже не предполагал, что женские руки могут обладать такой удивительной силой. Потом Эрна предложила мне лечь на спину и стала массировать энергичными силовыми движениями. Когда она наклонялась, наши лица оказывались так близко,

что я не решался даже взглянуть ей в глаза... И все-таки мне пришлось заглянуть и произнести одно слово:

— Пощади!..

— Одевайся, — сразу ответила она. — А то мы с тобой наделаем глупостей.

— А почему бы и нет? — уже вконец осмелев, проговорил я.

— Сначала поправься. Я, кажется, немного перестаралась, извини... — В ее голосе было не столько сожаление, сколько нежность.

Как бы там ни было, чего бы ни творилось вокруг, а мы в те дни были очень счастливыми, самыми близкими людьми на свете. Я не представлял себе никого другого в качестве моей будущей супруги, кроме Эрны. И, как вскоре выяснилось, она не видела никого другого на месте своего будущего мужа, кроме меня. Это была настоящая любовь.

Одной из задач нашей группы было выявление и обезвреживание «вервольфа», в переводе с немецкого — оборотней. С ними и их планами мне пришлось познакомиться несколько раньше.

По замыслу нацистов, «вервольф» должен был стать подпольной террористической организацией. Ее цель — реванш за поражение в войне. Предполагалось создать подобие нашему партизанскому движению, только с высокой степенью немецкой организации. Однако из этого ничего не вышло. Настоящая партизанщина — это все-таки чисто русское изобретение, и для его реализации, по-видимому, надо в предках иметь скифов, которые в непрерывном отступлении умудрялись побеждать даже римских легионеров.

Где-то в конце зимы 1944—45 года, выполняя заказ транспортной фирмы, я доставил днем в один из окраинных кабаков несколько ящиков вина.

На складе меня предупредили, что в ящике с голубыми наклейками — дорогое бургундское. Подъезжая к кабаку, я обратил внимание на «Оппель» с эсэсовским номерным знаком. Официант попросил отнести ящики с вином в подсобное помещение. Хозяин же кабака в это время разговаривал с офицером в форме СС. Я был в комбинезоне грузчика, и когда проходил мимо них с ящиками, они на меня не обратили внимания. В их разговоре я уловил слово «вервольф» и по отрывкам фраз понял, что эсэсовец приехал забронировать зал на вечер для какого-то собрания.

На обратном пути я заехал к Вилли в гараж и рас-

сказал ему об этом. Вилли был знаком с хозяином кабака, и вечером мы отправились навестить его. Посторонних в кабачок не пускали. Вилли переговорил с хозяином, и нас, под видом родственников, усадили за служебный столик, отделенный от зала легкой перегородкой и занавеской.

К восьми часам вечера начали съезжаться гости. Большинство были в штатском, в том числе и уже знакомый мне эсэсовец.

Со своего места мы могли не только все слышать, но и видеть лица участников. Главенствовал здесь рыжеволосый толстяк с глазами навывкате. Собравшиеся много пили, громко разговаривали, провозглашали тосты. Смысл сказанного сводился к одному — «они будут продолжать непримиримую борьбу при любом исходе войны!».

— Рано или поздно идеологические разногласия между сегодняшними союзниками выльются в новую войну. И тогда придет наш день, — говорил рыжий. — А пока беспощадный террор и диверсии — вот основная программа «вервольфа». Надо уже теперь открыто заявить всем трусам и капитулянтам о наших намерениях. И о нашей беспощадности! Мы превратимся в настоящих оборотней и никто не узнает нас, когда мы начнем действовать. Жестоко и решительно! Мы наденем форму наших врагов, примем их обличье и будем мстить и своим, и чужим. Мы вселим страх и ужас. Борьба только начинается!.. — неистовствовал рыжеволосый.

Слова, слова, слова... Я всматривался в их лица, старался запомнить наиболее активных. Наспех сделал несколько карандашных набросков наиболее характерных и выразительных лиц — тех, что сами просились на карандаш.

Я сразу понял, что это не были нормальные немцы или австрийцы, а эсэсовская смесь конца войны (Эрзац-с). Скорее всего это были военные и партийные бонзы, показательные и, как всегда, оголтело патриотичные. Они не скрывали своих намерений. Этими наглыми откровениями хотели или еще больше запугать напуганных, или подбодрить самих себя. Они все еще считали себя властителями душ. К местному населению относились высокомерно и мало заботились о конспирации. Как известно, вся эта вервольфская затея провалилась.

К нам подсел хозяин. Он тоже все слышал и произнес немецкую поговорку, очень близкую по смыслу русской:

— «Нашему теляти да волка бы сожрати».

Хозяин подозвал официанта и сказал, чтобы тот принес бутылку вина из ящика с голубыми наклейками.

— Хочу угостить вас настоящим вином. Две бутылки тому, кто отгадает марку вина!

Я вспомнил про ящик, доставленный мною сюда сегодня днем.

— Это бургундское, — сразу сказал я, чтобы не тянуть.

— Вы выиграли. — Хозяин был несколько обескуражен. — Но каким образом вы угадали? Ведь об этом никто не знал, кроме меня?..

Прежде чем завершить повествование о венских событиях, следует вернуться немного назад.

Что же происходило в штабе округа 9 апреля 1945 года? В результате доноса нациста Ганслика туда ворвалась группа эсэсовцев во главе с майором Нойманом. Для рассказа об этих событиях воспользуемся подлинными свидетельствами очевидцев, приведенными в ранее упомянутой книге австрийского историка Ф. Фогля.

Свидетельство сотрудницы штабной канцелярии, дежурной по штабу Маргариты Нетч

...— Утром, 6 апреля, в дверях появился майор Нойман, начальник штаба крепости, в сопровождении нескольких офицеров и солдат СС.

Он спросил:

— Где майор Сокол?

Обер-лейтенант Рашке ответил, что Сокол у себя дома, у него приступ печени.

Тогда майор Нойман выхватил пистолет и заорал:

— Руки вверх!

Эсэсовцы тут же обезоружили обер-лейтенанта Рашке и гауптмана Гута, который спал в соседнем кабинете. Их отправили в комендатуру. Мне приказали оставаться возле телефона и ничего не говорить о происшедшем, а если позвонит Сокол, то передать, чтобы он явился в штаб. Когда Сокол действительно позвонил, я сделала вид, что звонит не он, и сказала, что обер-лейтенант Рашке с майором Нойманом находятся в комендатуре и, вероятно, сюда не вернутся.

После передачи дежурства фройляйн Рорер я находилась под стражей в кабинете Сокола. 8 апреля,

в первом часу ночи, меня вызвали на допрос. Его вел сотрудник СД:

На вопрос, где Сокол, я ответила, что не знаю. Тогда с меня сорвали пальто и надели наручники.

— Скажешь ты, наконец, где эта свинья прячется? — орал гестаповец.

Не добившись от меня удовлетворительного ответа ни на один вопрос, они стали угрожать расстрелом и били. Моего отца, полковника Нетч, тоже арестовали.

Свидетельство Шарлотты Рорер, секретаря майора Сокола

...— Как только я приняла дежурство у фройляйн Нетч, мне приказали, если позвонит майор Сокол, сказать, чтобы он явился в штаб.

Когда он позвонил, я сумела предупредить его. Мне также удалось незаметно уничтожить кое-какие подозрительные бумаги в ящике моего стола. Затем меня, так же как и фройляйн Нетч и других задержанных, посадили под арест. На допрос вызвали 8 апреля, примерно в два часа ночи. Угрожали пытками. Спрашивали об отношениях с майором Соколом. Я сказала, что отношения были служебными и не затрагивали политики. Следующий вопрос касался многочисленных посещений штаба гражданскими лицами. Я объяснила это их принадлежностью к фольксштурму. Еще перед допросом я узнала, что мой жених гауптман Гут приговорен к смертной казни. Перед тем как меня отпустили, я обратилась с просьбой к майору Нойману разрешить мне увидеться с моим женихом. На это он ответил: «Сегодня на Флоридсдорфской площади изменник будет вздернут, вот тогда и повидаетесь с ним».

Свидетельство лейтенанта Герберта Носсека, офицера штаба

...— По заданию майора Сокола я должен был склонить на нашу сторону начальника радиостанции штаба обороны лейтенанта Венигера, чтобы обеспечить радиосвязь с русским командованием. Венигера я знал еще с детских лет. Но это была довольно опасная затея. Радиопеленгаторы, установленные в Эйхграбене и Клостернойбурге, контролировали все пространство. Все же нам это удалось, и связь с советским командованием была установлена.

В четверг, 5 апреля, рано утром, мне передали приказ Сокола возглавить отряд из десяти человек и быть готовым к захвату виллы гауляйтера Вены — Шираха. Его самого мы должны были арестовать. Но в 12 часов получили отбой. Стало известно, что Ширах в 11 часов бежал из Вены в направлении Амштеттена.

В 23 часа нас созвал Сокол и сообщил, что с 24 часов вступает в действие Программа I (план восстания).

С крыши здания штаба мы увидели в ночном небе условные сигнальные ракеты русских и поняли, что все идет по плану.

Утром следующего дня я отправился на запасную квартиру Сокола в Шредгассе, чтобы получить дальнейшие указания. Здесь меня дождался адъютант Сокола Ничше. Он сообщил новый адрес на Везендорферштрассе. Там я получил карту с нанесенной на ней военной обстановкой. Все это я должен был переправить в штаб маршала Толбухина в Лаабе.

Вскоре мне стало известно, что штаб округа в Вене захвачен эсэсовцами... Но Сокола им схватить не удалось. Он в это время находился на одной из запасных квартир. Дальнейшие распоряжения от него поступали через его шофера Райфа.

Незадолго перед этими событиями я встретился в казино с майором Нойманом. Он был в хорошем настроении, похлопал меня по плечу и сказал:

— Вы венцы — все плуты. Вы боретесь против нас и сотрудничаете с русскими. Но хотите вы этого или нет, Вена будет обороняться так же долго, как Будапешт, или же по моему приказу она будет превращена в развалины...

К счастью, этим намерениям не суждено было осуществиться благодаря стремительным действиям советских армий и самоотверженной борьбе австрийских патриотов-антифашистов.

Суд над майором Бидерманом, гауптманом Гутом и обер-лейтенантом Рашке состоялся 6 апреля в помещении военной комендатуры на Университетштрассе. Нацистский суд приговорил Бидермана к смертной казни. Показания против него давали лейтенант Ганслик и ефрейтор Павек.

Первоначально гауптман Гут и обер-лейтенант Рашке допрашивались как свидетели, но затем, по указа-

нию генерала Дитриха, они были взяты под стражу и отправлены в гестаповскую тюрьму на Морцинплатц.

8 апреля полицейский суд также приговорил их к смертной казни. Все трое обвинялись в подготовке сдачи Вены без боя, в срыве оборонных мероприятий и содействовании контактам с представителями Красной Армии.

В тот же день патриоты-антифашисты Карл Бидерман, Альфред Гут и Рудольф Рашке были повешены. Но расправиться с Соколом и Кезом, а также разгромить гражданские отряды Сопротивления эсэсовцам так и не удалось. Группа саперов, руководимая Соколом, предотвратила взрыв единственного уцелевшего моста через Дунай и удерживала его до подхода передовой части Советской Армии. При этом практически вся группа была уничтожена...

Казнь майора Бидермана, гауптмана Гута и обер-лейтенанта Рашке

Сообщение народного ополченца Фердинанда Г.

Г. находился в воскресенье, 8 апреля 1945 года в служебном патрулировании во Флоридсдорфе (окраинный район Вены. — Б. В.). В 15.15 он увидел много подъехавших грузовиков с эсэсовцами и около тридцати полицейских, занявших посты у дома зодчего Ф. Дитля на Флоридсдорфской площади. Лейтенант СС отдал приказ об удалении с площади гражданских лиц. После установки оцепления подъехал большой автобус и остановился у дома № 5. По приказу лейтенанта эсэсовец принес из автобуса небольшую лестницу и веревку. Он приставил лестницу к столбу у автобусной остановки, поднялся по ней и закрепил на столбе конец веревки. То же самое он сделал на двух других столбах. Затем он подозвал двух эсэсовских солдат (иностранцев) и крикнул:

— Выходи!

Дверь автобуса открылась, и появился офицер лет шестидесяти, без погон, со связанными руками. На груди щиток с надписью: «Я сотрудничал с большевиками». Двое эсэсовцев отконвоировали офицера к столбу.

Лейтенант крикнул:

— Поднять!

Офицера приподняли, лейтенант накинул петлю на

шею и по команде оба подручных стали тянуть жертву вниз. Это длилось недолго, пока у повешенного не высунулся язык.

Второй приговоренный офицер, прежде чем быть повешенным, крикнул:

— С Богом и Австрией!

Это привело лейтенанта в бешенство. Приговоренный выскользнул из петли и упал на спину. Лейтенант прыгнул с лестницы и наступил офицеру на горло. Двое эсэсовцев связали ему ноги, а лейтенант ударил его штык-кинжалом в лоб. После чего офицера повесили. Так же повесили и третьего офицера. Лейтенант собрал своих людей и, посмеиваясь, сказал:

— Дело сделано.

На вопрос собравшихся жителей, кого повесили, лейтенант отвечал:

— Это не венцы и не австрийцы, это предатели...

Жители, присутствовавшие при казни, выкрикивали эсэсовцам:

— Для вас тоже найдется место и веревка!

Проведенные нацистами аресты и казни хотя и нарушили действия отдельных боевых групп и помешали полному осуществлению всего задуманного, но основные операции по срыву планов гитлеровцев и сохранению Вены были выполнены. Действия движения Сопротивления оказали существенную помощь Советской Армии. Они практически полностью парализовали обороноспособность венского гарнизона и ограничили маневр нацистских спецслужб и частей СС.

В городе уже несколько дней не работали магазины. Часть из них, так же как и многие склады, были разграблены. Инициаторами грабежей преимущественно выступали иностранные рабочие. Они раньше других оказались в бедственном положении: ни крыши над головой, ни продовольственных карточек, ни очага, где можно было бы хоть что-то приготовить...

Моя новая квартирная хозяйка фрау Ольрог, у которой я был на полном пансионе, горестно разводила руками. В доме, кроме небольшого запаса картошки и крупы, ничего не осталось. И все же хозяйка умудрялась целую неделю кормить меня обседами, каждый день меняя меню. Она даже обижалась, если я опаздывал к обеду в эти дни.

Милая старенькая фрау Паула Ольрог, она была истинной венкой, доброй, аккуратной, умеющей вкусно готовить.

С Эрной наши отношения были достаточно определенными. Мы решили стать мужем и женой, как только выяснится мое положение. Она была согласна отправиться вместе со мной туда, куда меня пошлют... Или ждать меня — столько, сколько потребуется... Но ни мне, ни тем более ей и в голову не приходило, куда у нас могут заслать... А уж тех, кто умеет любить и жертвовать собой — и подавно. И сколько лет у нас надо ждать...

Уже гремели завершающие бои. Сузилась до предела, вытянутая ранее на тысячи километров, главная линия фронта — сузилась и превратилась в кольцо вокруг Берлина. Еще немного, и кольцо стянется в петлю вокруг того места, откуда началась эта война, — петлю вокруг Рейхстага и Рейхсканцелярии.

Передовые части Советской Армии очищали район за районом Вены от разрозненных групп эсэсовцев. Первая колонна танков и бронетранспортеров добралась и до нашего района. С балконов и из окон домов свешивались белые полотнища капитуляции и красно-белые флаги независимой Австрийской Республики. Жители сперва нерешительно, потом посмелее стали выходить на улицу, приветствовали танкистов.

Машины остановились. Из первого танка вылез чумазый командир в промасленном комбинезоне. Он знал несколько немецких слов. Его окружила толпа. Завязалась беседа. Я еле сдержал себя, чтобы не подойти к нему, обнять, заговорить по-русски. Но война еще не окончилась, а для меня вдвойне — ведь я все еще оставался Вальдсмаром Витвером.

Вслед за первыми частями Советской Армии начали подтягиваться обозы. Недалеко от нашего дома появилась походная кухня. Ее обступили дети. От ароматного запаха русской каши просто «кружилась» голова. Расторопный повар не чурался добровольными помощниками. Ребята подтаскивали хворост. Несколько женщин принесли из дома стулья, уселись вокруг большого таза и старательно чистили картошку. Детвора уже получила по первому куску хлеба. Отношения налаживались...

Вскоре после того как Вена была очищена от остат-

ков гитлеровцев, сюда прибыл маршал Толбухин, и состоялась его встреча с руководителем движения Сопротивления Карлом Сцоколлем (Соколом).

14. «УРА! НАШИ!»

Заканчивалась моя деятельность в группе «Веринг». Тяжело было расставаться с Веной, но еще тяжелее — покидать верных товарищей, близких друзей. Они уговаривали меня остаться хотя бы еще на год, предлагали должность референта в только что сформированном правительстве республики, брались уладить этот вопрос с советским командованием. Однако желание вернуться домой было неодолимо. Я отказался от всех предложений. Для моей страны война еще не окончилась. А значит, и для меня.

В те дни я был занят составлением отчета об участии в движении Сопротивления, но успел только собрать некоторые документы...

Поздно вечером, 19 апреля, в дом, где я теперь жил, явились двое советских военнослужащих и предложили ехать вместе с ними. Куда и зачем, не сказали. Внизу уже ждала машина. Примерно через час мы прибыли в Баден, небольшой городок юго-западнее Вены. Здесь размещался штаб Толбухина. Меня поместили в просторную комнату на втором этаже богатого особняка со множеством лепных украшений. Снаружи здание охранялось автоматчиками. Сюда же доставили майора Сокола. Мне сказали, что в ближайшие дни нас, вероятно, отправят самолетом в Москву. Пока с нами никто не разговаривал, мы могли общаться между собой и нас неплохо кормили.

Так прошло четыре дня. О нас словно забыли. Я получил возможность ближе познакомиться с Соколом. Прежде я его видел всего один раз, когда вместе с Вилли присутствовал на совещании руководителей групп. Сокол был человеком невозмутимым и даже, как мне показалось, на редкость спокойным. Его карие глаза искрились еле заметной насмешкой и не задавали вопросов (а ведь как-никак это были «НАШИ» игры, и «НАШИ» фортеля могли бы вызывать недоумение у Сокола). Его мягкий голос будто призывал к выдержке и терпению. В сочетании с невысоким ростом, весь его облик как-то не вязался с той ролью легендарного руководителя всего движения Сопротивления Австрии, которую он так долго и результативно выполнял. Он ока-

зался общительным, эрудированным и добрым собеседником. Интересовался Москвой, русским языком. Старался с моей помощью увеличить небольшой запас известных ему русских слов, фраз и, нужно сказать, быстро достигал в этом направлении определенных успехов. Время шло для нас незаметно.

В один из дней нашего не совсем понятного заточения я увидел небольшую заметку во фронтовой многотиражке (возможно, это был «Боевой листок», отпечатанный типографским способом). Газетку кто-то случайно обронил в доме, а может быть, мне ее подбросили... В ней сообщалось, что успешное проведение всей Венской операции стало возможным благодаря действиям СМЕРШа и отряда Дунайской флотилии. В результате — наряду со всеми прочими успехами, удалось сохранить от разрушения город Вена... и т. д., и т. п. ... Там же сообщалось о представлении к правительственным наградам широкого круга участников операции. Но ни словом не упоминалось в ней ни о Соколе, ни о роли австрийского движения Сопротивления. Эта заметка вызвала у меня чувство жгучего стыда за соотечественников. Я не знал, как сказать об этом Соколу. Решил отложить этот неприятный разговор, по крайней мере, до следующего дня и обдумать все подробно. Кое о чем я уже начал догадываться.

А к вечеру за мной пришли. И как ни в чем не бывало сержант повел меня в соседнее здание. Там, в просторном, ярко освещенном кабинете, я предстал перед очи щеголеватого майора, одетого в новенькие, с иголочки, китель и бриджи — при золотых погонах! Он держал в зубах сигарету «Джонни», небрежно перебрасывал ее из одного угла рта в другой, подражая блатным манерам. Он остановил на мне профессионально-испытующий взгляд и обратился к девице с погонами лейтенанта. Ее гимнастерка, туго перехваченная ремнем, подчеркивала отменную пышность ее форм.

— Спроси-ка у этого ...уева фон-барона!.. Знает ли он, с кем имеет дело? — Начало было многообещающим.

(В моих немецких документах, в целях конспирации, я действительно значился как фон Витвер.)

Переводчица, видимо, привыкшая к лексическим изыскам, не моргнув, перевела вопрос и довольно точно. Я поблагодарил ее и ответил по-немецки, что ее помощь нам не потребуется, поскольку я русский язык знаю не хуже ...уева майора.

— Что он там хрюкает на своем свинячем языке?

Со мной так даже в гестапо не разговаривали, и я ответил ему:

— Судя по мундиру, я имею дело с советским офицером; что же касается «свинячего», то это язык Маркса и Энгельса, — мне захотелось уязвить майора. — Этим «свинячим» языком в совершенстве владел Владимир Ильич Ленин!

Майор сначала чуть не поперхнулся, а в следующее мгновение обрушил на меня поток похабщины — это у него, по всей вероятности, был такой прием в следственной работе. И все это по-прежнему в присутствии женщины: «Боже, как я, оказывается, отвык от всего родного» — и за какие-то два с лишним года!

Он добивался от меня — «всего ничего» — отказа от того, что было в моем письменном отчете; рвал у меня на глазах документы, подтверждения, справки и сами листы отчета; еще я должен был наскоро признаться в сотрудничестве с парой иностранных разведок, и не каких-нибудь заурядных, а самых знаменитых; требовал полного признания в добровольной сдаче в плен — якобы в добром здравии и при оружии, — а это, как раз именовалось, по приказу Верховного, «изменой Родине!»; и еще надо было письменно отречься уж совсем не известно от чего... Вот и все.

Несколько раз майор хватался за кобуру, грозил пристрелить тут же — но вскоре убедился, что этот прием на меня не действует... В конце концов он мне окончательно надоел.

— Отказываюсь отвечать на ваши вопросы, — сказал я. — И вообще разговаривать с вами больше не буду. — Я потребовал у смершевца встречи с представителем фронтовой разведки.

Как и следовало ожидать, моя строптивость не осталась без последствий — он тут же отправил меня в подвал, именуемый карцером. Где только они находят такие занюханые и загаженные трущобы — талант особый!.. Тусклый электрический свет едва проникал снаружи через крохотное оконце у потолка. На полу спали несколько человек. Под ногами хлюпала грязь. Поверхность стен была влажной и липкой. В подвале раньше хранился уголь. Когда рассвело, можно было разглядеть на каменной стене следы пуль и бурые пятна крови. Видно, здесь же расстреливали... Я опустил на корточки, не решался лечь вместе с другими в липкую жижу... Горькая, ядовитая обида поразила меня, и ненависть — ненависть к недоумкам вытеснила все другие

ощущения. «За что?.. После всего, что было позади!..» За все годы со мной ни разу такого не случилось; я почувствовал себя совсем маленьким — меня душили слезы...

Всю ночь я не сомкнул глаз, еще надеялся, что произошла какая-то нелепая ошибка и вот-вот все выяснится, и майор будет юлить и извиняться — просить прощения!.. Но перед рассветом весь жизненный опыт, а главное, интуиция забарабанили изнутри, стучали в висках и кричали: «Ду-у-урак! Идио-о-от!.. Вот и приехали!.. Ты до-о-ома!.. Ура, кретин!.. Это НАШИИ!». И там же вспомнилась паршивая газетенка: так вот, оказывается, в чем дело?! А я ни слова не сказал Соколу... Теперь уже проклинал себя и почти не сомневался в правильности своей догадки: негодяи из ведомства Абакумова¹ приписали себе заслуги в успешном осуществлении Венской операции. А действительных ее участников, австрийских борцов Сопротивления, решили устранить... Я-то и подавно торчу в числе самых ненужных свидетелей (если бы еще пошел на сговор, то-сё...). Меня-то они уничтожат первым.

Догадка моя стала еще реальней, когда выяснилось, что в подвале вместе со мной были люди (преимущественно советские военнослужащие), приговоренные военным трибуналом к расстрелу. В основном — за мародерство. Теперь они ожидали приведения приговора в исполнение или помилования.

И снова жизнь моя повисла на волоске. Еще несколько раз меня вызывал майор и демонстративно рвал и бросал в мусорную корзину документы о действиях боевых групп движения Сопротивления.

— Все это ложь! — орал он. — Никакого движения Сопротивления не было, и твоего участия в нем тоже. Ты добровольно сдался в плен, и тебя следует расстрелять! Изменник Родины!

«ИЗМЕННИК РОДИНЫ!..» — Так кто кому изменил?.. Для меня это означало, что «не я изменил...», а «Родина изменила мне». Майор, сам того не ведая, кажется, был близок к истине. Я ответил ему, что в плен сдаваться не помышлял, что меня взяли раненого, как и многих других.

— А почему ты не вцепился зубами в руку фашиста, который поднимал тебя?

¹ Начальник СМЕРШа. После смерти Сталина приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

— Чтобы быть застреленным? — спросил я.

— Да! Су-ука!.. Чтобы быть застреленным за Родину! — кричал следователь.

Я помню, как в харьковском котле один такой герой у меня на глазах оторвал звезду с рукава своей гимнастерки (знак политработника) и землей лихорадочно затирает оставшийся на материале след. А когда оказалось, что след все же проглядывает, приказал бойцу, который находился с ним рядом и наблюдал всю эту картину, поменяться с ним гимнастерками. Приказал и добился исполнения этого гнусного приказа. Забыть не могу... Майор ассоциировался у меня с этим проходившим.

Я не удержался и брякнул:

— Хотел бы посмотреть, как в той ситуации укусил бы фашиста ты...

Что было дальше, рассказывать бессмысленно, да и унижительно. Или он отродясь был бешеный, или взбесился вконец.

А вообще-то следователю СМЕРШа нужно было найти, подобрать, обнаружить изменника! «Подонки, ничтожество, тип без стыда и совести» — вот этот образ он и создавал. Ему нужно было, чтобы всю его бездарную фантазию я бы ежечасно подтверждал своей подписью. И наверное, чтобы я еще восхищался его следовательским гением. Я уже начинал понимать, что он не остановится в достижении своей цели ни перед чем. Все худшее, что могло прийти ему в голову, он тут же приписывал мне и радовался, что вся эта муть и гадость влетела ему в башку. Я стал догадываться: он — мой истязатель и уродователь — не только не одинок, но представляет целую когорту исторических выродков. Надо было искать ответы на вопрос: откуда такие могли вылупиться?! Но для этого следовало, как минимум, выжить. А здесь это было труднее, чем в харьковском котле и в эссенской бомбежке.

Оказалось, просто выжить на этой войне — остаться в живых! — и есть самое тяжкое преступление. В СМЕРШе решили, что «такое, просто так, не бывает; если бывает, то вот тут как раз и надо искать преступную подоплеку». Лучше бы они откровенно заявили: «Не вызывает подозрений и освобожден от ответственности только убитый!.. Но и тут еще надо проверить».

В одну из передышек, рассматривая фотографию сестер Колесовых, Лили и Танюши, он спросил:

— А эти бляди обе твои?

— Вглядитесь внимательно, майор, одна из них еще подросток. Я растлением малолетних не занимаюсь.

Даже такая, осторожно построенная фраза, вызвала у него новую бурю. Тут он позволял себе больше, чем я бы мог рассказать, не рискуя впасть в мстительность или область половых и сексуальных извращений.

Тогда я еще не мог знать, что тем временем в Вене происходили довольно странные события. Президентом республики стал престарелый Карл Реннер, тот самый Реннер, который еще в 1918—1920 годах был федеральным канцлером Австрии и позднее выступал за присоединение Австрии к Германии. Его доставили в Вену НАШИ — представители того же СМЕРШа, по указанию Верховного главнокомандующего. В прошлом австро-марксист, Реннер, видимо, вполне устраивал наших.

А вот что касается Сокола, действительного организатора австрийского Сопротивления, то он в это время находился в Бадене, тоже в подвале, но другом. Более того, был распространен слух, что он погиб от рук гестаповцев, кажется, вместе с Кезом. О том, что Сокол и Кез остались живы, мне стало известно много позже. При этом вскрылись такие подробности, что сама правдивая реальность могла бы вздыбиться и рухнуть на землю.

(Из рассказа майора Сокола):

— «Как видите, я жив. За мой арест нацисты назначили премию в 10 тыс. германских марок... В первый же день после освобождения Вены меня и одного из руководителей компартии Австрии Эрнста Фишера принял военный комендант города генерал Благодатов. Он сразу же предложил мне возглавить полицию Вены, продолжить сотрудничество и взаимодействие с Советской Армией, так удачно начатое операцией «Радецкий». Я не скрывал от Благодатова свое беспокойство тем, что на освобожденных территориях стран Европы создаются монопартийные структуры государственного управления. Ни Благодатов, ни Фишер не возражали против формирования многопартийного правительства. Советский комендант в знак признательности за участие Сопротивления в освобождении Вены подарил мне самый современный радиоприемник...»

Из публикаций:

«После встречи с генералом Благодатовым Сокол

отправился в городскую ратушу. Примерно к 16-ти часам было принято первое совместное решение о порядке жизни города и подготовлено обращение к жителям Вены...

Работа была прервана появлением солдата по имени Митя и представительницы левой группировки Сопротивления Хрдлички. Митя предложил Соколу пойти с ним во дворец Ауэрсберг, где якобы требовалось его присутствие как главы венской полиции. Сокол категорически отказался — обстановка в городе требовала принятия скорейших решений. Митя ушел, но уже через 20 минут вернулся в сопровождении майора, который потребовал поехать вместе с ним...

Черный лимузин рванул с места, но помчался в противоположном направлении от дворца Ауэрсберг. Остановились на Маркграф Рюдигештрассе. Сокола обыскали, отобрали все личные вещи, вплоть до подтяжек, и отвели в подвал. Потом начались допросы, многочасовые изнурительные. Сокол понял, что его обвиняют в желании вкратиться в доверие советскому командованию и не позволить совершиться в Австрии революционным изменениям.

— Ты английский, американский шпион! — твердили следователи... — Ты хотел выведать и выдать наши планы... Возвращаясь с допросов, Сокол мучительно анализировал ситуацию... Русское военное командование полностью одобрило его действия и в знак доверия назначило главой венской полиции. Тогда кто же эти офицеры, обвиняющие его в предательстве?

Уже в 1942 году Сопротивление делало все, чтобы австрийские военные части покидали боевые позиции и тайно возвращались домой. Сокол налаживал связи с антифашистами не только в Австрии, но и в других странах. Его посланец искал контакта с Раулем Валенбергом, а через него с австрийскими частями в Венгрии.

После изнурительных допросов Сокола переправят в Баден. Там он встретится с Борисом Витманом — русским разведчиком, участником немецко-австрийского Сопротивления — и поймет наконец, что оба они пленники СМЕРШа.

Его жизнь была в руках тех, кто приписал себе все заслуги Сопротивления по освобождению Вены и повесил себе на грудь ордена и медали. По их версии, «лоцманами» были они, смершевцы, первыми якобы вступившие на улицы Вены. Сокол не устраивал их как живой свидетель истины и как политический деятель, спо-

собный помешать левым единолично захватить власть.

Конечно, исчезновение Главы Соппротивления не могло пройти бесследно. Вот тогда-то по городу и был пущен слух, что Сокол то ли в Москве, где его готовят на должность нового главы правительства, то ли у американцев, которые собираются сделать то же самое. («Московские новости», № 36, 9 сентября 1990 г.)

Из подвала в Бадене Сокола отправили в лагерь военнопленных под Веной и собирались этапировать прямоком в Сибирь. Там бы он надежно затерялся. Но не тут-то было — это был не тот человек, не для этого он прошел всю школу тяжеленного подполья. Он не стал испытывать судьбу на прочность, тут же совершил побег из лагеря и сам явился в советскую комендатуру. Его встретили с радостным удивлением: дескать «чего только не учудят от усердия и неразберихи?!»... Внезапное исчезновение главы венской полиции поразило военных. Комендант города объявил о его розыске. Благодатову было нетрудно догадаться, кто, вопреки его желанию, хотел по-своему распорядиться судьбой героя Соппротивления. Сокола больше не пытались арестовать. Всесильная абакумовская служба СМЕРШ порой, вероятно, все-таки пасовала перед боевыми частями армии, опасаясь прямой конфронтации.

И снова из высказываний Сокола:

— «Меня ждала судьба Рауля Валенберга. Но Советская Армия второй раз спасла мне жизнь. Я помню это и буду помнить всегда. Мрачная встреча со СМЕРШем не изменила моего огромного уважения к советскому народу».

К сожалению, мы уже не сможем покаяться перед Раулем Валенбергом, перед тысячами польских офицеров, уничтоженных энкаведистами в Катынском лесу, так же, как и перед миллионами других невинных жертв ВЧК-НКВД-КГБ-СМЕРШа и их крестных отцов в КПСС. Впору, пока не поздно, покаяться бы перед случайно оставшимися в живых...

В подвале обреченных я каждую ночь ждал исполнения майорской угрозы и уже как-то даже свыкся с этой мыслью. Но было обидно погибать по вине какого-то злобного болвана, да еще от самых что ни на есть своих. И это после стольких испытаний! Одних побе-

гов, совершенных мной в тылу у немцев, я посчитал — четыре... А теперь всерьез начал обдумывать пятый.

Все чаще поглядывал я на зарешеченное оконце под потолком. Оно напоминало мне о побеге из жандармерии в Сумах. Размеры оконца и его расположение паразитально совпадали. Только здесь оно выходило на застекленную террасу, где постоянно стоял часовой. Ночью, правда, он нередко засыпал и слышен был его храп.

Однажды, когда нас выводили в туалет, я незаметно подобрал небольшой металлический стержень. В общем-то железяка, но с ее помощью можно было бы отогнуть крепления решетки. Я понимал, что шансов на удачный побег очень мало. Но когда и где их у меня было много?.. Никогда. Нигде... Правда, все сильнее ощущалась физическая слабость — ведь уже около месяца я находился в сыром подвале, настолько тесном, что лежать можно было только на боку. От недостатка кислорода часто наступало полуобморочное состояние, а то и обмороки. С каждым днем потери сознания становились все чаще и продолжительнее. Меня тогда еще поражало, что условия содержания были ничуть не лучше, чем в немецком концлагере. Даже хуже!.. Но ведь здесь мы-то были «свои», а с нами обращались хуже, чем с бывшими врагами. Я стал терять последнюю надежду на то, что НАШИ как-нибудь разберутся и восстановят хоть подобие справедливости.

Вероятно, я все-таки попытался бы бежать, если бы не странный и, как мне показалось, предостерегающий сон. Впрочем, порой трудно было определить грань между постоянным полуобморочным состоянием и сном. А привиделась мне — собственная казнь. Но не от пули карателя в затылок, не на виселице, что однажды чуть не свершилось наяву, когда я пробирался по немецким тылам в Сумы. На этот раз орудием казни была гильотина. Ее нож был похож на огромный сверкающий полумесяц. Чтобы видеть, как он будет падать на меня, я повернулся на спину (так же, как делал это при бомбежках). Нож опускался почему-то очень медленно. Но вот он коснулся открытой шеи, я почувствовал прикосновение холодного железа и — проснулся... В шею мне упирался припрятанный во внутренний карман стержень. Я посчитал сон плохим предзнаменованием и отложил побег.

Прошло больше недели. Меня вызвали снова. Когда поднимался, потерял сознание и пришел в себя в не-

знакомом кабинете. Передо мной сидел молодой темно-волосый капитан. Он представился офицером фронтовой разведки. Протянул пачку «Казбека», предложил закурить. После первой же затяжки у меня голова пошла кругом, и я испугался, что снова потеряю сознание. Но все обошлось. Капитан, видимо, располагал какими-то новыми данными. Это чувствовалось по его нормальному, ровному отношению ко мне. А это само по себе уже подарок. На протяжении нескольких часов, с небольшими перерывами, он внимательно слушал мой рассказ, делал пометки в блокноте. Не скрыл своего негодования, когда узнал, что майор уничтожил почти все документы. Он пообещал мне, что постарается их восстановить, и ему это в какой-то степени удалось.

Позже меня познакомили с некоторыми из этих документов. Они касались моей деятельности в Венском подполье. Среди документов оказалось и самое дорогое для меня — письменное свидетельство Эрны о моем участии в движении Сопротивления. Читая его, я был тронут глубокой сердечностью, с которой она писала обо мне, но был немало удивлен тому, что на прямой вопрос следователя: «Были ли вы в интимных отношениях с Вальдемаром фон Витвером, гражданином СССР», она ответила: «Да, была».

Трудно сказать, какой смысл придавала она словам «интимные отношения». Мы ведь не успели стать мужем и женой. Сначала потому, что встречались только в совместных операциях, и нам было не до проявлений наших чувств, а когда поняли, что должны быть вместе, решили подождать, когда можно будет вступить в законный брак. Таковы были ее убеждения — и мои. И она, и я считали брак таинством. Мы глубоко и искренно любили друг друга... Мне никогда больше не пришлось повидаться с Эрной. В коротенькой записке я даже не смог толком объяснить ей причину расставания и не был уверен, что она правильно поймет меня. Видимо, нам не суждено было быть вместе...

За кулисами этого скверного и затянувшегося спектакля произошло что-то непонятное: какие-то декорации сдвинулись, какие-то рухнули — «СЛЕДСТВИЕ БЫЛО ПРЕКРАЩЕНО». Редчайший случай в системе беспорядка и беспредела.

Завершилась моя перекатная дорога войны. В течение нескольких месяцев я проходил еще спецпроверку,

а после этого предстояло продолжить службу в Советской Армии.

Что касается Сокола, Кеца и братьев Кралль, то их судьба меня волновала постоянно. Долгое время я ничего о них не знал. А в 1968 году в газете прочел о том, что в Москве была выставка, посвященная австрийскому движению Сопротивления. К нам приезжал его руководитель Сокол. Я, к сожалению, узнал об этом тогда, когда он уже улетел.

Кец долгое время был полицей-президентом Вены. Оба они — почетные граждане республики. О них там написаны и изданы книги. Австрия чтит своих героев освобождения и не ждет, когда они умрут, чтобы воздать им должное. В Бадене есть даже музей, посвященный борьбе австрийского движения Сопротивления.

ВТОРОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ ИЛИ «СКАЗ О КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»

Прошло почти полвека со времени событий, описанных автором в первой части повествования, и, несмотря на это, они все еще остаются «белыми пятнами» в нашей литературе и в истории Великой Отечественной войны. За весь послевоенный период автор не встретил никого, кто мог бы хоть немного дополнить его рассказ. Не хочется верить, что из почти миллиона человек, оказавшихся в Харьковском котле, никто не уцелел.

Вряд ли остались в живых и те тысячи наших соотечественников, кто был в крупновских лагерях, когда январской ночью 1943 года союзники начали бомбить город Эссен вместе со всеми заводами и лагерями. Этот акт, изменивший соотношение сил воюющих сторон, широко известен на Западе. И только у нас о нем не появилось ни строчки. Годы и годы утверждалось, что крупновские заводы союзники вообще не бомбили... Ну и ну! Что ж тогда делать человеку, пережившему всю адскую бомбежку Эссена? Или как быть с памятной отметиной — (головное ранение) и оставшимся шрамом?

Существовала даже такая версия, в которой утверждалось, что «успех операции по освобождению столицы Австрии — Вены в 1945 году был обеспечен доблест-

ным подразделением нашей контрразведки». Она, конечно, имеет своих сотрудников, и не мало, но боевых подразделений или штурмовых батальонов вроде бы не имеет.

К счастью, уцелели и к моменту, когда писались эти строки, живы главные действующие лица Венской операции — австрийские борцы Сопротивления — Карл Сокол, Фердинанд Кез, Рудольф Кралль и кое-кто еще.

Наверное, живы и те, кто с нашей стороны прямо или косвенно участвовал в многолетнем внедрении версии освобождения Вены с серьезными недосказанностями и искажениями. Мы сейчас не говорим о настоящих фронтовиках — участниках освобождения столицы Австрии. Мы говорим о тех, кто присвоил себе чужие заслуги; они так свыклись с вымыслами и утаиваниями фактов этого присвоения, что не то что не желают, а не могут, ну никак не могут расстаться с ними — привыкли, сроднились, срослись.

Здравствуют поныне и те, кто по заданию Ставки Верховного Главнокомандования посадил в президентское кресло весьма сомнительную фигуру престарелого Реннера. А ведь это кресло, как считали тогда многие, по праву должен был занять Карл Сцоколль.

С отъездом из Вены в июле 1945 года связь автора с австрийскими товарищами оборвалась. Через много лет он пытался установить контакт с ними через Советский комитет ветеранов войны и даже через Общество советско-австрийской дружбы. Но ни в первом, ни во втором случае из этой затеи ничего не получилось. Своеобразными оказались эти учреждения и, я бы сказал, глубоко законспирированными для своих, при всей кажущейся распахнутости для иностранцев. Ведь тогда председателем комитета был генерал-полковник Желтов А. С., тот самый, кто от имени командования 3-го Украинского фронта вел прямые переговоры с представителем австрийского движения Сопротивления Ф. Кезом. Ведь это их совместные действия способствовали сохранению столицы Австрии от тотального разрушения (похожего на будапештское и берлинское), а советские войска сохранили, под самый конец войны, десятки тысяч жизней своих воинов (чего не удалось сделать при длительном штурме Будапешта, не говоря уже о всемирно-историческом штурме Берлина). Об этом подробно рассказано во многих публикациях на Западе, в том числе и в воспоминаниях Кеза и в некоторых мемуарах советских военачальников.

Когда рукопись эта была уже закончена, пришло письмо из Вены от руководителя одной из подпольных групп, ветерана австрийского Сопротивления Рудольфа Кралля. В письме сообщалось о кончине еще в 1962 году его брата, Вилли Кралля, близкого друга и соратника автора книги — Бориса Витмана.

Вслед за письмом Рудольфа, вскоре пришло письмо и от самого Сокола, с журнальной заметкой о его книге «*Der gebrochene Eid*»¹. Книга рассказывала о событиях, связанных с оккупацией Австрии и борьбой за ее освобождение.

У нас тоже не поленились, написали об этом и издали («Сокрушение тьмы». В. Чернов. 1984). В этой книге К. Сокол и Ф. Кез погибают от рук фашистов. Кез короткой очередью в спину срезает автоматчик, а Сокол, схваченный эсэсовцами накануне вступления наших войск в Вену, даже успевает кое-что выкрикнуть: «Нас предали... — прохрипел Сокол, нервно ломая плечи... (Неужели сломал?!). — А план я все-таки передал... через Райфа. Прощай! — Сокол сам выбил под собой табуретку...» (Ну и ну! — выбил все-таки...)

И это писалось почти через сорок лет после окончания войны!.. Видимо, потому Сокол и живет по сей день (дай Бог ему здоровья!), что человеколюбивый В. Чернов умудрился так лихо расправиться с ним и его соратниками в своем творении. В книге «Шпион, которому изменила Родина», обнаруживаются четыре самых напряженных центра повествования: начало войны (1939—1941), харьковский котел (1942, весна), бомбежка Эссена (январь 1943), освобождение Вены (весна 1945). Возможно, это были не самые значительные страницы Великой Отечественной, но, согласитесь, и не самые пустячные эпизоды Второй Мировой... И вот что поражает, да и удивляет по сей день: каждый из этих четырех значительных эпизодов искажен советской военной историей до неузнаваемости. Временами это просто неправда, иногда упорное умалчивание, порой — раздувание ничего не значащих деталей до масштабов мировых событий, а часто — откровенная и преднамеренная ложь.

Могут возразить: свидетель событий, даже их участник, не всегда может быть объективен, не все факты ему известны, он скован собственными симпатиями и антипатиями, поле его зрения могло быть не таким уж

¹ «Нарушенная присяга» (нем.).

масштабным. Все это так, но только в том случае, если мы говорим об оценках событий. Здесь можно говорить о субъективности. Но можно ли ставить под сомнение те события, в которых не только участвовал сам автор, но остались и достоверные свидетели и свидетельства?..

Впрочем, и тут не будем упрощать. Я придерживаюсь той точки зрения, что истину в полном объеме нам, может быть, и не дано постичь. Однако можно стремиться максимально приблизиться к ней. Нужно собирать и копить достоверные свидетельства. И ни к чему так уж надрываться, отстаивая и защищая заведомую фальшивку.

Что самое неприятное, самое устрашающее: вся ложь, что окружала нас и, увы, продолжает во многом окружать, шла не от недостатка информации, не от заблуждений, это не была даже ложь во спасение. Это был (и остается) — умышленный, корыстный, дорогой «пламенному сердцу» обман. И мы, не веря ему, верили — потому что удобнее, спокойнее было. Или вынуждены были верить, потому что другого нам не было дано. Но и тут не стоит себя так уж оправдывать — эпоха смут и наваждений обычно наваливается на тех, кто склонен к смуте и наваждениям. Диктатор обычно захватывает массы, склонные к диктатуре. Тут всегда есть и доля нашей личной вины.

Не зря, наверное, французы говорят: «Народ, в среде которого нет ни одного человека, готового умереть за свободу, — погибает в рабстве». Или проще, но это уже у нас: «Не пеняй на зеркало, коли роза крива».

Вот как можно было бы и закончить это повествование, если бы не была у нас поднята со дна омута и возведена на пьедестал целая армия охранников — службистов-романтиков и романтиков-гробовщиков. Они умеют любой КОНЕЦ сделать НАЧАЛОМ бесконечно длинной и мучительной канители, а любое славное и даже светлое НАЧАЛО превратить в мерзостный и почти всегда трагический К О Н Е Ц.

НАПЕРЕКОР

15. ДОБРОМ ПОЖАЛОВАННЫЕ

После воссоздания независимой, нейтральной республики Австрия, согласно договору, часть наших войск покидала Вену. В одном из эшелонов отправляли и меня. Перед отправкой на вокзал, во дворе особняка, где размещалось руководство СМЕРШа, я увидел группу людей в штатском. На одном из них я сразу узнал свой серый костюм и желтые ботинки, а на другом мой светлый летний плащ и шляпу. Видимо, офицеры СМЕРШа вживались в новые роли в качестве «гражданских лиц». Они оставались в независимой Австрийской Республике... Но почему-то в чужой одежде... да еще ворованной. Мне же предстояло катить на Родину, уже в остатках амуниции собственной и вполне казенном вагоне. Ну и путешествие: снова «телячий» вагон, разделенный на три части перегородками из колючей проволоки; два голых загона: справа и слева — без нар, для репатриантов; посередине пространство для двух конвоиров. Оба загона были переполнены. Население размещалось полулежа — полусидя по принципу спортивной фигуры «ромашка» — ногами к центру загона, а самые крайние упирались спинами в стенки вагона или уж в колючую проволоку. Для ног оставалось место только поверх ног соседа. Спрессованность особо ощущалась в самой середине загона — из обутых ступней там образовывалась целая пирамида. Вот так должны были торжественно катить на Родину пока еще ни кем не осужденные воины — граждане нашей страны, не нашей страны и прихваченные ненароком иностранные гости.

Путь предстоял долгий. В полу каждого загона имелось квадратное отверстие размером 15×15 сантимет-

ров... уж извините, для отправления естественных надобностей. Я понимаю — читать такое затруднительно. Но оправляться в такую форточку было еще сложнее, особенно на полном ходу поезда!! А вот пробраться к этому опрокинутому оконцу было практически невозможно.

Моими ближайшими соседями оказались кубанские казаки Александр и Алексей. Первый был денщиком генерала Шкуро, второй — состоял в личной охране премьер-министра Италии Бономи. Немного поодаль дремал их земляк, родной брат атамана казачьей колонии в Италии — Даманов, было несколько советских офицеров, побывавших в немецком плену. Здесь же был и офицер штаба подразделения власовской армии, дислоцированной на западе Германии. В противоположной стороне загона были иностранцы, в том числе один швейцарский коммерсант. Кто были остальные, не знаю. Разговоры в загонах, особенно на нерусском языке, пресекались конвоирами довольно резко. Да и не до разговоров было. Невыносимая духота (август месяц), постоянная жажда. Воду давали два раза в день, по ведру на загон. Кружек не было, пили из ведра. Вскоре началась повальная дизентерия. Оправлялись уже под себя. И конечно, тучи мух. Они облепляли лицо... Я вспомнил, как это было тогда под Харьковом, возле раненых. Здесь их было еще больше, и они, как зараза, висели в воздухе и нажужживали смерть... Первым умер швейцарский коммерсант. Потом еще несколько человек. Через неделю стало чуть посвободнее. Эшелон часто останавливался на полустанках. Умерших выносили на плащ-палатках и тут же закапывали в общей яме. Когда конвойные, разморенные духотой, дремали, мы негромко разговаривали между собой. Сашка, денщик Шкуро, рассказывал:

— Немцы назначили Шкуро инспектором казачьих войск. Но побаивались, что он повернет казаков против них самих. Они как могли препятствовали его общению с войсками. Привозили его только на парадные смотры и чтоб он произнес заранее написанную речь. Всегда старались сначала накачать его вином. А генерал, что? Он, генерал, и не противился. Сколько мы с ним вина выпили, и не измерить.

Алексей рассказывал, что охрана итальянского премьера Бономи в основном состояла из наших казаков. Видно, не очень-то доверял своим карабинерам. Даманов рассказывал, что всю их казачью колонию англи-

чане целехонько передали смершевцам, и когда их под строгим конвоем вели по мосту, люди вырывались и прыгали вниз, «а их влет расстреливали из автоматов. Вот это была стрельба — союзнический тир!».

Власовский офицер, оборонявший атлантический вал, во время высадки союзников, подтвердил, что на их участке действительно был высажен ложный десант и что по «парашютистам» и грузовым планерам открыли ураганный огонь, а потом оказалось, что это была бутафория — отвлечение от главного направления высадки союзных десантов.

В нашем вагоне уже каждый день кто-нибудь умирал от дизентерии. Умерли почти все иностранцы — с непривычки к таким скотским условиям. Они-то мерли один за другим. Наши оказались куда устойчивее даже к повальной дизентерии и всем другим заразам.

Но никто не знал, что ждет каждого из нас впереди, что уготовила нам любвеобильная Родина? Когда пересекли границу, сразу ощутили, что движемся по нашей территории. Сравнительно плавный ход вагона сменился тряской и болтанкой — путь пошел шаткий и толчками. Вот так мы и прибыли в Одессу.

Стали вызывать по фамилиям. По одному. Из нашего вагона вызвали только меня. За недели в пути мы разучились ходить. Старшина, который вызывал нас по списку, помог мне выбраться из вагона. Нас, человек двенадцать, собрали на привокзальной площади. Никто нас не охранял. Старшина объявил:

— Товарищи! — (Тут было от чего вздрогнуть)... — Вы ни в чем не виновны. Извините, что пришлось вам помучиться в дороге. (Извинились перед живыми — покойники были непритязательны, а их было около трети.) Скоро пойдете по домам, а пока вы зачислены в трудбатальон. (Час от часу не легче!..) Стране нужен уголь. Поработаем на восстановлении шахт Донбасса!

Вот такая вот радость ожидала нас на пороге дома. Вот так вот просто, открыто и без затей, перед оставшимися в живых извинились и сообщили им о новых неотложных нуждах Матери-Родины. Так состоялась моя первая реабилитация.

Батальон, куда мы прибыли, размещался в бараках недалеко от Макеевки, среди насыпных сопотерионов. Меня закрепили за шахтой Пролетарская-Крутая. Многие из шахт были полностью выведены из строя: штреки заполнены водой, деревянная крепь прогнила и стонала жалобно, кровля во многих местах обруши-

лась или еле держалась. Образовались завалы. Вентиляция работала с перебоями либо полностью отсутствовала. В некоторых выработках гасли шахтерские лампы от избытка углекислого газа, в других, наоборот, пламя в лампе резко подскакивало вверх, сигнализируя о взрывоопасном скоплении шахтного газа — метана.

Работа под землей на глубине нескольких сотен метров была особо тяжела и рискованна. В шахту шли, как в разведку на фронте. Опасность подстергала на каждом шагу.

Мне, как и моим товарищам, пришлось осваивать горняцкие специальности: забойщик, крепильщик, бурильщик, навалоотбойщик. Пришлось знакомиться также и с работой скрепериста и даже маркшейдера. Работали без выходных дней по десять — двенадцать часов в сутки при очень скудном питании. Жили в бараках, кишящих клопами. Такое огромное количество этих паразитов трудно было даже представить. Они были здесь полными хозяевами, а мы временными, бесправными поселенцами, предназначенными к их пропитанию и утехам. Клопов не смущал даже яркий электрический свет. С наступлением ночи выбеленные известью потолки становились коричневыми от их готовых к сражению и гибели полчищ... Заснуть удавалось только через ночь: одну ночь вконец изматывался в борьбе, а другую — уже проваливался в сон, как в бессознание. Не каждый из нас мог выдержать изнурительный рабочий день после бессонной ночи. Конца такой пытке не было, — это был наш «второй фронт!».

Только к концу лета удалось достать серу. Ее насыпали на лист жести посреди барака и подожгли. Она медленно тлела, обволакивала помещение желтым дымом с отвратительным кисловатым запахом. Потом мы подметали пол, усыпанный трупиками зловредных насекомых. Запах серы долго не выветривался, но зато спать теперь можно было каждую ночь. Мы постепенно начали возвращаться к жизни, к мысли и воспарению духа. В сравнении с пережитым в годы войны, наше теперешнее положение, несмотря на тяготы и лишения, уже было более или менее сносным.

Пройдя через все испытания, я радовался тому, что вернулся, руки целы, ноги целы, вижу и слышу — дышу. Вроде бы начиналась другая жизнь, не менее труд-

ная, но в моей стране, о которой я все это время помнил и верил, что вернусь сюда. Теперь все мы, весь батальон, с нетерпением ждали обещанного возвращения домой.

Переписка с домом шла регулярно. Мать и отец пережили войну. Отец по состоянию здоровья не был призван в армию. Работал на московском заводе в оборонной промышленности, а мать — в военном госпитале.

Многие из моих родственников и сверстников погибли. Под Смоленском в начале войны без вести пропала двоюродная сестра Надя. Она тогда добровольно ушла на фронт. Сгорел в танке в середине войны мой друг детства Юра Черных. В боях в Прибалтике погиб Миша Сергунов, товарищ школьных лет. Почти никто не вернулся из одноклассников. И только позже, спустя несколько лет после войны, вернулся из сибирских лагерей товарищ детства Петр Туев. На фронте он был летчиком. Его самолет подбили, и он не дотянул до своих. Попал в плен, а потом был осужден за то, что остался жив.

Дома с нетерпением ждали моего возвращения. От штабного писаря я узнал о готовящихся списках на демобилизацию. В них была и моя фамилия. Я поддерживал приятельские отношения с писарем, я он под большим секретом сообщил мне, что начальник спецчасти за взятки заменяет в этом списке одни фамилии на другие. Я дал телеграмму домой, что решается вопрос о демобилизации. Из Москвы прилетел отец. Начальник спецчасти подтвердил, что я в списке на демобилизацию и в ближайшие дни буду дома.

Прошло три дня ожиданий, и вот ночью стали вызывать по списку. Набралось сотни две человек, среди которых оказался и я. Думали, что едем домой. Нас привели на станцию, посадили снова в «телячьи» вагоны, но на этот раз без колючей проволоки, и, ничего не объясняя (тогда вообще не было принято объяснять), повезли неизвестно куда и неизвестно зачем. Только когда отъехали не одну сотню километров, прошел слух, что едем в Кузбасс на строительство новых шахт и расширение существующих. И действительно, нам объявили о закреплении нас за угольной промышленностью. Предупредили, что самовольный уход из отрасли считается дезертирством, по еще действующему указу военного времени. Нашего согласия, разумеется, никто не спрашивал. Мы еще считали себя военнослужащими и обязаны были беспрекословно подчиняться. О том, что од-

новременно с закреплением за угольной промышленностью был подписан приказ о нашей демобилизации, мы не знали. Возвращение в Москву откладывалось на неопределенный срок. Поезд шел все дальше на восток.

Наш вагон, лишенный каких бы то ни было амортизаторов (в отличие от пассажирского), нервно вздрагивал на стыках и, как бы издевательски, приговаривал: «так и надо... так и надо...». Эта бесконечно повторяющаяся фраза растравляла душу укором. Конечно, так мне и надо! Отказался от серьезных предложений австрийских друзей! Кретин!.. Отказался от предложения Сашеньки Кронберг (махнуть с ней за океан!..). Ведь не терпелось поскорее вернуться домой. Считал, что там меня ждут, встретят с распростертыми объятиями. А уж если будет очень плохо, сумею вернуться обратно. В крайнем случае — убегу. Мне же не привыкать... Теперь этот тряский вагон увозил меня все дальше от родного дома.

Наконец первая длительная остановка с баней и ночевкой. Но даже баня — обычно расслабляет и умиротворяет, — тут и она не смогла погасить раздраженность и обиду людей, прошедших войну... Когда из барака, куда нас разместили на ночь, ушли сопровождающие, и мы остались одни, накопленное в пути раздражение стало выплескиваться наружу. Начались выяснения отношений. Очень скоро они перешли в зверское сведение счетов. Обнаружился стукач, с которым не успели расправиться еще в батальоне. Его выволокли на середину барака, окружили плотным кольцом. Посыпались обвинения и угрозы. Потом перешли к делу. Сильным ударом его сбили с ног. Он даже не попытался подняться — униженно каялся, подползал то к одному, то к другому, заискивал, приподнимал голову, молил о прощении, о пощаде. Это еще больше распалило мстителей — его стали бить ногами. Кто-то выломал кусок толстой половой доски. Удар ребром по голове прекратил его вопли. Но еще с десяток людей подходили и по очереди били этой доской уже неподвижное тело. Потом вытащили из-под нар еще одного стукача. Этот тоже во всем признался и просил прощения, но его постигла та же участь. Людей охватила неумная злоба и ненависть, она требовала новых жертв, лишала разума. В круг, где уже лежали двое, втолкнули третьего. Это был батальонный экспедитор. В отличие от первых двоих, с этим я был немного знаком и знал его как расторопного, ловкого парня, умевшего провернуть любое дело. Он имел

деловые контакты в Макеевке и умел ладить с начальством. Не думаю, чтобы он был настоящим стукачом. Хотя и это не было полностью исключено. Скорее всего здесь разгулялась обыкновенная неприязнь к нему и, может быть, зависть. Но ведь и попал он в нашу компанию неспроста — видимо, чем-то не угодил начальнику спецчасти.

Повел он себя на самосуде неожиданно вызывающе и даже атакующе. Он не стал унижаться и сразу заявил:

— Каяться мне перед вами не в чем!.. И не буду!

Наверное, это и спасло его — суд раскололся на несколько фракций, и они чуть было не поколотили друг друга... Потом появилось начальство. Начали вызывать по одному и допрашивать. Но тут... после такого урока — черта лысого! — все держались как на Шевардинском редуте! — ни один не дрогнул — уж больно раскошегарились мужики, да и стало яснее ясного: стукачам не будет пощады. Расследование прекратили.

Я не имел прямого отношения к этому судилищу, массовому психозу и углубленному уроку нравственности. В разговоре с моим соседом по вагону высказал свое неодобрение жестокости, с которой расправлялись правдолюбцы. На что тот ответил:

— Ничего, зато другим неповадно будет. И наглядно.

Может быть. Может быть, он был прав... Ведь надо было уметь создать такие условия, в которых порой более или менее нормальный человек становится гадом, доносчиком или изувером-мстителем. (Справедливости ради следует заметить, что после этой ночи мы стали чуть больше доверять один другому, чуть откровеннее разговаривать, меньше оглядываться по сторонам.)

Дальше ехали без происшествий. Миновали Урал — тяжелые горы, свидетели вечности... Начиналась Сибирь — без конца и без края.

По чьему-то приказу наш маршрут неожиданно изменился, и нас повезли в обратном направлении, а затем поезд повернул на север. Заснеженная равнина сменилась невысокими холмами, покрытыми редким лесом. Движение сильно замедлилось. Сутками поезд простаивал на полустанках.

Ночью проехали город Губаху. В отдалении появились мириады огненных искр, разрывающих ночное небо. Знатоки объяснили — это разгрузка коксовых печей,

и кругом многочисленные газовые факелы. Вся эта фее-рия источала копоть и чад, словно в аду или после бомбежки. Смердный воздух, зачерпнутый по пути вагоном, еще долго сохранялся, оставляя во рту давно знакомый кисловатый привкус. Першило в горле. Вокруг Губахи стояли мертвые лесные массивы, невынесшие ядовитого смрада. Голые высохшие стволы падали от порывов ветра, словно солдаты, сраженные в атаке. Вскоре поезд остановился на станции Половинка. Пермская область (тогда она называлась Молотовской). Это был конечный пункт нашего долгого пути. Название «Половинка» имело две соперничающие версии. Согласно одной, здесь оставили половину партии каторжан, которые не смогли идти дальше по этапу. По другой версии, потому что Половинка — на полпути между Губахой и Кизелом.

Казалось, поезд остановился в безлюдной степи. Кроме покосившегося барака, именуемого «вокзалом», да огромных сугробов, вблизи ничего не было видно. Нас построили в походную колонну, и мы двинулись по запорошенной дороге. Слева за сугробами открылся поселок — несколько почерневших бараков, цепочка утонувших в снегу балков¹, да три кирпичных здания: райком партии с райисполкомом, клуб с колоннами, именуемый, как обычно, «Дворец культуры», и трехэтажный жилой дом для работников горкома партии и райисполкома. Все.

Поселок остался в стороне, а мы шли все дальше и дальше. И вот, наконец, еще через час пути мы подошли к небольшому поселку, точнее, к десяти щитовым баракам с маленькими окнами.

Создавалось впечатление, что здесь, в этом крае, кроме лагерей да унылых шахтерских поселков, с такими же ветхими, скособоченными бараками, ничего другого нет. Не многим отличались и селения, мимо которых проследовал наш эшелон. В большинстве из них не было даже электричества. Окна избушек слабо мерцали светом керосиновых ламп. Каким резким контрастом это светлое будущее, обещанное двадцать девять лет назад, выглядело по сравнению с уже виденным мною в Чехословакии и даже в Польше, не говоря уже о Германии и Австрии. А ведь этот край разрушения войны не коснулись. Все это угнетало и наводило на тяж-

¹ Небольшой одноэтажный щитовой или бревенчатый домик на одну семью.

кие размышления. Здесь, куда нас привели, раньше был лагерь заключенных. Об этом свидетельствовали сторожевые вышки и колючая проволока. Теперь это жалкое подобие жилья будет нашим домом.

Прежде чем распустить строй, нам объявили о демобилизации из армии. Затем зачитали список распределения по шахтам, в бригады по заготовке крепежного леса и строительству жилья. Похоже, приписали нас сюда надолго.

Сначала я попал в бригаду по заготовке леса. Валить лес вручную, без механизации, суровой зимой, в старом изношенном обмундировании было еще тяжелее, чем работать в шахте...

Назначили бригадиров. Всем на руки выдали продуктовые талоны. Каждое утро бригадиры собирали талоны и передавали их заведующему пищеблоком. Питание привозили из города в больших кубелях на повозке, запряженной лошадью. На месте еду только разогревали. Несколько дней мы были заняты только заготовкой дров в тайге и ремонтом бараков. Часть окон, из-за отсутствия стекла, пришлось забить досками. Решили: лучше без света, зато в тепле.

Тайга начиналась сразу за бараками. Кругом было много сухих деревьев, отравленных ядовитым газом коксохимзавода, тянущимся аж от Губахи.

Не прошло и недели, как у нас случилось ЧП. Пришли бригады на обед, а есть нечего. Кубеля пустые, за обедом никто и не ездил. Завпищеблоком куда-то исчез. Искали его все. Безрезультатно. Так и легли спать, голодные и злые. Потом обнаружилось, что исчез и дневальный по пищеблоку (он же по совместительству хлебоборез). Кто-то видел, как они вдвоем днем играли в карты...

Заведующего нашли только на следующий день на чердаке барака... в петле... Сам повесился или кто помог — так мы и не узнали. А дневальный вообще исчез. Строились разные догадки, но большинство считали, что заведующий талоны проиграл и, боясь расплаты, — повесился. Дневальный сбежал с талонами. В ту послевоенную голодную пору талоны можно было выгодно продать где угодно.

В бараках нельзя было не думать о тех людях, которые здесь жили и умирали до нас. Их дух, казалось, продолжал обитать в этих стенах и звал не то к отшельничеству, не то к каким-то запредельным рубежам понимания бытия... Порой казалось, что я вот-вот услышу и

разберу то, что они силятся мне прошептать...
Невиданно долгой показалась мне эта зима.

К весне вышло постановление об образовании на базе разрозненных шахтерских поселков города Половинка! Накатывалась большая радость — видите ли, не поселки, а уже город!.. Растем — ширимся... Только в апреле начал слегка таять снег. А за зиму снежный покров достигал тут трех, а кое-где и четырех метров.

В один из теплых дней меня вызвали в горисполком. Председатель Михаил Васильевич Лазутин, оказывается, вычитал в моем личном деле, что я учился в архитектурном институте. Он спросил, смогу ли я для нового города выполнить несколько архитектурных работ. Я, конечно, сразу согласился, при условии, что мое начальство не будет возражать. Разговор продолжили в кабинете второго секретаря горкома партии Николая Ивановича Типикина. Среднего роста, коренастый, в прошлом шахтер, он производил впечатление своей деловитостью и простотой. Руководству хотелось обустроить это уродливое селение и придать ему хоть малое подобие человеческого жилья. Лиха беда начало — они решили в первую очередь создать Парк культуры и отдыха имени... (имени кого, уж там придумается). При парке вырыть — не братскую могилу, а искусственное озеро! И, конечно, заняться озеленением Культурного Стойбища.

Мне надлежало разработать проект парка, обязательно с фонтаном, крытой танцевальной верандой, беседками, даже скульптурами. Приступить к работе следовало, как всегда, немедленно! Мое начальство тут же по телефону было поставлено в известность, что я в течение месяца буду занят работой в горисполкоме. Мне отвели небольшое помещение в соседнем доме и для работы, и для жилья. Выдали на месяц талоны на питание в спецстоловой. Вот такое вот везение!

С большой охотой я принялся за эту первую в моей жизни самостоятельную творческую работу. Пусть хоть среди лагерных бараков. Знакомство с архитектурой многих городов Европы, и особенно Вены, расширило мой кругозор, а курс лекций и практические занятия на факультете пригодились теперь в работе над проектом. Я снова установил для себя сокращенный режим сна — не болес четырех-пяти часов в сутки. Иногда я просыпался ночью — и работал. Днем никуда не выходил,

кроме столовой. Партийный секретарь Типикин сам интересовался, как идут дела, даже помог достать справочную литературу. Я уже чувствовал свою высокую причастность к большой и продуктивной работе — как говорится, «это сладкое слово — В Л А С Т Ь!». А ее мизерность и невразумительность тогда меня еще не удручали.

Нередко окно кабинета Типикина тоже светилось далеко за полночь. В ночные часы (сугубо руководящий прием) я даже заходил к нему поговорить или посоветоваться. Получилось так, что мы вроде бы вместе делали одно большое и важное дело. Эта работа действительно доставляла мне удовольствие. Правда, не обошлось и без курьезов. Однажды около полуночи Типикин вызвал меня и сказал:

— Мы с тобой сделали большое упущение. Забыли про железнодорожный вокзал. Называется город, а вместо вокзала — барак, конура собачья! Ты уж посиди сегодня ночку, сделай проект вокзала, а утром прямо ко мне.

Пришлось осторожно объяснить, что проект вокзала — дело не такое простое, как может показаться. И не то что за ночь, а даже за неделю не под силу порой целому проектному коллективу специализированного института... Типикин слегка затуманился и отступился.

Для возвращающегося из растерзанной, полуразрушенной Европы, наши земли (куда и близко не докатились боевые действия), казались растерзанными и растоптанными десятью Мамаями: разруха и запустение здесь были похлеще ужасов Второй Мировой!.. Ведь рабочий барачный поселок далеко еще не концлагерь и все равно видеть это мне было невыносимо... Но я хотел, хотел хоть что-нибудь сделать: прибрать, исправить, построить и готов был дено и ношно к любому созидательному труду, но свободному — без угнетения, без постоянного насилия.

К исходу месяца архитектурный проект Парка культуры и отдыха в основе был готов. Его одобрили на заседании горисполкома и даже утвердили. А на следующий день сам первый секретарь повез проект в столицу области — Пермь. А я вернулся в свой барак, чтобы уже с утра отправиться с бригадой на заготовку бревен. Месячный срок командировки закончился.

Но выйти на работу утром мне не пришлось. Было приказано явиться к начальнику строительной конто-

ры Григорию Филимоновичу Пятигорцу. Это была персона особого накала.

В просторном кабинете сидел рослый красивый мужчина лет сорока, с темным мощным кудрявым чубом. Было в его облике что-то ухарское. Чем-то он напоминал не то Григория Мелехова из «Тихого Дона», не то предводителя шайки с берегов Витима или Ангары.

— Сядь, — широким жестом он указал на стул. — Ты что ж это, мил человек, ховаешь свий талант? Мени самому треба гарний художник! А вин, бач, с исполкомом якшається. — Исполкомом он явно брезговал. — С сегодняшнего дня назначаю тебя Художником! — рявкнул он. — Будешь малевать транспоранты, и все такое.

Шли дни. Исполком молчал, и я решил, что мой проект провалили, либо иссяк пыл городского руководства. Но однажды прибежал посыльный. Меня срочно вызывали в горком партии.

В кабинете первого секретаря, помимо хозяина и местного синклита власти, я увидел двоих незнакомых людей. Меня представили им. Они, в свою очередь, назвались: начальник областного управления по делам строительства и архитектуры и начальник инспекции. Мне сообщили об утверждении проекта Парка культуры и о назначении меня исполняющим обязанности главного архитектора города Половинка.

Начальство благополучно укатило, оставив кучу всяких бланков, инструкций и недоумений...

И вот тут началось...

С копией приказа о моем назначении я отправился в стройконтору к Пятигорцу. Вручил бумагу секретарше Раечке. Ее тоненькие бровки поползли вверх, а в глазах застыло удивление. Она прочла текст.

— Не уходите, я доложу Григорию Филимоновичу, — вдруг довольно чопорно проговорила она и скрылась.

Пятигорец был деловым и решительным человеком: для начала он порвал у меня на глазах приказ и бросил его в корзину. Затем тут же продиктовал секретарше свой приказ:

— Назначить его инженером моей стройконторы!

Я понял, что таким, как он, возражать бесполезно и даже вредно. Отправился в исполком к председателю.

Тот, в свою очередь, позеленел и заверил меня, что все будет в полном ажуре, так как приказ о моем назначении утвержден облисполкомом. Пятигорцу придется эту штуку скушать!..

Мне отвели кабинет, поставили телефон. На дверях кабинета появилась табличка с фамилией и указанием часов приема посетителей.

В связи с традиционно острой нехваткой жилья конторе сразу увеличили план строительства общежитий. Было разрешено индивидуальное строительство. Желающим иметь свой дом выдавались ссуды и оказывалась помощь в приобретении стройматериалов.

Я должен был давать разрешения на строительство, «контролировать правильность отведения участков, размещения домов относительно «красной линии» и соблюдения типового проекта». Объекты располагались на обширной площади, и мне даже выделили транспорт: верховую лошадь. Это был не лихой конь, а смиренная, неторопливая кобыла по кличке Кланька. Она предпочитала передвигаться медленным шагом, а в минуты особых просветлений и приливов — сдержанной рысцой. Заставить ее скакать галопом было делом безнадежным. Однако и у этой лошадки был свой норов или, как говорят, индивидуальность. Она не выносила запаха спиртного. Подвыпившего седока тут же сбрасывала. Отушить ее от этого безуспешно пытался ее бывший владелец, заведующий горкомхозом, уволенный незадолго перед моим приходом не только за пьянство, но и за неумное взяточничество. Ко мне вместе с его лошастью перешли и его служебные обязанности. Разбирая документацию, я обратил внимание на три заявления от одного человека с просьбой отвести место на своем приусадебном участке для строительства сарая. На первом заявлении стояла лаконичная резолюция: «Отвести не можем»; на втором заявлении, датированном месяцем спустя, стояла такая же резолюция об отказе, а на третьем той же рукой было написано: «Отвести». Разрешение было получено всего за пол-литра самогона.

Первое время многие из моих посетителей пытались сохранить заведенный «порядок». Являлись на прием с кошелками, из которых откровенно выглядывали горлышки бутылок. На их лицах отражались удивление и даже растерянность, когда они получали положительное решение, выданное за просто так. Они не верили в подлинность таких дармовых разрешений. Пытались как бы по забывчивости оставить принесенную мзду.

Сложнее всего было отказывать. Не всем удавалось растолковать обоснованность отказа. Меня пробовали брать «измором», уговаривали, предлагали деньги. Затем увеличивали сумму, видимо, полагая, что мало пред-

ложили. Когда же убеждались, что это бесполезно, писали на меня жалобы. К счастью, начальство быстро распознало подоплеку таких жалоб, да и было их не так уж много.

Как только устроились мои дела, ко мне приехала мама. Я даже не сразу узнал ее, так сильно она изменилась и постарела. Отца я хоть мельком видел, когда приехал в Союз, а маму в последний раз я видел, когда уходил на службу в армию, еще в ноябре 1939 года. С тех пор прошло уже почти семь лет. К сожалению, мои многочисленные служебные обязанности оставляли мало свободного времени. Первую половину дня я проводил в седле, объезжал строящиеся объекты. Потом — прием посетителей, совещания, комиссии. Вечерами допоздна — проектная работа. А тут еще меня вызвали в Пермь на семинар. Я чувствовал, как тяжело маме все время расставаться со мной, хотя она это как могла скрывала, не хотела быть помехой в моей первой, настоящей работе. Уезжала она с надеждой на скорую встречу дома в Москве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ (ВНЕЗАПНОЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ), ИЛИ ТРЕТЬЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ АВТОРЕ

После бурных и насыщенных событиями описаний нелегко переключиться на рассказы о рутинной жизни, да еще в таком захолустье, как Половинка. Но только частица этой рутинной жизни, обычная хозяйственная деятельность, позволяет сделать бытие сносным и маломальски обеспеченным. Все революционные действия, как правило, приводят к разрухе и грабежу. Скучно — не правда ли?..

Постоянно — годы и годы, автор искал возможность вырваться из обиденщины в ЖИЗНЬ СВОБОДНОГО ДУХА. Наиболее сильные проявления этого стремления — пора раннего детства: потом короткое время учебы в немецкой школе на Первой Мещанской в Москве; конечно, мама, которая, несмотря на постоянные тяготы и помехи, старалась создать эти островки ребячье-

го счастья для своего любимого сына; как бы ни была отвратительна война, следует признать, что в ее кошмаре прорыв к СВОБОДНОМУ ДУХУ случается чаще и сильнее, чем на протяжении всей остальной жизни. Там на войне враг был определеннее, коцентрированнее, — вот почему военное время осталось с нами навсегда, не своей безграничной мерзостью, а этими атаками, прорывами к СВОБОДЕ.

РУТИННАЯ ЖИЗНЬ и ее исполнители — это все мы — всех степеней и рангов. Без угнетения мы, может быть, не знали бы, что такое свобода. Наша общая отвратительность так долго и грубо ощущается главным образом потому, что с ЖИЗНЬЮ здесь вели непрерывную борьбу — вплоть до полного уничтожения тех, кто даже робко пытался вырваться из ее цепких лап и объятий власти.

Вот и выходит, что двадцатый век для нашей страны, для нас с вами и для автора оказался веком победы РУТИННОЙ ЖИЗНИ, осененной революционными знаменами и фразами.

Все поступки, главные поступки нашего автора и вся его подлинная деятельность, когда он хотел что-то сделать и сделал — это были небольшие прорывы к Свету, к Жизни — из подвалов тотального угнетения, всеобщего насилия, уничтожения человеческого достоинства. Так сама жизнь тянула нашего автора в свое болотное лоно, и так он, видимо, смертельно устав от длительного сражения, понемногу поддавался ей, уступал, а порой шел на компромиссы, пытаясь найти хоть намек на спасение. И у него хватает мужества и об этом рассказывать...

Пересильте себя — прочтите и прочувствуйте, — может быть, потом вам это поможет что-то еще понять и в своей собственной жизни. Ведь эта книга, сама, — тоже шаг, рывок, попытка еще раз прорваться из рутинного каждодневного бытия в сферы СВОБОДНО ПАРЯЩЕГО ДУХА.

16. ВВЕРХ ПО КАМЕННЫМ СТУПЕНЯМ

Постепенно жизнь становилась вполне сносной, и я вот-вот мог довольно органично вписаться во все прелести этой удивительной по нелепости системы. Впереди ждала поездка в Москву... Но совершенно не ожи-

данно меня пригласил к себе прокурор города (я чуть не написал «вызвал», но он пригласил). Его назначили сюда совсем недавно. Здешнего прокурора тихо перевели в другой район. Поговаривали, что его туда канализировали за взятки и неумеренный произвол. Новый прокурор, Григорий Иванович, был моим ровесником и попал сюда почти сразу после окончания института... Он приветливо поздоровался и сразу спросил:

— Как вам работается в этой упряжке?.. Сами впряглись или заставили?..

Мне он доверительно признался:

— Я сам еще не освоился со своей прокурорской должностью... На шахтах руководство нарушает все, что только можно нарушить. А спецкомендатура осуществляет надзор за ссыльными так, как будто они сданы им в рабство бессрочное...

Постепенно беседа наша приняла дружеский характер, и я подумал, что он вызвал меня, чтобы поближе познакомиться. Но вот он достал из ящика стола лист бумаги и протянул его мне.

Это было заявление того самого могучего Пятигорца о незаконных, как он считал, действиях местного исполкома и моем самовольном уходе с предприятия, относящегося к угольной промышленности, что, по действующему положению, должно было рассматриваться как дезертирство...

— И что же вы собираетесь со мной сделать? — спросил я.

— Никакого нарушения в ваших действиях я как раз не усматриваю. Больше того, в интересах города, считаю действия исполкома вполне оправданными. В спорах, касающихся наведения порядка в строительстве, можете рассчитывать на мою помощь. Будем работать в контакте: вы — не допускаете нарушений в строительстве, я — в нарушении законов и прав шахтеров. Думаю, что здесь это будет совсем не простым делом...

Тогда я не понял, что он имел в виду. Но скоро убедился в дальновидности молодого прокурора. Не прошло и года, как он был убит. Но об этом потом.

Индивидуальное строительство на территории города доставляло мне немалые хлопоты. Строить разрешалось только по типовым проектам, с соблюдением размеров и технических условий. Большинство застрой-

щиков слабо разбирались в проектной документации. У каждого возникало множество вопросов, им требовалась постоянная помощь. И все это отнимало у меня уйму времени. Строительные участки находились в разных концах и добираться до них из-за бездорожья можно было только верхом. А Кланька передвигалась хоть и упорно, но медленно. Вот так и жили: почти ежедневно с утра я шел на конный двор, где дожидалась меня она — единственная спасительница...

...Вернемся к делам строительным в городе Половинка!

Как правило, в сооружении дома участвовала вся семья. И взрослые, и дети. Почти на каждом участке на треноге висел чайник, к которому время от времени прикладывались уставшие — все по очереди. Я подумал, что в чайнике вода или квас, но оказалось — самогон. В каждом доме меня старались угостить стаканчиком самогона, — еще бы, персона, которая разрешает и запрещает, — хотя многие уже знали, что я почти совсем не пью... А здесь не пить уже считалось подозрительным... Однажды я не устоял. Было это осенью. Дождливый день подходил к концу, когда я добрался до отдаленного участка. Чтобы согреться, согласился выпить... Но когда хотел сесть в седло и ехать домой, обычно смирная Кланька вдруг взбрыкнула, и я полетел в грязь. Она не стала дожидаться, пока я поднимусь и приведу себя в порядок, и домой отправилась сама. На мои команды, вопли и просьбы принципиальная лошадь не реагировала и уходила. Дождь продолжал хлестать. На сапоги налипло столько глины, что я еле передвигал ноги, совсем выбился из сил и отстал.

Только под утро, мокрый до нитки и перемазанный, я добрался до дома. На мое счастье, в этот ранний час никто не увидел, в каком виде возвращался домой господин городской архитектор. Кланька преподавала мне свой урок правственности, а сама благополучно вернулась в свою конюшню и пребывала в стойле.

На строительстве Парка культуры заканчивалось сооружение танцевальной веранды. В один из выходных решили провести общий воскресник. Со всех шахт и учреждений согнали много людей. Часть из них на грузовиках отправили в тайгу за саженцами, остальные копали ямы. Место для каждого деревца было заранее обозначено колышком.

В этот день посадили более тысячи деревьев разных пород. Почти все они, вопреки прогнозам знатоков,

прижились. Но в этом была заслуга только одного человека — нашего агронома Василия Ивановича, исключительно трудолюбивого. Он был влюблен в свою профессию, ухаживал за каждым деревцем, как за ребенком. Его, жителя Западной Украины, сослали сюда еще в 1940 году. Кроме любви к своему делу, он обладал и обширными знаниями, умел без лабораторного анализа, на вкус безошибочно определять состав почвы.

Работникам исполкома выделили участки земли под картофель. В ту пору ведро картошки на рынке равнялось примерно моей трехдневной зарплате. Я жил один, питался в столовой, временем свободным не располагал, а потому хотел отказаться от выделенного участка. Но Василий Иванович уговорил меня и вызвался даже помочь вырастить хороший урожай.

Вдвоем мы вскопали нашу небольшую полосу. Василий Иванович приготовил состав удобрения, а потом, изменял его при подкормке и окучивании.

Когда ботва зазеленела, моя полоска стала отличаться от соседних своей... хилостью. На других ботва пышно разрослась. Сотрудники надо мной подтрунивали.

Наступила осень. Пришла пора собирать урожай. Мы вооружились лопатами. Я захватил мешок, а Василий Иванович ведро и какой-то сверток. Когда я узнал, что это мешки, то рассмеялся — казалось, и одного моего мешка было бы много.

На соседних полосках шла оживленная работа. На могучих стеблях, вытащенных из земли, болталось по несколько мелких картофелин, а кое-где и вовсе было пусто. Наш приход вызвал общее оживление. Всем хотелось узнать, каким же будет урожай у нас, если у них такой хилый... Я воткнул лопату в грунт и выворотил большой ком земли, скрепленный разветвленным корневищем, — он весь был усыпан крупными картофелинами. Все ахнули. С нашей полосы мы собрали примерно втрое больше клубней по сравнению с соседями. Такой урожай здесь считался невиданным.

Работал я как запряженный — без продыха. Городу нужны были спортивный стадион, водный бассейн и

многие другие сооружения. Рассчитывать на областные проектные организации было бесполезно.

Следующим на очереди был спортивный стадион. Я с увлечением взялся и за эту интересную работу.

Часто ко мне обращались руководители различных организаций с просьбой помочь в проектировании пристроек, реконструкций и даже новых производственных объектов.

Все это я перечисляю вовсе не для того, чтобы сообщить о своей значимости, а потому что я, человек, для чего-то предназначенный в этой жизни, главным образом разрушал или способствовал разрушению. Впервые в жизни здесь я был допущен пусть хоть к утлomu, пусть хоть и к полунищему, но **созиданию**. А это, оказалось, была моя стихия — я подозревал: созидание — дело любого нормального человека. В том числе и мое.

На одной из шахт я познакомился с Виктором Ивановичем Злыдневым. Мое внимание привлек контраст между его интеллигентным лицом и большими грубыми руками с опухшими, изуродованными пальцами. По ним словно били молотком или защемляли дверь. Пальцы плохо двигались, и ему стоило большого труда свернуть сигарку и зажечь спичку. Смотреть на его изуродованные руки было тяжело даже мне, выдавшему-перевидавшему всякое. Лицо его, наоборот, было безукоризненно красивым. В серых глазах светился ум. Виктор Иванович был коренной петербуржец, инженер-электрик по образованию. Здесь, как и многие другие, находился на положении ссыльного. На мой вопрос, что у него с пальцами, сказал, что отморозил. Я заметил, что обсуждение этой темы было для него неприятно. Мы как-то быстро сошлись и даже подружились. Я договорился с Пятигорцем и, с согласия начальника шахты, где Виктор Иванович работал простым крепильщиком, он был переведен в стройконтору на должность мастера, а месяцев через пять-шесть стал начальником участка. Пятигорцу он также пришелся по душе. Этот казак и бузатер был человеком не вполне уравновешенным, но отходчивым, и мог примириться с самим сатаной, если это могло дать ему хоть какую-то выгоду.

Как-то вечером не работалось (устал или надоело), и я заглянул во Дворец культуры. Там танцевали под баян. Почти все кавалеры были в телогрейках и шапках, в кирзовых сапогах с завернутыми по моде голе-

нищами. Танцевали, не вынимая папиросу изо рта. Это считалось хорошим тоном. В воздухе стоял табачный дым, приправленный ленивым матом. Сквернословие здесь было неотъемлемой частью общественного лексикона и никого не смущало. Мое внимание привлекла незнакомая девушка. Волосы, заплетенные в тугую косу, слегка восточный разрез светло-карих глаз; голубое платье облегалo фигуру. Она была стройна, очень симпатична и держалась с достоинством. Баянист, лихой парень с чубом, видимо, был ее постоянным партнером. С ним она танцевала, когда он откладывал баян и заводил пластинку. Когда же он играл на баяне, она танцевала с подружкой. Баянист заиграл танго. Я подошел к девушке и подчеркнуто вежливо пригласил ее. Необычная для здешних мест форма приглашения слегка смутила ее. Но она быстро справилась со смущением и согласилась. Баянисту это не понравилось. Парень отложил баян, запустил пластинку с быстрым танцем, закурил «Беломор» и вразвалку подошел к нам. Недобро он взглянул на меня, бесцеремонно взял девушку за руку и потянул к себе. Девушка высвободила руку.

— Я тебе уже говорила, что с папиросой в зубах меня приглашать не надо. И вообще, пока не научишься прилично вести себя, ко мне не подходи.

Я думал, что парень от этих слов взвесьется и драки не миновать, но, как ни странно, он еще раз злобно взглянул на меня и отошел в сторонку. Лида, так звали девушку, предложила погулять, и мы незаметно покинули зал. Долго бродили по пустынным, неосвещенным улицам.

В Половинку она попала маленькой девочкой. Мать и четверо ее сестер и братьев привезли сюда с Украины вместе с другими женщинами во время массовых репрессий. Мужчин сразу забрали и увезли. О своем отце они ничего с тех пор не знали. Брать с собой домашний скарб не разрешили. Ехали, не знали куда. Привезли на пустое место. Выгрузили на снег. Кругом сугробы. Дети ревут. Дали лопаты, сказали: «Ройте землянки, другого жилья пока не будет»... «Сколько горя хлебнули, словами не передать», — сказала мне Лида. Заболел и умер ее старший брат. Мать и старшая сестра работали на шахте. Самым счастливым стал день, когда из землянки они перебрались в маленькую комнату в бараке. Лида окончила семилетку и отправилась в Кизел учиться на фельдшерских курсах. После окончания вернулась домой и стала работать заведующей

здравпунктом на шахте. Две другие сестры образования не получили: надо было кормить семью. Мать часто хворала и умерла, не дожив до пятидесяти лет. Лида нигде, кроме Кизела, не бывала. Когда я как-то упомянул о винограде, персиках, бананах, она спросила: «А что это такое?» — Она их никогда не видела.

Мы с Лидой стали часто встречаться. Оказалось, что Виктор Иванович раньше, до встречи со мной, работал с Лидой на одной шахте. Иногда мы втроем ходили в кино. Но чаще собирались у меня. Пили чай, слушали рассказы Виктора Ивановича о Ленинграде. Мечтали, как когда-нибудь поедем туда все вместе...

Виктор Иванович не скрывал от меня, что ему очень нравится Лида. А она, видимо, чувствовала это, и не прочь была немного пококетничать с ним. Позже, когда я уже уехал из Половинки, из Лидино письма узнал, что перед своим отъездом Виктор Иванович пришел проститься с ней и только тогда признался, что влюблен. Все-таки признался...

Мысль о возвращении в Москву была постоянной и точила меня.

Во время одной из поездок в Пермь мне удалось попасть на прием к начальнику областного управления МВД. Я рассказал ему о своем положении, о том, что при демобилизации ни о какой ссылке в отношении меня упоминаний не было. Почему же мне не выдают на руки паспорт и я не могу вернуться домой? Ведь в армию я был призван из Москвы?! Генерал пообещал разобраться и сказал, что в ближайшее время я получу ответ. Обнадеженный и окрыленный я вернулся в Половинку. Но шли месяц за месяцем, а ответа не было. Между тем в городе произошло то ужасное событие, о котором я мельком упомянул раньше.

Оно повлияло и на мою судьбу.

Осенней ночью был зверски убит прокурор города, Григорий Иванович. Справедливый, честный молодой человек, он за сравнительно небольшое время, что работал в городе, снискал уважение и даже любовь жителей (думаю, что такое с прокурорами бывает не часто). Он смело вступил в борьбу с местными высокопоставленными номенклатурными чиновниками, а это, в нашем государстве, действия, жестоко наказуемые.

Было у прокурора Григория Ивановича много достоинств. Но был у прокурора Григория Ивановича один серьезный недостаток — жена!

И вот однажды он вместе с женой был приглашен на свадьбу к одному из работников горисполкома. Накануне он выезжал на дальнюю шахту, находился там более суток и приехал с опозданием, крайне усталый. Его жена пришла на свадьбу сама и вовремя. Она много пила, а потом, говорят, куда-то исчезла.

В городе все знали, что особой супружеской надежностью прокурорская жена не отличалась. Ее многие осуждали — сочувствовали Григорию Ивановичу, но это материя особая: как тут ни крути, а выбор твоей женщины — это почти всегда твой собственный выбор и потому твоя вина. Так что очень-то выгораживать Григория Ивановича в этом случае не будем.

Работала жена заведующей продуктовой палаткой. Не раз доброхоты предупреждали прокурора, что его жена путается с парнем из спецкомендатуры. Но Григорий Иванович и слышать об этом не хотел, и только отмахивался от них. Приехал Григорий Иванович на свадьбу усталым и голодным. Его тут же взяли в тиски, налили «штрафную» и заставили выпить «за счастье молодых». Он и выпил. Быстро стал хмелеть и его начало клонить ко сну. Признался, что сутки не спал. Ему не стали мешать, решили: пусть отдохнет. К середине ночи, когда гости начали расходиться, и мы с Лидой тоже собрались уходить, решили взять с собой и Григория Ивановича. Но не нашли его. Оказалось, что какой-то доброжелатель разбудил его и сказал: «Пока ты здесь спишь, твою жену хахаль из спецкомендатуры к себе в балок поволок...».

Кто-то видел, как Григорий Иванович тут же поднялся и вышел на улицу. Оказывается, он знал, где живет этот охотник, и направился прямо к его дому. Соседи видели, как Григорий Иванович стучал в дверь. А потом дверь приоткрылась и прозвучали выстрелы — несколько, один за другим. Прокурор упал. Когда собрались люди, он был уже мертв.

Следствие всл бывший прокурор Половинки. Тот самый!.. Убийца не предстал перед судом. Следствие квалифицировало его действия как вынужденные, в целях самообороны. Убийца якобы принял прокурора за грабителя и разрядил всю обойму пистолета.

Григорий Иванович попал в ловушку, которая была ловко подстроена против него. Ставили капкан профессионалы: и приманка, и наживка, и угрозы, и разработка, и исполнение — все их, фирменное, и без осечек.

Хоронили Григория Ивановича жители не только го-

рода, но и дальних поселков. Женщины плакали.

Для меня гибель Григория Ивановича была большим горем. Мы уже были друзьями, а, кроме того, его смерть лишила меня опоры в работе, которая теперь стала далеко не безопасной. А после того как я попытался поставить под сомнение результаты расследования этого убийства, мне показалось, что я тоже взят «на прицел».

Как-то зашел Виктор Иванович, он рассказал, что его вызывали в спецкомендатуру. Обязали следить за мной и докладывать обо всех моих делах и разговорах. Пригрозили расправой в случае неповиновения. Почти одновременно такое же задание получила и Лида. А когда она с возмущением отказалась, ей угрожали, что загонят в шахту на самую тяжелую работу. Она пришла ко мне заплаканная и тоже рассказала обо всем. Теперь я знал, во-первых, откуда ждать беды, а во-вторых, что у меня есть, по крайней мере, два верных друга, а это тоже что-нибудь да значило.

Обо всем этом я рассказываю, чтобы подобраться к главному: какое количество необыкновенно талантливых, способных на яркие проявления людей мне пришлось встретить в этот период жизни.

А каких прохиндеев и разгильдяев я повстречал и нагляделся на них до тошноты. Каких негодяев, садистов и стяжателей умеет рождать земля наша!.. Не придумать — не описать!

И когда я спрашиваю себя: откуда берется вся эта сволота и доносчики, приходит ответ: все оттуда же — мы, нормальные, а значит, созидающие, мешаем им по-своему хозяйствовать и воровать. Без воровства и негодяйства в этой системе прожить им невозможно. Следовательно, мешающих надо либо урезонить, либо устранить. И побыстрее. А если не получается — убить. Вот и вся схема изуверства. Стимулирует ее общая неквалифицированность, охраняет — власть квалифицированных насильников.

Между тем на работе у меня появились осложнения во взаимоотношениях с «удельным князем» — управляющим угольным трестом, лауреатом Сталинской премии Петюшкиным: я отказался подписать акты приемки пескольких недостроенных домов. Петюшкину акты были нужны, чтобы рапортовать об обеспечении шахтеров благоустроенным жильем, хотя в некоторых домах были только стены, а строительство других вообще было законсервировано.

Петюшкин вызвал меня в свой кабинет. Поговари-

вали, что в задней стене этого кабинета была дверь, замаскированная под книжный шкаф. Дверь эта вела в просторный будуар с зеркалами и роскошной, из карельской березы, двуспальной кроватью. Сюда, в этот будуар, агенты по снабжению доставляли Петюшкину молоденьких девушек. Удостоенные этой чести одаривались продовольственным пайком или обещанием хорошей, легкой работы. Но каждую предупреждали, чтобы держала язык за зубами, если не хочет стать жертвой несчастного случая в шахте.

Вншне Петюшкин выглядел, как теперь говорят, респектабельно. Его грузноватое тело покоилось в удобном кресле. На нем был полувоенный френч защитного цвета, такого же фасона, как и на большом портрете вождя. Над застегнутым воротником управляющего нависали жирные складки второго и третьего подбородка. Лоснящиеся щеки зажимали с обеих сторон маленький нос. Петюшкин все время грозно сопел. Картину завершали узкие, как прицел, глазные щелки.

Не отвечая на мое «здравствуйте», он процедил:

— Ты что же это себе позволяешь? Запомни, хозяин здесь я. И ты будешь делать так, как нужно мне. Иди, и чтоб акты приемки домов были сегодня же подписаны.

Заметив, что я хочу возразить, тут же добавил:

— Впрочем, можешь не подписывать. Обойдемся и без тебя.

Действительно, акты приемки подписали все члены комиссии, а вместо моей подписи стояла подпись заместителя председателя горисполкома.

Тучи сгущались. Главная моя поддержка и опора — Николай Иванович Типикин — не сработался с первым секретарем горкома, и его давно уже перевели в другой город.

Здесь в Половинке, где проживали в основном бесправные ссыльные, Петюшкин был полновластным наместником. Он захватил в свои руки всю власть. А вся власть — это ключевые позиции: снабжение населения продовольственными и всеми другими товарами первой необходимости. Благодаря этому мощному, особенно для послевоенного голодного времени, рычагу, в зависимости от него оказались все основные оплоты власти — горсовет, прокуратура, спецкомендатура и даже горком партии. Одних подкупали щедрыми подачками, других устраняли под разными предлогами. Было несколько странных несчастных случаев в шахтах: одному упал на

голову кусок породы, другого нашли мертвым в заброшенной подземной выработке. Вся корреспонденция и местная печать находились под строгим контролем. В центр шли только победные рапорты об успехах и достижениях. Из центра сюда — награды начальству и пожелания еще больших успехов трудящимся — это ссыльным женам и детям тех, кто был расстрелян или раскулачен в тридцатые годы. Несмотря на строгую цензуру, кое-что все же просачивалось. Чтобы не переполнялась чаша терпения — сменили, как я уже рассказывал, прокурора. Вновь присланного Петюшкин попытался подчинить сначала лаской, потом посулами, а там уж анонимными угрозами. Не вышло... Там он вскрыл нарушения и подлоги, там фальшивые рапорты, махинации с продовольственными товарами. Обнаружились приписки к выполнению плана угледобычи. Стали известны и «амурные» дела управляющего, а в общем-то его постоянные паскудства.

Думая, что сможет вывести на чистую воду высокопоставленную банду, Григорий Иванович подписал сам свой смертный приговор.

Заканчивалось второе лето моего пребывания в Половинке. И заканчивалось угрожающе.

Однажды вечером ко мне в кабинет зашел новый заведующий коммунальным хозяйством. Под большим секретом он сообщил, что составляется список для отправки на строительство каких-то объектов на островах в Заполярье и что в этот список включен и я...

Надо было что-то предпринимать. Отправка могла произойти внезапно, без предупреждения. Такая практика была мне хорошо знакома. Здесь, в Половинке, не осталось никого, кто мог бы меня отстоять. И я решил в тот же вечер выехать в Москву.

Повидался с Виктором Ивановичем. Рассказал ему обо всем. Попросил завтра вечером зайти ко мне и, не застав меня дома, утром следующего дня сообщить в спецкомендатуру о моем исчезновении.

Виктор Иванович сначала наотрез отказался, и мне стоило большого труда убедить его это сделать. Ведь в противном случае ему грозила расправа, а о моем отъезде они все равно узнают. Донесут другие. Я же за это время успею уехать уже далеко.

Виктор Иванович ушел, а я ждал Лиду и не знал, как сказать ей о принятом решении. Она пришла и сна-

чала не поверила мне. Потом разрыдалась, и ничто не могло ее успокоить. Может быть, не стоило говорить ей правду. Лучше было сказать, что уезжаю в командировку... Я не вписался в круг «владельцев князей» этой системы и потому должен был или подчиниться, или подлежал уничтожению. Вслед за прокурором. Смертельную опасность я научился чутко безошибочно и заранее, а посему снова решил бежать. В пятый раз.

17. ЛЕФОРТОВСКИЕ ШУТКИ

Поезд из Молотова на Москву прибывал в Половинку ровно в полночь. Стоянка — одна минута. Я знал, что станция была под постоянным надзором спецкомендатуры, и меня могли задержать при посадке. Билеты на поезд продавали только по разрешению комендатуры или по командировочному удостоверению.

Решил ехать без билета. В подвале моего дома нашелся кусок латунной трубки и трехгранный напильник. Несколько ударов молотка, и «трехгранка» — ключ для вагонных дверей — была готова.

С наступлением темноты я вышел из дома. Вещей с собой никаких не взял, чтобы руки были свободны. Обошел станцию и спрятался за штабелем шпал с противоположной от платформы стороны, в метрах ста от места остановки последнего вагона. Темнота осенней ночи помогала. Накапывал дождь. По пустынной платформе прохаживался человек. Другое время от времени выглядывал из приоткрытых дверей станционного барака. «А вокзал так и не построили»...

Но вот вдаль замерцали огни. Как только поезд поравнялся со мной, я побежал под его прикрытием к станции. Заскрежетали тормоза, и состав остановился. После минутной стоянки поезд снова тронулся, я вскочил на подножку предпоследнего вагона. Состав набирал скорость. От холодных поручней руки, отмороженные еще зимой сорок второго, сразу заостенели. Поток встречного ветра продувал насквозь.

Долго я не решался открыть дверь в тамбур своим ключом. А когда решился, то уже не мог разжать пальцы. Потом никак не удавалось достать из кармана ключ. Отогревая руки, чуть не сорвался с подножки. После долгих усилий я, наконец, открыл дверь и вошел в тамбур. Не успел отогреться, снова пришлось спуститься на подножку. Поезд подходил к станции. Так повторялось в течение ночи несколько раз.

Утром поезд остановился на большой станции. Я побежал на вокзал и успел взять билет до Москвы. Почти всю оставшуюся дорогу я дремал на верхней полке. Перед глазами стояло заплаканное лицо Лиды, а в памяти звучала ее просьба, повторенная много-много раз: «Не уезжай!.. Не уезжай!..».

Шли вторые сутки, как я находился в пути. И чем меньше километров оставалось до Москвы, тем тревожнее становилось на сердце: «О моем отъезде уже, вероятно, знают. Могли сообщить по линии... Не исключено, что поджидают на станциях, высматривают на вокзалах, ищут в подъездах как преступника, бежавшего из тюрьмы, хотя я не был ни заключенным, ни репрессированным, даже не ссыльным».

В районе станции Москва — Сортировочная состав замедлил ход. Я вышел в тамбур, открыл дверь своим «ключом» и благополучно приземлился на московской земле. Сперва на трамвае, а затем в метро доехал до «Маяковской» и пешком отправился в Большой Каретный переулок, к тетке Вере, родной сестре моей мамы. Ехать домой в Кунцево было рискованно, и, как потом выяснилось, опасения были не напрасны. Там, у дома, уже дежурили двое в штатском.

В Москве я надеялся добиться приема у высокого руководства, но не учел при этом, что без паспорта меня никуда не пустят. Пока, для безопасности, родственники отправили меня на дачу в Манихино.

Октябрь в тот год под Москвой был мягкий. Стояли погожие дни «бабьего лета», но к концу месяца погода испортилась. В летней даче стало холодно, я перебрался опять в Москву и поселился у знакомых, в Курбатовском переулке.

За это время родители отправили несколько писем Сталину, Швернику, в Президиум Верховного Совета и Министерство внутренних дел. Как не трудно догадаться, ни на одно письмо им никто не ответил. Стало ясно, справедливости ждать неоткуда.

Тогда я решил изменить фамилию, уехать куда-нибудь в глушь, где нужна рабочая сила и не очень интересуются подлинностью документов.

Удалось найти человека, который (конечно, за деньги) достал мне паспорт с украинской фамилией и редко встречающимся именем Никон.

В паспорт была вклеена моя фотокарточка.

С родителями я поддерживал связь через тетю Веру. Она была человеком добрым, но малость беспечным, а

в возможность слежки вовсе не верила. «Ну что ты — преступник, что ли?.. — говаривала она. — Да кому ты нужен?..»

Как-то, после очередной встречи, я пошел проводить ее до автобусной остановки. При выходе из квартиры мне показалось, что кто-то быстро поднялся по лестнице и остановился на верхней площадке. На автобусной остановке за нами встал в очередь человек в кожаной кепочке. Он тоже показался мне подозрительным. Подошел автобус, забрал всех пассажиров. Тип в кепочке остался и сразу отошел в сторону. Сомнений не было, меня засекли. Значит, слежка была установлена и за родственниками. Видно, половинковские власти представили мой отъезд как побег опасного преступника.

Ускоряя шаг, я пошел прочь от остановки. Пересек безлюдную в этот поздний час Тишинскую площадь. По стуку торопливых шагов понял, что преследователь едва поспевал за мной. Я побежал, и, похоже, мне удалось оторваться от него. Я быстро свернул за угол дома, а мой преследователь, как в плохом детективе, проскочил мимо. Двор оказался проходным. Я вышел на Грузинскую улицу, недалеко от остановки трамвая «Курбатовский переулок». Оставалось пройти еще с десяток метров — и я дома. Оглянулся — сзади никого. Впереди на трамвайной остановке стояли несколько запоздавших прохожих. От них отделились двое и пошли мне навстречу. Один, широкогрудый, плечистый, загородил дорогу и, пока я пытался обойти его, откуда-то появился третий. Они вплотную обступили меня, и широкогрудый негромко произнес:

— Уголовный розыск, предъявите документы.

Я хотел достать из кармана паспорт, но почувствовал, как с обеих сторон мне в бока уперлось что-то твердое. Ребята были явно хорошо натренированы. Меня мгновенно прощупали. Из карманов извлекли все, что в них находилось. Операция длилась считанные секунды...

— Вы подозреваетесь в убийстве. Вам придется проехать с нами!

Это было предлогом для задержания.

Тут же подкатила машина, и я оказался на заднем сидении между двумя оперативниками. Третий сел рядом с шофером. Недолгий путь по ночной Москве — и мы въехали в ворота дома номер 38 по улице Петровка.

Небольшая, совершенно пустая камера без окон. Бетонный пол. Ни стола, ни скамейки. Часа через полтора щелкнул замок, и меня повели вверх по лестнице. В ка-

бинете — трое в штатском. Один сидел за столом, двое стояли рядом. Некоторое время все трое меня молча рассматривали, потом предложили сесть. Тот, что сидел за столом, взял лист бумаги.

— Фамилия, имя, отчество, год и место рождения?

Я назвал паспортные данные, все еще надеясь, что мое задержание — случайность. Допрашивающий ухмыльнулся и не стал записывать. Все трое переглянулись.

— А вы уверены, что это ваша фамилия?

Я не успел ответить. Зазвонил телефон. Трубку снял один из стоящих рядом и тут же передал ее тому, кто сидел за столом.

— Так точно, товарищ генерал... Нет, еще не назвался... Слушаюсь, товарищ генерал...

Я понял: дальнейшая игра бессмысленна, и назвал настоящую свою фамилию.

— Откуда у вас этот паспорт?

— Купил на Тишинском рынке.

Последовали вопросы: у кого? когда? при каких обстоятельствах? с какой целью? Я рассказал о действительной причине отъезда из Половинки и о том, для чего мне нужен был паспорт. На вопрос: «Как выглядел человек, продавший вам паспорт?», описал внешность типа, который выследил меня и преследовал от автобусной остановки.

Позже, на очной ставке, выяснилось, что паспорт принадлежал женщине. Ее имя Нина переделали на Никон. Женщина заявила, что паспорт у нее украли в трамвае.

Продержали меня на Петровке недолго — всего несколько дней. Ночной переезд в закрытом фургоне, и вот меня уже вводят в большое мрачное здание. Сильный запах карболки. Ею пропахло все: и машинка, которой меня остригли наголо, и полотенце, и тюремное белье. Карболкой пахли надзиратели. Даже вода в душевой, казалось, пахла той же карболкой.

Этот запах напоминал мне что-то из давнего прошлого... Вспомнил. Так пахла куртка отца, когда он вернулся домой, просидев полгода в Бутырской тюрьме. Ему тогда повезло. Берия, только занявший место смещенного наркома внутренних дел Ежова, еще не успел развернуться. Несколько явно абсурдных дел по 58-й статье попали в Московский городской суд, и невиновые были оправданы. Демонстрировалось торжество справедливости!

В число оправданных попал и мой отец. Видимо, возымело значение то обстоятельство, что он наотрез отказался подписать протоколы следствия с нелепыми обвинениями.

Отец рассказывал, что однажды его привезли на Лубянку, и там следователь сказал ему:

— Если не будешь подписывать протоколы, отправим в Лефортово. Там все подпишешь. А что касается свидетелей, то вон по улице люди ходят, — и он показал рукой в окно, — любого из них приглашу, он и будет свидетелем против тебя...

«В какую же тюрьму угодил я?.. Судя по запаху карболки, это «бутырка»! Впрочем, наверное, и в других тюрьмах такой же запах».

Сначала меня поместили одного в сравнительно просторную камеру. На завтрак — жиденькая каша, кусок черного хлеба. Потом — черпак чаю в ту же, опоржненную миску.

Опять вспомнил рассказ отца о бутырке. Битком набитая людьми камера, выносная параша. А здесь — фаянсовый унитаз, соединенный с канализацией. Комфорт!.. Значит, мне досталась тюрьма повышенной категории, с удобствами.

Первые дни немного мешал звук мощного двигателя, расположенного где-то поблизости, настолько мощного, что он перекрывал все остальные звуки. Обычно двигатель работал в вечерние часы. Но к этому я скоро заставил себя привыкнуть.

Шли дни. Обо мне словно забыли. Думать о том, что меня ожидает, не хотелось. Все, что происходило со мной, было непредсказуемо; здесь действовала какая-то мощная, иррациональная система — сиди и жди! Еще в Бадене, под Веной, в сорок пятом я познакомился с ведомством Абакумова. Тогда меня хотели просто убрать как нежелательного свидетеля. Теперь я был снова в его власти, и можно было ожидать всего. Тревога усиливалась одиночеством...

Но вот дверь в камеру открылась, и ввели мужчину средних лет в военном френче со споротыми погонами. Следствие по его делу закончилось, и он ожидал трибунала. Его обвиняли в передаче секретных сведений иностранной разведке. А произошло это, по его рассказу, так. По окончании войны он был назначен начальником военного аэродрома на территории Германии. Связался с одной женщиной. Она оказалась шпионкой. Его скомпрометировали. Боясь наказания, согласился передать

секретные сведения. Был уличен. Во всем чистосердечно признался, и теперь надеялся на снисхождение.

Первым моим вопросом был:

— В какой тюрьме мы находимся?

— В Лефортовской... — ответил он.

Итак, это была тюрьма, которой много лет назад следователь пугал моего отца. Это была тюрьма, где официально разрешалось применение пыток — официально! — хотя неофициально это происходило повсеместно.

Первый допрос. Следователь — капитан лет тридцати пяти. Лицом немного напоминал известного киноактера. Правильная речь. Спокойный ровный голос. В общем ничего зловещего. Он задавал вопросы, я отвечал. Писал он быстро, ровным, четким почерком. Каждую написанную страницу давал прочесть и подписать. Изложение было грамотным, без искажений и предвзятости. Незначительные неточности тут же исправлялись. С первого допроса я ушел ободренным. Название «Лефортово» уже не вызывало тревоги.

Допросы происходили ежедневно, кроме воскресенья. Путь до следовательского кабинета был довольно длинным. Надзиратель шел рядом, одной рукой сжав мою руку выше локтя, а другой подавал сигналы, щелкая пальцами: заключенным встречаться лицом к лицу не полагалось — либо загоняли в нишу, либо поворачивали мордой к стенке.

Двери камер выходили на галерею. Между собой противоположные галереи соединялись переходными мостиками, почти как в московском ГУМе, а между этажами — металлические трапы, как на многопалубном лайнере. Пространство между галереями было затянуто стальной сеткой — это чтобы нельзя было броситься вниз и разбиться насмерть, — вот такая забота о подследственном.

С каждым днем чувство голода усиливалось. Для получения передач из дома требовалось разрешение следователя. На мою просьбу он неопределенно ответил:

— В зависимости от того, как мы будем себя вести.

Пока допросы проходили гладко. А вот то, что касалось номенклатурной банды в Половинке, расправившейся с прокурором Григорием Ивановичем и вынудившей меня приехать в Москву, следователя почти не интересовало. Значительно больший интерес он проявил к обстоятельствам моего пленения. Я подробно рассказал ему, как меня включили в разведгруппу, как готовили

для заброски в тыл к немцам, как сорвалось наступление, и наши армии оказались в окружении без боеприпасов и горючего. Рассказал о неудавшихся попытках прорваться, о ранении. О том, как оказался в плену и совершил побег.

Когда следователь дал мне прочесть написанное, я увидел, что многое в протокол допроса не вошло, хотя, на мой взгляд, имело принципиальное значение. Ни слова не упоминалось и о харьковском окружении, будто его не было вовсе. Все было сведено к тому, что я «добровольно сдался в плен».

Я отказался все это подписывать, капитан начал кричать, уже перешел на «ты», назвал меня изменником родины и сказал, что здесь он решает, что и как писать. Предложил подумать, а сам ушел, оставив меня с надзирателем. Отсутствовал он довольно долго, а когда вернулся и узнал, что я не изменил своего решения, сказал:

— Ну что ж, не хочешь подписывать сейчас, подпишешь потом... Мы еще вернемся к этому. Рассказывай, что было дальше.

О том, как я пробирался в Сумы на конспиративную базу, как наткнулся на карателей и едва не был расстрелян, как был арестован жандармерией и бежал, встретился с подпольщиками, снова был схвачен и снова бежал — не вызвало его внимания. Все это было ему неинтересно. Он почти ничего не записывал.

Следователь часто прерывал меня, заявлял, что к существу дела это не относится. Отпустил он меня лишь под утро.

Едва я лег и заснул, тут же объявили подъем. Весь день меня клонило ко сну. Сильнее давала себя знать слабость от недоедания. Но стоило задремать, сидя на скамейке, как раздавался стук в дверь и крик надзирателя: «Не спать!».

С трудом дождался я отбоя и сразу уснул. Но вскоре меня уже тормозил надзиратель. Снова переход по галереям, мостикам и трапам. Снова вопрос следователя:

— Надумал?

— Нет, подписывать не буду.

— Хорошо, рассказывай дальше.

И снова допрос до утра.

Так тянулось из ночи в ночь. В следственные протоколы включались только те моменты моей военной биографии, с помощью которых следователь рассчитывал

представить меня изменником родины. Делал он это часто в ущерб логике и здравому смыслу. Так, например, он не указал, что в Эссене я оказался не случайно, а выполняя задание нашей разведки.

Любому, кто хоть немного знал обстановку в Германии тех лет, было ясно, что, свободно владея немецким языком, я мог бы при желании совсем иначе распорядиться своей судьбой. Я мог без особого труда оказаться в зажиточном крестьянском хозяйстве, обеспечив себе почти свободную и сытную жизнь. Казалось, ясно это должно было быть и следовательно... Но капитану, как и всем людям его толка, трудно было поверить в поступки, на которые сами они не способны. Мой следователь не мог себе представить, что, владея немецким языком, я скрывал это, не стал переводчиком и, таким образом, добровольно отказался от благ. Следователь нарочито умалчивал о моей деятельности на заводах Круппа, и в этом была своя логика: в противном случае все его старания изобразить меня изменником и предателем выглядели бы явным абсурдом. Вот вам и «симпатичный следователь, похожий на знаменитого киноартиста!..»

Пытка лишением сна продолжалась. Яркий свет лампы в камере, казалось, сверлил мозг. Знакомая до мелочи, до пятнышка на стене обстановка, еженочно повторяющийся путь к следователю — раздражал все больше и больше. Трудно стало сосредоточиваться. Читая протоколы, я терял ход мысли. Иногда мне начинало казаться, что рассудок покидает меня.

Видно, следователь это почувствовал и дал мне передышку. Ему, как коту, интереснее было играть с еще живой мышью. Я отсыпался не только ночью, но и днем, стоя в камере, и на ходу на вечерней прогулке. Но тут особенно остро начал ощущаться голод. Получать передачи из дома мне так и не разрешили. Все мои мысли теперь сконцентрировались на еде, как тогда по пути в Сумы или в фашистских лагерях. Начались вкусовые галлюцинации. То совершенно отчетливо чувствовался запах домашних пирогов, то пшенной каши, которую в детстве я не любил, а теперь нещадно корил себя и мысленно подсчитывал, сколько набралось бы полных мисок несъеденной каши. А больше всего мечталось о черном сухарике.

Чтобы не так долго тянулось время между кормежками, мы с напарником решили сделать шахматы. Вылепить их из хлеба, отрывая от мизерной пайки, было выше наших сил. Я предложил использовать песок с гли-

ной. Его можно было набрать в тюремном дворе, куда нас выводили на прогулку. Правда, сделать это было непросто. Часовой на мостике сверху следил за каждым шагом. И все же за несколько дней нам удалось собрать огромное количество строительного материала и вылепить отличные шахматные фигурки. Квадраты нацарапали на столе. Теперь, за шахматными баталиями, время тянулось не так мучительно долго.

Как-то я обнаружил в доске своего лежака выступающую головку гвоздя. Несколько дней я ковырял ногтями древесину, расшатывал гвоздь, и наконец он поддался. Торжествуя, я показал вытянутый гвоздь напарнику и тут же спрятал его, воткнув между каблуком и подошвой сапога.

— А для чего он тебе, уж не бежать ли задумал?.. Стену гвоздем не процарапаешь — толщина не менее метра. Да и вообще, едва ли кому удавалось бежать отсюда. Это невозможно, — сказал он.

Я больше всего не любил слово «невозможно» и тут же возразил:

— Бежать можно и отсюда. Для этого необязательно рушить стены или делать подкоп. Представь: ты делаешь вид, что душишь меня. Надзиратель открывает дверь и старается тебя оттащить. Я сбиваю его ударом. Связываем ему руки и ноги простынями и затыкаем рот. Затем один из нас, у кого больше с ним сходства, надевает его форму и, щелкая пальцами, ведет другого к выходу. В карманах у нас песок, подобранный в прогулочном дворе. Им можно сыпануть в глаза вахтерам на выходе. Главное — действовать энергично и смело. Конечно, шансов немного. Практически нет... Но может повезти...

Я валял дурака — от скуки. И называл эти фантазии гимнастикой ума.

Напарник недоверчиво покачал головой, но все же попросил показать ему приемы и места, куда надо бить. Я продемонстрировал кое-что из того, что знал и умел. Ему захотелось овладеть этими приемами: в лагере они могут пригодиться для защиты от уголовников. Но удары у него получались вялые, в них не было резкости. И весь он был какой-то рыхлый. Нет, для таких дел он явно не годился. Я посоветовал ему каждое утро тренироваться, отрабатывать резкость удара. Во время показа ударов несколько раз открывался глазок. Видно, надзирателю тоже было любопытно.

Вечером я один вышел на прогулку. Напарник пожаловался на недомогание. Вернувшись с прогулки, я

не застал его в камере. А спустя некоторое время дверь распахнулась и вошли трое надзирателей. Меня поставили лицом к стене, обыскали, извлекли из кармана горсть песка с глиной, принесенных с прогулки для ремонта шахматных фигурок. Приказали разуться, вытащили из-под каблука спрятанный там гвоздь.

Им все было известно. Напарник оказался «подсадной уткой». Опять я попался.

Меня отправили в карцер — холодный и тесный. Там был только голый лежак, без матраца и подушки. Раз в сутки давали кусок хлеба и чуть теплый чай. Иногда эти сутки казались нестерпимо длинными. Холод здесь был еще нестерпимее, чем голод. Размеры карцера не давали двигаться, здесь нельзя было согреться. Часами сидел я на голой доске, обхватив себя руками. Так казалось теплее.

Окна в карцере не было. День перепутался с ночью.

Однажды, должно быть, ночью, я лежал и не мог заснуть от холода. Двигатель не работал, тюрьма казалась вымершей. Вдруг до слуха донеслось постукивание. Сначала я подумал, что где-то что-то ремонтируют. Но по ритму понял, что это не так. Звук был очень слабый, глухой, трудно было установить, откуда он. Казалось, что стучат рядом за стеной, потом — что звук доносится откуда-то сбоку или снизу. Я подумал: кто-то ищет со мной общения, и ответил стуком в том же ритме. Тут же в ответ послышалось несколько частых торопливых ударов. Словно некто за стеной обрадовался, что ему ответили. После небольшой паузы прозвучало десять ударов, я ответил тоже десятью ударами. Потом прозвучало восемнадцать ударов, и я снова отстукал столько же. Потом четырнадцать... Удары повторились в том же порядке — и так несколько раз. Наконец я догадался, что число ударов соответствует номеру буквы в алфавите. Получилось слово «кто». Я чуть не зашелся от радости... Часто застучал в стену в знак того, что вопрос понял. Простучал свою фамилию. В ответ мой собеседник простучал свою.

Так я освоил эту, а позднее и более сложную систему перестукивания... Прежде всего я сообщил фамилию подсадной утки и просил, чтобы предупредили соседей, если есть с ними связь. От перестукивания по каменной стене у меня стали распухать суставы, но радость общения была куда сильнее этой боли. Каждую ночь, точнее, в то время когда не работал двигатель, мы продолжали наш разговор.

После карцера меня поместили в небольшую камеру, где уже были два человека. Один высокий, стройный красавец в кителе морского офицера, с небольшой бородкой. Другой — невысокого роста, пожилой, с круглым бабьим лицом без признаков растительности, с приплюснутым носом и щелками монгольских глаз. Он сидел на кровати-лежаке, поджав под себя ноги. Будда не Будда, шаман не шаман... Мы представились друг другу. Моряк оказался капитаном польского военно-морского флота, но разговаривал он на чистейшем русском, без единого намека на польский акцент. Я все больше обращался к моряку, хотя он был совсем не разговорчив. Поначалу я решил, что «шаман» плохо говорит по-русски. Но вскоре выяснилось, что он прекрасно говорит не только по-русски, но знает французский, английский, китайский, японский и еще несколько восточных языков. Он окончил два высших учебных заведения, одно из них во Франции. И был этот уникальный башкир не кто иной, как Великий Имам Дальнего Востока. Ему при жизни сооружен памятник в г. Дайрене. В 1918 году у него была встреча с Лениным. В Лефортово его доставили из Дайрена вместе с каким-то японским наследным принцем, после капитуляции Японии в 1945 году. Хазрату — так он просил себя называть — шли многочисленные посылки из многих стран. Общаться с ним было очень интересно. От него я много узнал о магометанстве, о жизни и религии мусульман. Дважды в день он совершал молитвенный обряд. Делился с нами продуктами из полученных посылок. На допросы, а точнее, на «беседы», как он их называл, вызывали только его. Гебисты хотели перетянуть имама на свою сторону, с далеко рассчитанными наперед целями...

Следствие по делу моряка было закончено. Его подозревали в связи с иностранной разведкой...

Мой путь по лефортовским ухабам продолжался.

Вскоре меня снова поместили в одиночную камеру. Когда опять привели на допрос, я увидел моего следователя в благодушном настроении.

Он угостил меня «Казбеком» и как ни в чем не бывало сказал:

— Ну вот что: все, о чем мы с тобой до сих пор говорили, все это ерунда. Теперь мы займемся настоящим делом. Нас интересует твоя связь с Интеллидженс сервис...

Я невольно рассмеялся.

— Поздравляю!.. Если так, то вам придется освобо-

дить меня. Вот этого вы никогда не докажете!

— Ну что ж, увидим.

Снова каждую ночь допросы. Только я засыпал, входил надзиратель, тряс меня, спрашивал фамилию, хотя в камере я был один, и вел к следователю. Допрос продолжался до утра. Следователь часто отлучался, и его подменял человек в штатском, который внешне немного походил на меня.

Этого человека интересовала Вена, мои связи, круг моих знакомых, подробное описание города, характерные особенности венцев, система образования многое другое. На следователя он не походил, и его роль так и осталась для меня непонятной. Хотя... не трудно было догадаться.

Утром, незадолго до подъема, меня приводили в камеру. Я раздевался, тут же засыпал. Но объявляли подъем, и я должен был подниматься. Лефортовская круговерть не отличалась разнообразием. Тогда я приноровился дремать стоя, вставал спиной к двери, закрывал глаза и отключался. Но и эта хитрость скоро была разгадана. Надзиратель стал требовать, чтобы я стоял лицом к глазку.

Обычно допрос начинался с вопроса: «Ну что, надумал?».

Однажды следователь заявил:

— Вот ты стараешься выгородить своих друзей в Половинке, — и он назвал Виктора Ивановича и, конечно, Лиду. — А они дали показания против тебя. — В доказательство он потряс какими-то бумажками, но не показал, что в них написано.

— Все упорствуешь, не хочешь сознаться. Твоя подруга уже спуталась с главным инженером шахты.

Как выяснилось позже, Лида в это время находилась в больнице. После моего вынужденного отъезда у нее было сильное нервное потрясение, а после выхода из больницы она приехала в Москву и некоторое время жила у нас дома, добивалась разрешения на свидание со мной, но, разумеется, не получила.

Допросы, пытка лишением сна — страшная пытка — продолжались теперь почти непрерывно, даже по воскресеньям.

Когда подошли к венским событиям, я умолчал о совместной операции движения Сопротивления с частями 3-го Украинского фронта по освобождению Вены. Моя причастность к этой операции и знание полной правды о ней уже едва не стоили мне жизни тогда, в сорок пя-

том. Эти добивались от меня признания в связях с английской разведкой!

Я был на грани помешательства. Еще немного, и я сознался бы в любом преступлении, даже в связях с преисподней. Но в самый критический момент, когда нервная система была истощена до предела, где-то внутри меня зазвучала музыка. Да-да — музыка. Она была подобна прохладной струе воды, утоляющей многодневную жажду. Эта музыка заполнила меня всего, перенесла в какой-то другой мир, где не было ни тюрьмы, ни следователя. И хотя я отчетливо видел его за столом, дымящего папиросой, и даже, кажется, отвечал на его вопросы, но все это было уже как бы помимо меня. И более того, меня не затрагивало. Я наслаждался чудесной мелодией и чувствовал; как отдыхает мой мозг и все тело. Это было невероятно. Когда перед подъемом меня привели в камеру, я совсем не хотел спать.

Все это произошло в самый последний момент, как спасение — было похоже на какую-то космическую подпитку, на Святую Защиту...

В этот день надзиратель ни разу не стучал в дверь. Я с нетерпением ждал допроса, чтобы снова услышать чудесную музыку. И она зазвучала снова, как только я опустился на табурет в кабинете следователя. Он, видимо, заметил перемену во мне, но не мог понять причину. Вроде бы все делал по инструкции, и его метод всегда срабатывал. А тут вдруг осечка за осечкой. Он стал нервничать, еще больше курить, часто вскакивал — выходил. Обычно уравновешенный, он стал чаще кричать. Даже однажды чуть не ударил, когда на очередной его выпад я сказал:

— Вы, — это вы делаете преступниками честных людей.

Он вплотную подошел ко мне и прошипел сквозь зубы:

— Тебе это дорого обойдется. Я загоню тебя туда, куда Макар телят не гонял. Оттуда уже не выберешься.

Несмотря на все его старания, с Интеллидженс сервис у следователя ничего не получалось. Я научился управлять спасительной музыкой. Делал ее звучание громким, когда нужно было заглушить его брань, и видел только шевелящиеся губы, как в кино, когда пропадает звук. Следователь недоумевал.

Дважды меня возили на Лубянку, держали там часами в «стоячей камере» — когда ноги затекают и пухнут, немсют до полного одеревенения. Меня тщательно

обследовали их врачи — большие специалисты по общим вопросам и мало что понимающие в психиатрии, а в моей музыке и вовсе не разбирающиеся. Они задавали мне совсем не медицинские вопросы — все пытались доискаться, не псих ли я. А еще: откуда это у меня рубцы от ранений, сделанные, видите ли, «не фронтовым способом» (неметаллическими зажимами), а профессиональным игльно-ниточным швом?.. — Уличили!.. Вот уж действительно следовательская медицина.

Как-то после отбоя меня не повели, как обычно, на допрос. В ожидании подвоха я вспомнил майора-смершевца, того, что допрашивал меня в Бадене в 1945 году. Это была моя первая встреча с представителем всемогущего ведомства. И тому майору и этому следователю — уж очень хотелось сделать из меня изменника родины, какого-то империалистического шпиона. Почему этого хотелось тому майору, я знаю: меня нужно было устранить как нежелательного свидетеля. Чем же я им помешал теперь? Отчего так старается этот капитан?..

Я знал, что из Лефортово есть только два выхода: первый — в лагерь, второй — в небытие... Для второго выхода больше всего подходили те, кто не совершил никаких преступлений. Деятелю этого ведомства не составляло труда состряпать любую фальшивку. Грош цена была следователю, не умеющему из простого советского человека сделать шпиона, или, на худой конец, просто врага народа. При этом они входили в такой раж, что потом сами удивлялись, какого матерого врага разоблачили. В итоге врагу — «вышка», следователю — благодарность от начальства и народа. Я рассудил и твердо решил: меня больше устраивает первый выход — в лагерь.

И вот тут ко мне пришло некое просветление. Я понял, что надо помочь капитану в стряпани моего дела. А то ему одному не справиться, а отдуваться-то придется мне. Если ему, чтобы упечь меня в лагерь, недостаточно будет того, что он уже попытался приписать мне, то он пойдет на запредельную фантазию, и тогда меня уничтожат... Нужно подбросить ему что-нибудь попроще, от себя... Но попроще... чтобы «с правом переписки», а не «без»... Например: мол, «добровольно сдался в плен» (покажите мне такого кретина, который «добровольно» лезет в пасть к крокодилу); мол, «работал переводчиком; завербовался к самому Крупну аж электриком; послан учиться в Вену самым гауляйтером Рура... Но главное — не переборщить. И ни слова больше об участии в

подпольной и разведывательной работе. Ни слова!.. А то ведь, чего доброго, не судить, а выпускать надо, да еще извиняться, платить компенсацию и награждать?! Этого здесь ни в одном циркуляре не предусмотрено. Ведь их дело — врагов народа создавать, а наше дело им помогать. Или уж, на худой конец, не мешать!.. Но до таких мыслей дозреть надо — просто так, в нормальную голову они прийти не могут. До них доводят.

Вот такое сквозное прозрение поразило меня, но другого выхода из этой мертвой ловушки тогда я не нашел.

Захотелось, очень захотелось поскорее с моим заклятым капитаном увидеться, пока он сам какую-нибудь еще более скверную каверзу не придумал, «на всю катушку».

Я догадывался, что в арсенале Лефортовской тюрьмы были и другие методы допросов, и понимал, что рано или поздно меня сломают. Позже мне рассказали, что в следственных кабинетах нижнего этажа под рокот двигателя, о котором я упоминал, допрашивали менее утонченными способами. У человека, который рассказал мне это, были выбиты зубы, тело в кровоподтеках, суставы кистей рук раздроблены.

Несколько дней меня не вызвали. Возможно, самому капитану потребовалась передышка. Шутка ли так истязать себя? Каждую ночь, без выходных. Одного «Казбека» сколько извел.

На очередной допрос меня вызвали раньше обычного. Сразу после того как заработал двигатель. Повели не вверх, а вниз. Следовательно и в самом деле выглядел осунувшимся. То ли приболел, то ли получил нагоняй от начальства за то, что либеральничал со мной. Что-то подсказало мне: промедление может обернуться большой бедой. Пора!

Не дожидаясь, когда он задаст свой обычный вопрос: «Ну что, надумал?», я сам обратился к нему:

— Мы изрядно надоели друг другу. Больше мне вам сказать нечего. Теперь остается только придумывать то, чего не было. Стоит ли зря терять время. Я подпишу протоколы, хотя они и искажают суть дела. Что же касается Интеллидженс сервис, это несерьезно, начальство может усомниться в Ваших профессиональных качествах. Я не надеюсь выйти отсюда на свободу. А для лагеря, наверное, уже достаточно того, что вы там написали — сотен пять страниц будет... Кое-что можно будет еще дополнить... — осторожно пообещал я.

Удивительно, но следователь дал мне все это высказать и ни разу не перебил. Может быть, он думал, что

я буду продолжать упорствовать и именно сегодня намеревался применить ко мне так называемый жесткий допрос. А я вроде бы уступил, словно предупредил его намерения. И это как-то обезоружило его. Он принял предложенный мной компромисс.

Показывая на три пухлые папки следственных протоколов, капитан произнес:

— Может быть, когда-нибудь ты напишешь роман. У тебя биография поинтереснее, чем у графа Монте-Кристо. И выдумывать ничего не надо.

Хотя следствие еще не закончилось и впереди предстоял трибунал, но был повод немного воспрянуть духом. Мне кажется, появился первый просвет...

Еще несколько допросов, и я подписал протокол об окончании следствия. Меня ознакомили с показаниями свидетелей. Австрийские друзья-антифашисты подтвердили мое участие в подпольной работе.

По следственному заключению, я обвинялся в том, что сдался в плен, бежал из ссылки, проживал по поддельным документам. Я надеялся, что мне удастся доказать трибуналу несостоятельность этих обвинений. В плен я добровольно не сдавался, в официальной ссылке не значился, а побеги совершал только в тылу у фашистов. Моя деятельность там подтверждена госпроверкой и письменными свидетельствами антифашистов-подпольщиков.

Теперь я ждал трибунала. Но дни шли, а меня куда не вызывали... Это было мрачное затишье... А когда наконец вызвали, то завели в небольшой кабинет, и чиновник в штатском подвинул ко мне лист бумаги со следующим текстом: «Особое совещание в составе... (кто был в составе, чиновник прикрывал рукой)... к десяти годам исправительно-трудовых лагерей».

— А где же суд, где трибунал, который должен меня судить?

Нехотя чиновник процедил сквозь зубы:

— Трибунал вернул твое дело за отсутствием состава преступления...

— Ну так нет ведь преступления, почему же десять лет?!

— А это спрашивай у Особого совещания.

— Я должен знать, кто такой щедрый, иначе подписывать не буду.

— Да хрен с тобой, можешь не подписывать. А впрочем... — И он отнял ладонь, с таким видом, словно хо-

тел сказать: все равно там скоро сдохнешь, смотри, не жалко...

Я прочел: «...в составе Абакумова, Алферова и Меркулова...». Вот уж не ожидал, что удостоюсь такой чести со стороны главного карательного треугольника страны.

Позже выяснилось, что осужденным обычно давали расписаться в копии приговора, где состав Особого совещания, как правило, не назывался. Чем объяснить, что на этот раз «тройка» раскрылась, — не знаю. Скорее всего исконно нашей расхлябанностью. А может быть, министру Абакумову захотелось удовлетворить свое мелкое честолюбие: отыграться за упущенную возможность расправиться со мной еще тогда в Бадене, в 1945-м. Мол, знай наших!..

Еще несколько дней я провел в Лефортовской тюрьме, но теперь уже в большой общей камере, человек на сто. Здесь находились самые разные люди. Многие были совершенно сломлены. Рядом со мною оказался человек из Краснодона, переживший там оккупацию. У него на теле не было живого места. Очевидно, это был один из тех, кого допрашивали под шум двигателя. У некоторых в глазах стоял ужас — они ни с кем не разговаривали, словно онемели. Но были и такие, кто сохранил силу духа, даже пытался шутить, ободряя других. Мне они были больше по душе.

Рассказывали, что Абакумов до вступления в высокую должность питал склонность к занятиям боксом. Став министром, нет-нет, да и достаивал чести подследственных лефортовской тюрьмы: не отказывал себе в удовольствии иногда «размяться» на наиболее упорных, разумеется, «в интересах следствия»...

18. КУДА МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГОНЯЛ...

Из Лефортовской тюрьмы осужденных увозили партиями. Перед отправкой мне передали из дома кое-какие вещи, в том числе мой новый темно-серый костюм, оставленный в Половинке. Как он оказался в Москве, я тогда еще не знал (о том, что Лида приезжала к маме в Москву, добивалась свидания со мной, я узнал много позже). Только зачем его передали мне — этот костюм?.. В том опсихелом мире, куда мне предстояло отправиться, из-за такого костюма уголовники могли просто прирезать. Так мне сказали товарищи по камере и посоветовали нашить сверху несколько заплат для маскиров-

ки. А сделали мне этот костюм в городе Половинке, в индпошиве.

Почти каждое утро открывалась дверь камеры и зачитывались фамилии: «На выход с вещами!». В одну из групп попал и я. Нас, человек десять, втиснули в фургон без окон, где уже было примерно столько же людей. Привезли на какую-то товарную станцию. Здесь, под охраной конвоиров с собаками, шла погрузка заключенных в «столыпинские» вагоны, введенные еще до революции царским министром Столыпиным для перевозки переселенцев и заключенных. Более удобные и приспособленные для человека (хоть и арестованного) при нормальной загрузке, они в системе ГУЛАГа превратились в настоящее орудие пыток.

В тесное купе нас затолкали столько, что на двухэтажных нарах-полках можно было лежать только на боку, тесно прижавшись друг к другу. Конвой суетился, спешил, но все равно все совершалось очень медленно. Лишь к вечеру наш вагон прицепили к какому-то составу, и поезд тронулся. За весь день нас не кормили ни разу, только теперь дали по куску очень соленой рыбы без хлеба. Хотя все видели, что хлеб загружали. Некоторое время спустя «рыбка запросила пить». Но поить нас никто не собирался. Жажда становилась все невыносимее. На наши просьбы конвоиры не отзывались. Стали раздаваться возмущенные крики. Зрел бунт. Тогда начальник конвоя — старшина — открыл решетчатую дверь купе, и тот, кто был ближе к двери, не успел и моргнуть, как оказался в наручниках. Они так сильно сдавили запястья, что заключенный начал кричать и трясти руками. Он не знал коварного свойства этих наручников, прозванных «шверниковскими» — по фамилии Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Каждое резкое движение сопровождалось щелчком, и наручники еще сильнее сдавливали запястья. Бедняга кричал от нестерпимой боли и еще сильнее тряс руками, а сталь еще глубже врезалась в тело. Душераздирающий крик — не аргумент для конвоира, а подтверждение действенности принятых мер. Пострадавшего спасло только то, что от боли он потерял сознание.

— Кто еще хочет пить? — с издевкой, под гогот остальных охранников, спросил старшина. Все молчали. Я вспомнил, как хладнокровно расстреливали эсэсовцы евреев, попавших в плен под Харьковом, и мне показалось, что между теми и этими много общего. Только те не хохотали. Для тех они были врагами, которые стреляли

в них и так же, как и они, убивали. А для этих?.. Через их руки проходили не сотни и не тысячи осужденных, а сотни тысяч. Неужели они все не понимали, что в народе не может быть столько преступников, изменников, врагов народа?

От невыносимой жажды люди обезумевали. Надо было что-то придумать. Я заметил одного конвоира, который не принимал участия в издевательствах над нами. У кого-то нашелся листок бумаги и огрызок карандаша. В несколько минут я набросал портрет этого конвоира и, когда он проходил мимо нашего загона, показал ему рисунок. Хотя это и пахло заискиванием, но что было делать? Конвоир остановился. Я свернул рисунок в трубочку и протянул ему через решетку. Конвоир долго рассматривал портрет, словно впервые увидел собственное лицо, потом ушел и вскоре появился с ведром воды. Это была невиданная победа — «Влияние искусства на массовое сознание!». А чуть позднее он же принес хлеб и пачку махорки. Некоторое время спустя наполнил и остальные отсеки.

Ко мне стали проявлять признаки внимания и даже какого-то уважения. Один из уголовников сообщил:

— Теперь ты вроде академика в законе!

Тогда я не придавал его словам значения, но это оказалось куда серьезнее, чем я мог предположить.

В нашем этапе не было мелких уголовников. Здесь были крупные преступники с неоднократными судимостями и большими сроками — так называемый «цвет преступного мира»: грабители банков, ювелирных магазинов, крупные рецидивисты, виртуозы-«медвежатники», предводители банд и содержатели притонов. Многие из них, общаясь с образованными, интеллигентными людьми, которые в ту пору составляли большинство на этапах, в тюрьмах и лагерях, нахватались «культуры и науки», даже могли, когда это им было нужно, сойти за неплохо образованных людей. К тому же, не редко они обладали живым, острым умом. Во всяком случае, среди этого разряда уголовников я не встретил ни одного дурака и знал даже нескольких с высшим образованием.

Обеспечив всем обильный водопой, я и не подозревал, какую медвежью услугу оказал себе и всем остальным. От выпитой воды возникла естественная потребность — отлить. Конвоиры водили по одному в туалет, но явился старшина и запретил это передвижение. Кто не мог терпеть, мочились под себя. Не повезло больше

других тем, кто располагался внизу, на нижних полках... Поднялся шум, снова защелкали наручники и снова раздались истошные крики да крошечный мат.

Здесь, в этой тюрьме на колесах, приоткрылась, может быть, одна из причин бесчеловеческого отношения к узникам. Кусок газеты, переданной нам вместе с махоркой, оказался гулаговской малотиражкой для служебного пользования, под девизом: «Смерть изменникам Родины» (вместо обычного — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). В ней я прочел призыв: «Никакой пощады врагам народа, предателям и шпионам, агентам иностранных разведок!». Газета призывала все партийные ячейки «усилить активную политико-воспитательную работу в охранных подразделениях, ежедневно разъясняя всему личному составу почетную роль органов по беспощадной очистке общества от внутренних врагов, на благо всего советского народа». Можно ли было после ежедневной накачки, где все мы, политические, представлялись лютыми врагами, ожидать от вохровцев иного к нам обращения? Виновность каждого из нас не должна была вызывать у них сомнений. Охранник чувствовал себя «народным мстителем», а «за что мстить» — причин накопилось у всех предостаточно.

Что касается уголовников, этих «социально близких» строю и карательным органам, то их здесь давили, как мне казалось, для острастки — чтобы политическим было еще страшнее и трепетнее...

Поезд часто останавливался. Нас отцепляли, прицепляли вновь и везли, везли дальше. И если говорить о разнице между гитлеровскими лагерями и сталинскими — а я могу их сравнивать, — то в первых, пожалуй, было побольше порядка... По беспредельному изуверству они были равны.

Первая выгрузка была произведена в городе Кирове. Там находилась Вятская пересылка. Прибыли мы туда вечером. До тюрьмы шли пешком, под конвоем с собаками. Одноэтажное, из потемневших, почти черных толстых бревен здание тюрьмы было огорожено сплошным высоким забором со сторожевыми вышками по углам.

Огромная общая камера до отказа набита людьми. Крохотные оконца ехидно поблескивали под потолком. У одной стены — двухъярусные нары. Сырые почерневшие

стены и земляной (возможно, впрочем, так показалось) пол. Никаких признаков отопления. Согревались снова тем, что прижимались друг к другу, — «о великое российское братство!». Только успели загнать нас в камеру — погас свет. Я с трудом протиснулся подальше от двери и параши, источавшей вонь. Улегся на холодный грязный пол, положил голову на чьи-то ноги, в сырых вонючих валенках, и тут же заснул.

Утром принесли пустой кипяток. Объявили, что питание на двое суток вперед нам выдадут «сухим пайком». Разумеется, потом!

Как только дневной свет проник сквозь грязные стекла окошек, меня кто-то окликнул с верхних нар. Потеснились, дали место, сунули в руки кусок хлеба с салом, отсыпали самосада. Это знакомые по вагону матерые уголовники держали слово. Оказалось — вот что такое похвала «в законе». Я недоумевал, откуда у них такое богатство. А спросить не решался. Вскоре источник снабжения стал понятен. Загремел засов, открылась дверь, и в камеру запустили пополнение. Многие оказались местными жителями. У некоторых были довольно объемные котомки. Одни тут же доставали продукты, завтракали сами; другие делились с товарищами по несчастью; третьи клали котомки под себя, украдкой вытаскивали провизию и торопливо, чтобы никто не заметил, ели. Одного из таких и заметили сверху мои покровители. Его запасы были тут же реквизированы.

В вятской богодельне мы пробыли около двух суток без казенного питания. И снова — путь на восток в столыпинском вагоне. В пересыльных тюрьмах нас размещали по разным камерам. Сначала я думал, что это случайно. Но, как выяснилось, надзиратели специально отбирали тех, на ком еще уцелела приличная одежда. Их помещали в камеру с уголовниками. Нетрудно представить, что происходило дальше. У них отнимали все, что можно было сбыть надзирателям за табак, хлеб, а иногда и за водку. Сопротивляться или звать кого-нибудь на помощь было бесполезно. Тюремщики и уголовники действовали единым фронтом.

Все, кто начинал со мной этап в приличном виде, теперь были одеты в жалкое отрепье. У многих не осталось даже обуви: ноги были обмотаны тряпками. Среди них я выглядел «полным пижоном». На мне было приличное московское пальто, теплая рубашка, даже хромовые сапоги. Уцелел и новый темно-серый костюм, с фальшивыми заплатами. За время этапа мне не пришлось еще рас-

статься ни с одной вещью — вот что значит «магическое влияние искусства на народные массы (которым оно принадлежит)», ну и покровительство верхушки блатного мира. Я быстро понял и оценил свое преимущество. Если попадал в камеру с незнакомыми мне по этапу, я окидывал взглядом верхние нары, где обычно располагалась уголовная элита. Если даже там не было никого из знакомых, пробирался вперед, пользуясь замешательством, вызванным моим шикарным видом, швырял небрежно наверх свою котомку и устраивался рядом. Плюс облегченный блатной жаргон, несколько известных в уголовном мире имен, подцепленных у тех же уголовников. Действовал этот прием безотказно. И все же один из «шестерок»¹ как-то попытался меня прощупать; он нацелился на мою котомку и даже умудрился запустить туда руку — «играть так играть до конца». Пришлось коротким ударом в солнечное сплетение охладить его любопытство. Бедняга долго не мог вздохнуть и сипел. Остальные недоумевали, а что же, собственно, произошло?.. Но больше прощупывать меня никто не пытался.

В одной пересылке мне предложили сыграть в «бурю» на мое пальто или сапоги против английского френча. В нем, неизвестно откуда добытом, щеголял один из главарей картежной компании. Признаться в том, что из всех карточных игр я знаю только «подкидного дурака», значило полностью разоблачить себя. Пришлось под большим секретом открыться:

— Ухожу с концами (то есть готовлюсь совершить побег). Мне английский френч и на ... не нужен...

У блатных побег всегда считался делом серьезным.

Конечно же, я общался не только с уголовниками. Много интересных людей пришлось встретить на этапах, пересылках и в лагерях. Математики, физики, конструкторы, поэты, писатели, артисты, дипломаты. Как правило, это были известные, талантливые люди.

Бывали случаи, когда в лагерь попадали и несовершеннолетние. Рассказывали, что во время этапирования умерла женщина. При ней находился ее сын, подросток, лет одиннадцати-двенадцати. Фамилия украинская, а мамины инициалы подправили.

Так и оказался паренек в лагере... Потом он, уже с

¹ Мелкое ворье, прислуживающее «элите».

помощью заключенных, писал и в Верховный Совет, и Швернику, и даже лучшему другу всех детей, отцу родному, товарищу Сталину. Но ни ответа, ни привета. Тогда ему кто-то посоветовал: «Напиши товарищу Ленину!» Письмо пошло с таким адресом: «Москва, Красная площадь, Мавзолей. Владимиру Ильичу Ленину»... И вот только после этого освободили парнишку.

В Новосибирской пересыльной тюрьме мне пришлось познакомиться с академиком Париным Василием Васильевичем — секретарем Академии медицинских наук СССР, осужденным на двадцать пять лет за так называемое разглашение государственной тайны, а он всего-навсего прочел доклад на международной научной конференции; с академиком Баландиным Алексеем Александровичем, замечательным химиком, действительным членом нашей и многих зарубежных академий (этот отбывал десятилетний срок в Норильских лагерях — Бог знает за что?); с полковником Николаем Ивановичем Заботиным, помощником военного атташе в Америке (он, насколько мне известно, был среди тех, кто вторгался в сферы американской секретности на атомную тему). Я был дружен с биохимиком Побиском Георгиевичем Кузнецовым, впоследствии ставшим видным ученым. Но о нем придется рассказать позднее и подробнее.

Я познакомился со многими другими известными или неизвестными, наглухо засекреченными людьми, и с теми, кто еще не успел стать известным — молодыми, талантливыми, загубленными навсегда. Была здесь и целая группа наших летчиков-асов. Они не побоялись перед войной открыто заявить руководству о том, что наша истребительная авиация уступает немецкой и в вооружении, и в скоростях, за что и получили по десять-пятнадцать лет лагерей.

Так называемый исправительно-трудовой лагерь и вся разросшаяся до гигантской раковой опухоли система — эта клоака и отстойник всех человеческих гнусностей.

Но вот и последний пункт этапа. Пересыльный лагерь около Красноярска.

В этом лагере мы пробыли с неделю. Мое внимание привлекла усиленная охрана на сторожевых вышках. Вместо одного «попки» на каждой вышке было по два. От obsługi узнали, что незадолго до нашего прибытия здесь произошло восстание. Его инициаторами, кажет-

ся, была группа блатных. Они набрали камней, подобрались поближе к одной из сторожевых вышек и по команде атаковали часового, тот не успел и глазом моргнуть. Несколько человек перелезли через проволочное ограждение, взобрались на вышку, захватили ручной пулемет и открыли огонь по охране на других вышках. Под прикрытием огня заключенные повалили ограждение, убили охранников еще на двух вышках. Чуть ли не половина лагеря ушла в тайгу.

Многих поймали, но некоторым удалось уйти. Такова была лагерная легенда. В доказательство показывали пулевые отметины в досчатой обшивке вышек.

В Красноярске завершилась сухопутная часть пути, теперь начинался водный — по Енисею. Никогда не видел я этой великой реки, по которой предстояло проплыть несколько тысяч километров чуть ли не до самого устья, проплыть в глухом трюме баржи и не увидеть ни самой реки, ни ее берегов.

На рассвете нас грузили под усиленной охраной. Буксир разорвал хриплым гудком странную, я бы сказал, драматическую тишину и потянул караван огромных барж вниз по течению. На север, вслед за паводковым льдом.

Сквозь квадратный люк в палубе видны были лишь небо да часовые с винтовками. Пищу один раз в сутки опускали в трюм ковшами на длинных палках. Мисок не хватало. Овсяную баланду набирали в шапки или просто в пригоршни. Если в трюме возникала драка, конвоиры усаживали дерущихся деревянными кувалдами на длинных рукоятках. Спускаться к нам в трюм конвой не решался. Почти все время приходилось проводить лежа на нарах. Они занимали практически все пространство. Табак и спички отобрали при погрузке. И все же кто-то ухитрился добыть огонь трением деревяшек, а вместо табака мы выковыривали просмоленную паклю из бортов баржи.

Мне досталось место на верхних нарах. Здесь было сухо, и сюда, через люк, шел хоть какой-то приток свежего воздуха. Внизу же от недостатка кислорода люди нередко теряли сознание. По днищу перекачивался слой вонючей жижи. Не видя самой реки, мы постоянно ощущали ее по плавному покачиванию, а иногда и по сильной качке с настоящей морской болезнью у заморенных эзков.

Недалеко от меня, на нарах, в окружении «шестерок» возлежал на куче телогреек и одеял весьма именитый пахан по кличке Гундосый. Там, где у него должен был быть нос, зияли две дырки, направленные вверх и немного в сторону. Одно ухо было начисто срезано, другое надорвано, как у матерого кота. Слова он произносил с таким гудением, что не всегда удавалось разобрать их смысл. Более зверского лица я не встречал, хотя самых различных харь повидал немало. Со своего ложа Гундосый вставал только по естественной надобности. Завтрак, обед и ужин, неизвестно откуда добытые, ему приносили приближенные «шестерки». В перерывах между приемом пищи и карточной игрой Гундосый пел. По отдельным признакам и словам припева это скорее всего была старая солдатская строевая песня «Жура-журавель». Но слова самой песни представляли собой бесконечную импровизацию. Каждый новый куплет начинался одной фразой: «Если вы хотите знать...». Дальше следовала импровизация: «Прокурорша тоже б...» — и шла рифмованная похабщина: «У ней в ж... карбюратор, а в ... аккумулятор. Жура-жура-журавель, журавушка молодой...». И снова: «Если вы хотите знать, у судьи есть тоже б..., у ней в ж... генератор...» и т. д. Перебрав всю юстицию, Гундосый принимался за лагерное начальство, не оставлял без внимания охрану, надзирателей, нарядчиков — словом, всю систему ГУЛАГа. Песня лилась без единой заминки в течение нескольких часов. При этом Гундосый обнаруживал незаурядную эрудицию в технике. В его арсенале помимо карбюраторов и генераторов были сепараторы, культиваторы и сотни других агрегатов. И что самое странное — слова песни он произносил вполне отчетливо.

В тюрьмах и на этапах мне довелось слышать разные песни, в большинстве своем заунывные, жалостливые. Эта не была похожа ни на одну: она отличалась мажорностью и неистребимым оптимизмом. И сам Гундосый все время пребывал в благодушном настроении, словно находился он в своем родовом княжестве, среди преданных сотрапов.

Я не мог постичь причину общего раболепия перед ним, пока случай не помог. С чего все это началось — не знаю. Очевидно, Гундосому кто-то не угодил или посягнул на его власть. Змеиным броском метнулся он в сторону. Мгновение, и его пальцы железной хваткой сжали горло жертвы. Несколько конвульсивных движений, и тело безжизненно обмякло. Некоторое время за-

душенный оставался лежать на спине с высунутым синим языком и вылезшими из орбит глазами. Потом Гундосый подал знак, и «шестерки» выкинули тело через люк на палубу, к ногам конвойных. Охрана даже не попыталась провести расследование, знали, что это бесполезно... Мерно покачивалась баржа, в трюме снова водворилось трагическое спокойствие, будто ничего не произошло, и Гундосый как ни в чем не бывало затянул очередной куплет: «Если вы хотите знать, у начлага тоже б...». В области «песенного творчества» он был неутомим.

Довольно часто, особенно в пересыльных тюрьмах, я уже встречался с подобными явлениями. Почти в каждой камере, наряду с осужденными по 58-й статье, имелась небольшая группка уголовников. Несмотря на их явное меньшинство, они терроризировали и подавляли всю остальную массу заключенных. Унижали, отбирали продукты и вещи, всячески издевались. В случае сопротивления жестоко избивали, захватывали лучшие места на верхних нарах. Чувствовали себя раскованно и свободно, как хозяева в своем доме. И я что-то не помню, чтобы попытки воспротивиться диктатуре блатных имели успех...

Гундосый не обладал заметной физической силой и не отличался сообразительностью. Вот в быстроте реакции и решительности ему равных не было. В камере находились люди высокого интеллекта. Многие из них были не робкого десятка, да и силой кое-кого Бог не обидел... Почему же они позволяли так издеваться над собой ничтожествам?

Гундосый со своими главными приближенными составляли как бы политбюро нашего трюма. Они обсуждали стратегию и тактику очередных реквизиций и расправ со штатом «шестерок» и остальной массой «фреров»; они являли собой как бы модель, копию всего сталинского государственного устройства.

Вожди-гундосые могли и не обладать интеллектом, физической силой для подавления соратников или сокамерников (то бишь своих приближенных или своего народа). Однако у них были звериное чутье и инстинкты, компенсирующие недостаток извилин. Вдобавок к этим качествам они, видимо, обладали еще гипнотическим, оболванивающим воздействием на людские сообщества, основанным, как правило, на тотальном страхе.

Неограниченная власть такого пахана превращала всю страну в огромную тюремную камеру, с блатной

(можно считать «партийной») элитой, с «шестерками», всегда готовыми на любые услуги, любые подлости. Вот в чем суть феномена Гундосого-Сталина или Гундосого-Гитлера. Я бы назвал это явление «синдромом удава». И мне было больно и стыдно: «Неужели я не смогу ему ничего противопоставить? Не спасовал перед мощной организованной фашистской национал-социалистской силищей и пасую перед своей сов-социалистической — какой позор...»

В империи ГУЛАГа у меня постепенно складывалось и сложилось впечатление, что именно лагерная структура являет собой основу, суть нашего общества, а все, что вне колючей проволоки, — это придаток. Система воспитания в нас, с детского сада, набора идеологической ненависти «к врагам всех мастей» постоянно давала свои плоды. В лагерях эта система приобрела завершенные формы уродливого монстра, ошметки и ядовитые вирусы которого мы тащим на себе и в себе по сей день. И еще удивляемся постоянно: «Откуда все это у нас?».

Система заставляла задуматься над ее истоками. В самом деле — откуда? Что за чума такая смогла поселиться в удивительном и разновеликом народе?.. Поселилась и разрастается!.. Как уберечься от этой чумы и не сгинуть?.. Только за вопрос, не говоря уже о любом ответе, можно было схлопотать девять граммов свинца в затылок. А вопросы роились и требовали ответов.

Шла вторая половина мая, весна должна была быть в полном разгаре, но почему-то воздух, проникающий через люк, становился все холоднее и даже морознее. А синь неба в квадрате люка — все прозрачнее, словно ее, как акварель, понемногу разбавляли... Караван входил в Заполярье.

Нашу баржу пришвартовали к причалу морского порта Дудинка.

В трюм опустили трап, началась выгрузка. Нас мотало из стороны в сторону, кружилась голова. Многие падали, хлебнув свежего воздуха. От долгого лежания мы едва не разучились ходить. Дудинка встречала нас пронизывающим ледяным ветром. На берегу громоздились глыбы льда, оставленные ледоходом.

Нас загнали в барак с выбитыми окнами, а потом небольшими партиями отправляли в баню. Я прилег на нары, положил под голову котомку.

Подошел парень в драном бушлате. Стал расспрашивать, откуда, что и как... Когда он ушел, я обнаружил, что из котомки исчез костюм. Пришлось расска-

зять о пропаже одному из знакомых блатных. Он тут же узнал, что это дело рук местных «шестерок», что вор со следующей партией пойдет в баню, и что я должен пойти с той же партией. Больше он ничего не сказал. По дороге в баню и в раздевалке я присматривался к окружающим, но ничего подозрительного обнаружить не мог. И только когда уже одевался, недалеко от меня произошел какой-то спор. Я услышал слова: «Где ты взял этот костюм?» Вора тут же избили и вернули мне пропажу.

После бани нас снова поместили в тот же барак. Прошел слух, что будут отправлять еще дальше, в Норильск. Желания отправиться еще дальше «куда Макар телят не гонял», у меня не было... А что если попытаться остаться здесь?.. Разыскал лагерного художника. Мы быстро нашли общий язык. Он подтвердил, что в этом лагере, обслуживающем порт, заключенным живется лучше, чем в других лагерях. Многие работают на разгрузке судов и от голода не пухнут.

Я попросил его помочь мне. Он сказал, что для этого нужна «лапа» — взятка начальству. Вот тут-то я и догадался, зачем мне мама всучила этот пижонский костюм. Мы вместе спорили все маскирующие заплатки. Костюм «начальнику» пришелся впору, и дело сладилось. Я был оставлен в Дудинке. Сразу же отправил письмо домой, а примерно через месяц получил ответ. Вот только тогда я и узнал, что Лида приезжала к нам в Москву. Маме она очень понравилась. Лида ей сказала, что будет ждать моего возвращения. Еще через месяц пришла посылка из дома и письмо от Лиды. В нем она сообщала, что решила приехать в Дудинку, чтобы быть поближе ко мне, и упрекала, что я сразу не написал ей...

Что я мог ей ответить?.. Приезжай, мол, буду очень рад!.. Но для чего?.. Для еще больших унижений на глазах у молодой женщины?.. Нет уж — это слишком. У меня впереди было десять лет лагерей. Я за колючей проволокой. Вместе мы все равно быть не сможем. К чему калечить еще одну жизнь? Пока нас ничего не связывает, она свободный человек, у нее еще есть что-то впереди. Есть какой-то шанс... Но все мои резоны не убедили Лиду. В каждом письме она настаивала на приезде ко мне. В конце концов пришлось написать, что у меня якобы есть другая женщина — пошлый, но безотказно действенный способ — наш! И я перестал отвечать на ее письма. Как ни тяжело было это сделать, но

иначе убедить ее я не мог. Уродливое решение в уродливых обстоятельствах.

Дудинский припортовый лагерь, среди лагерей ГУЛАГа, был не худшим. От разгрузки речных и океанских судов экам что-нибудь да перепадало, а потому не было такой острой уничтожительной зависимости от лагерной пайки хлеба и миски баланды.

Нас собрали в помещении клуба, и начальник по режиму долго говорил об обязанностях каждого эка. О правах — ни слова!.. И зачем?.. А сразу после обязанностей начальник перешел к призывам — добросовестно и самоотверженно... на благо нашего социалистического... И наконец показали какой-то очень старый фильм.

Бригада, в которую я попал, работала на погрузке сплавного леса — «баланов». Этот лес, заготовленный заключенными в сибирской тайге, по многочисленным протокам попадал в Енисей. Дальше он плыл по реке на север, в Игарку и Дудинку, в виде огромных плотов. В порту плоты разбирали и баграми вытаскивали бревна на довольно крутой берег. Работа требовала немалой физической силы, ловкости и сноровки. Толстые, в обхват, бревна, тяжелые от воды, часто срывались и устремлялись вниз. Не успеешь отскочить — в лучшем случае, покалечит. Эта работа считалась самой тяжелой и опасной. Ни урвать, ни пожить здесь было нечем, а потому всегда были свободные вакансии. Работу в лагере не выбирают. На нее назначают, не спрашивая вашего согласия и не принимая во внимание ваши возможности. Истощенному лефортовскими допросами и этапами, мне такая работа оказалась не под силу. А тут еще началась цинга. На теле появились темно-лиловые пятнышки, начали опухать ноги и руки, замедлилась реакция.

И опять своеобразное везение. Бревно, перекатившееся через меня, оказалось не таким уж толстым... Всего месяц провалялся в санчасти. Отдышался, пришел в себя. За это время познакомился с инженерами-эками, работающими в конструкторском бюро порта. Туда как раз требовался человек, и меня взяли как специалиста по конструкторско-чертежной работе. Везде блат и знакомства — в лагере тоже.

КБ находилось в общей охраняемой зоне, примыкающей к лагерю, и на работу мы ходили без конвоя. Работали там вольнонаемным и эки. Я быстро освоился

с относительно новой для меня профессией и флотской терминологией. Значительная часть технической документации была на английском и на немецком языках. Вольнонаемное начальство часто обращалось ко мне за консультацией.

Работа увлекла меня, как говорится, затянула с головой. Порой даже забывал, что нахожусь в заключении. Я побывал почти на всех кораблях, приписанных к Дудинскому порту. Знал многих капитанов и механиков. Каждый раз, вступая на палубу корабля, испытывал подобие пьянящего чувства свободы. Как свежее дуновение ветра. Наверное, потому что акватория порта была вне лагерной зоны и водный простор, в отличие от земли, пока еще не был опутан колючей проволокой.

Время от времени в порт прибывало пополнение — караваны барж с заключенными. Одна из барж каравана села на мель. Где-то далеко вверх по реке. Караван пошел дальше, а баржу оставили до прихода помощи. Но и помощи не было. В радиорубку порта начали поступать тревожные радиogramмы. Поначалу на них не больно-то обратили внимание — подумаешь, села на мель, не тонет же. Дальше — больше, в порт начали поступать сигналы бедствия: «Ускорьте присылку мощного буксира зпт формуляры начинают портиться тчк», — формулярами в радиogramме обозначались заключенные — несколько сот... Когда примерно через месяц злополучную баржу, наконец, приволокли в порт, «формуляры» из трюмов вытаскивали на носилках, у большинства из них лица были прикрыты шапками. После этого «недоразумения» размеры дудинского кладбища за один-два дня чуть ли не удвоились...

С окончанием летней навигации мой вольнонаемный шеф — начальник КБ, уехал до весны в Игарку, а меня назначили на его место.

Приближалась зима, дни стали совсем короткими, вскоре наступила полярная ночь. В соседнем с нашим КБ работала чертежницей симпатичная девушка Лена. Худенькая с короткой стрижкой и непокорной каштановой челкой. Она недавно приехала в Заполярье по комсомольской путевке. Как только я ее увидел, она мне сразу очень понравилась, но я и виду не показывал.

Часто она заходила к нам. То угостит чем-нибудь, то просто поболтает... Стали подшучивать, что зачастила она к нам, наверное, из-за меня. А шутки эти были опасными. За связь с ээком для нее: исключение из комсо-

мола и высылка на Большую землю — так здесь именовалась остальная, не заполярная территория страны. Меня за связь с вольнонаемной женщиной отправили бы в штрафной лагпункт. Все это я знал и упорно сохранял между нами деловую дистанцию.

Иногда мне приходилось задерживаться на работе. Случайно или преднамеренно Лена задерживалась тоже. Однажды, когда мы оба задержались, началась «черная пурга» — ураганный ветер и сплошная снежная карусель. Были случаи, когда такая пурга сметала с дороги колонну заключенных вместе с конвоем. Находили их уже мертвыми. Правда, в последние годы «черные пурги» стали помягче, но все равно в одиночку передвигаться было опасно, а порой и не под силу. Ветер сбивал с ног, стаскивал с дороги. Идти было рискованно, но и остаться вдвоем, возможно, на всю ночь — не менее опасно. Мы хорошо это понимали, а потому решили идти.

Едва мы ступили за порог, на нас обрушился неистовый снежный смерч. Ничего не было видно, кроме сплошной снежной пелены, настолько плотной, что нельзя было разглядеть даже ладонь вытянутой руки (отсюда и название — «черная пурга»). Идти против ветра вообще было невозможно. Тогда мы стали лицом друг к другу, прижались щекой к щеке, обхватив друг друга, как борцы, начинающие схватку. Только так можно было, пусть медленно, но продвигаться. Один шел спиной вперед, другой направлял его и подталкивал, помогал преодолевать напор ветра.

Но вот сильнейшим порывом нас сбило с ног и потащило с дороги вниз под откос. Я не сумел удержать Лену и тут же потерял ее из виду. А меня все волокло, пока на пути не возникло препятствие. В него я и уперся. Это оказался перевернутый ковш для транспортировки расплавленных шлаков. По размеру и форме он отдаленно напоминал кремлевский Царь-колокол. Сходство усиливалось еще и тем, что край у ковша, так же, как и у колокола, был отбит.

Совсем рядом я услышал голос Лены: «Слава Богу!» Если бы не это препятствие, неизвестно, чем бы все это кончилось. Ураган усиливался. Мы разгребли снег и через пролом вползли под ковш. Отверстие вскоре занесло снегом. Снаружи неистовствовала пурга, а здесь было почти тихо. Только ковш глухо гудел под бешеным напором ветра.

Было даже тепло — или, может быть, это нам пока-

залось. Я сбросил варежки, Лена расстегнула шубку. Радуюсь, что уцелели, да и не только поэтому, мы крепко прижались друг к другу... До сих пор, встречаясь ежедневно в КБ, мы старались держаться на расстоянии. Между нами как бы была протянута колючая проволока, обозначение зоны, и мы ни за что не решились бы перешагнуть через нее. А здесь, в этом тесном, замкнутом пространстве, в крошечной тьме, преграды, разделяющие нас, вдруг исчезли. Мы оба чувствовали себя свободными, и едиными, и неожиданно счастливыми... Разъяренная стихия, едва не погубившая нас, неожиданно стала нашей союзницей. Промерзшая земля, на которую мы опустились, оказалась жаркой постелью...

Не знаю, сколько прошло времени, пока мы снова вернулись к ощущению времени и места, где мы находимся. Я чувствовал себя безмерно виноватым, ведь для Лены это все, что должно быть таким значимым и таинственным, совершилось впервые и под покровом не только ковша-колокола, но и адовой пурги.

Она провела ладонью по моему лицу и, как будто прочтя мои мысли, сказала:

— Не упрекай себя, не упрекай меня... Я ни о чем не жалею...

Потом пришлось долго разгребать снег. Наконец мне удалось выглянуть наружу. Пурга почти стихла. Было все еще темно, ведь зимой в Заполярье не бывает рассветов. Нам очень не хотелось покидать это убежище. Оно сначала защитило нас от пурги, а потом стало нашим любовным логовом.

— Нет. Только молодость и комсомольский азарт могут победить черную пургу, заполярную ночь и другие невзгоды. Да здравствует любовь! Господи, спасибо, что мы здесь не окачурились!

Лену мой монолог развеселил:

— Вот бы захватить этот колокол с собой и установить в тихом месте. Мы бы всегда с тобой сюда приходили... А потом бы установили его в саду нашего будущего жилища, — осторожно добавила она.

— Да мы бы оттуда и не вылезали... — сказал я восторженно, и это ей понравилось.

Так мы подошли к краю зоны. Дальше для меня путь был закрыт. Лена пошла домой одна. Я вернулся в лагерь.

В КБ трудно было скрыть наши отношения. Да и опыта не было. Я и не подозревал, что это вызовет зависть у одного из инженеров, тоже заключенного.

Как-то он завел разговор о побегах. Рассказал, что этим летом отсюда пытались бежать двое заключенных, их вскоре нашли в тундре мертвыми, начисто изъеденными «мошкой», — и у обоих были отрезаны уши. Он сказал, что не знает ни одного случая, чтобы побеги удавались. Беглецы погибали от голода и мошки или становились добычей местных охотников. За беглого ээка давали хорошее вознаграждение: ружье, порох, продукты. В тех краях охоту за людьми сделали выгоднее охоты на зверя. Отрезанное ухо являлось доказательством уничтожения беглого ээка. Был случай, когда ухо оказалось не ээковским, а... вохровским. Что поделаешь — во всяком деле бывают издержки.

Итак, мой собеседник считал побег отсюда невозможным. При слове «невозможно» я вскинулся и тут же с ним не согласился. Для примера высказал такую идею: «Вот эту ржавеющую здесь на берегу стальную трубу приличного диаметра можно превратить в небольшую подводную лодку для одного-двух человек. — Я то ли забавлялся, то ли дразнил его, не знаю. — Заварить торцы, сделать люк с крышкой, рассчитать вес балласта для неглубокого погружения, установить внутри велосипедную передачу вместо двигателя, соединить ее с винтом от моторной лодки, соорудить перископ из полуторадюймовой трубки с зеркальцами на концах. Погружайся и плыви: хочешь в сторону океана, хочешь вверх по Енисею. Кому придет в голову искать тебя в воде?..» Все это я излагал собеседнику не потому, что действительно собирался совершить побег, а просто для того, чтобы снова опровергнуть ненавистное мне слово «невозможно». Побегami я был сыт по горло.

Но, видно, урок, полученный в Лефортовской тюрьме за разговор на ту же тему, ничему меня не научил. Как и тогда, собеседник оказался стукачом, а я опять простофилей и болваном.

Не прошло и недели после разговора о «подводной лодке», в КБ явился вооруженный конвой во главе с лейтенантом. Перерыли мой стол. Видно, искали секретные чертежи «подводной лодки».

Руководство порта пыталось меня отстоять, но безуспешно. В тот же день я был отправлен в штрафной лагпункт и прямо с дороги помещен в холодный карцер на неделю. Правда, слово «холодный» не совсем точно определяло суть обстоятельств. Если в лефортовском холодном карцере была все же плюсовая температура, то здесь, в этом каменном сарае без отопления, темпе-

ратура была почти такой же, как и снаружи, только без ветра. А морозы стояли до минус пятидесяти по Цельсию. В карцере нас оказалось трое. Началась борьба за место в середине, а точнее, за то, чтобы выжить. Вступил в силу один из основных законов ГУЛАГа — «Лучше ты умри сегодня, а я — завтра». Какая уж тут солидарность? Мы жались друг к другу, потому что в этом было спасенье. В бесконечные часы «околевания» от нестерпимой стужи мне почему-то вспомнился карцер в фашистской фельджандармерии в Сумах, откуда удалось бежать (это был мой второй побег). В том карцере было тепло, светло и сухо. Нет, то был не карцер — то был люкс в «Интуристе»!.. И вновь — уже в который раз — я подумал: ведь там были «чужие», враги, а здесь — свои, наши.

Питание — кусок хлеба в сутки и вода. Здесь она была из растопленного снега.

На седьмой день прямо из карцера меня погнали на работу. Шесть километров по тундре туда, шесть обратно. Работа — долбить мерзлый грунт — котлованы под фундамент каких-то сооружений.

Вокруг голая тундра, снег, пурга. Зэки замыкающей шеренги несли колья с фанерными табличками «Запретная зона». По прибытии на место работы конвоиры расставляли колышки с табличками вокруг нас и предупреждали: «Шаг за запретную зону считаю побегом. Стреляю без предупреждения!».

Я был свидетелем, как один из зэков не выдержал. Сказал: «Часовой, я пошел!». Едва он зашел за колышек, раздался выстрел. С простреленной головой заключенный уткнулся в снег лицом.

Был и другой случай. Конвоиру «не понравился» один из заключенных, назвавший его «вертухаем». Конвоир вскинул винтовку и выстрелил почти в упор, а потом переставил табличку.

В конце дня замеряли глубину каждого котлована. Тот, кто не выполнил норму, получал в лагере урезанную пайку хлеба. Мерзлый грунт был настолько тверд, что норму мало кому удавалось выполнить. Работали по восемь-девять часов без обеда. Отдыхали тут же в котловане. Перерывы были короткими. Конвоиры не давали долго высидиваться, все время подгоняли, натравливая овчарок. Здесь мало кто выдерживал больше двух месяцев. Носить можно было только лагерную одежду: бушлат, ватные брюки. Все другое отбиралось, взамен выдавали б/у — бывшее в употреблении. У меня отобра-

ли пальто, в котором я ходил на работу в КБ, брюки и шапку. В ватных штанах ваты почти не осталось, что особенно давало себя знать, когда приходилось сидеть на снегу. К тому же были они непомерно велики, особенно в поясе. Бушлат, наоборот, был мал, и рукава едва доходили до запястья.

В лагере за мной установили особый контроль. Надзиратели получили указание отбирать у меня карандаш и бумагу. Не раз проводили ночной обыск, переворачивали всю постель, вытряхивали стружки из матраца. Видно, сильно напугала их моя дурацкая «подводная лодка». Возможно, теперь они искали проект воздушного шара или еще что-нибудь в этом роде...

Да, было над чем посмеяться, если б все это не было до ужаса абсурдно. Подумалось уже о том, что десятилетний срок, отпущенный мне для жизни в заключении, непомерно велик... Жизнь здесь измерялась не годами, а месяцами, даже днями...

В лагере была еще одна бригада. Входящие в нее также долбили мерзлую землю, только совсем недалеко от лагеря, и котлованы здесь были помельче. В них сбрасывали тех, для кого отпущенный срок оказывался непосильным. Они отправлялись в лучший мир, не обремененные ни одеждой, ни гробами, — в чем мать родила. Стесняться было некого. Правда, иногда, опасаясь комиссии, умерших паковали в деревянные ящики из неструганных досок. «Деревянные бушлаты» — так называли эти лагерные гробы. Только здесь деревянные гробы были слишком большой роскошью — древесина-то привозная...

Вот тут я всерьез почувствовал всю безнадежность своего положения. В тундре не пройти и десятка километров — подстрелят местные охотники. До ближайшего поселения далеко, да и приюта в нем все равно не будет. Оставалось решить, что лучше: покорно дожидаться обычного для зэка конца или сказать конвоиру три слова: «Конвой, я пошел!».

...Был еще один, правда, почти безнадежный вариант: лагерная санчасть. Врач, хотя и был заключенным, имел соответствующую установку и слишком дорожил своим местом. Освобождение от работы давал только тогда, когда человек уже не мог самостоятельно идти в санчасть. Все же я решил заглянуть к нему. На вопрос: «С чем пришел?», ответил: «Ни с чем»...

Наверное, это был самый нелепый ответ. К врачу приходили с просьбой освободить от работы в котлова-

не, намекая на вознаграждение. Часто, напротив, угрожали, обещали прирезать. Ко всему этому он привык... Не знаю, почему он не выгнал меня сразу. Расспросил, за что попал сюда, в штрафной лагпункт; рассмеялся, когда я рассказал о моей подводной лодке. Поинтересовался, за что получил десять лет. Беседа затянулась. Потом он потребовал, чтобы я разделся до пояса, прижал ухо к груди. Слушал долго. Потом заставлял глубоко дышать, потом не дышать. Что-то записал в журнале и сказал:

— С завтрашнего дня на работу не выходи; скажешь: освобожден санчастью...

Я ожидал чего угодно, но только не этого, и так растерялся, что не мог произнести ни слова. Доктор не стал дожидаться, пока я очухаюсь, взял меня за плечи и легонько вытолкнул из санчасти. До сих пор не понимаю, не знаю, почему он так поступил?..

Утром, когда объявили «развод» на работу, я остался в бараке. Сначала прибежал бригадир, за ним — рядчик. Проверили по списку освобожденных. Ушли. Несколько раз заходил надзиратель. Я лежал одетым на нарах, хотел отоспаться, но заснуть не мог, невольно прислушиваясь к биению сердца: а вдруг остановится? Не зря же доктор дал мне освобождение? До самого отбоя я ожидал, что за мной придут, отменят освобождение, снова посадят в карцер. Ночью просыпался от каждого шороха. Под утро пришли два надзирателя, заставили подняться, все перерыли, ничего не нашли, ушли. Утром дневальный принес завтрак — жидкую похлебку из плохо очищенного овса и половину пайки хлеба, как неработающему. Когда в бараке мы остались вдвоем с дневальным, я попросил у него лист бумаги и карандаш. Не прошло и часа, как портрет дневального был готов. В обед он принес мне двойную порцию баланды. Потом пришел повар. Он тоже захотел иметь свое художественное изображение! Оставил маленькую фотокарточку, лист плотной бумаги и несколько цветных карандашей. Только я собрался приступить к работе, в барак явились три надзирателя и все отобрали. Предупредили еще раз, что мне запрещено иметь бумагу и карандаши.

Ночью снова учинили «шмон», а днем пришли опять и выпотрошили матрац. Узнав о конфискации, повар не на шутку рассердился:

— Ну, хрен они у меня теперь откормятся. Посмотрим, как посидят на казенном пайке.

Я удивился такому смелому поведению, но на следующий день надзиратель сам принес все отобранное.

Портрет повара понравился. Опасность сгннуть на голодном нерабочем пайке была на какое-то время отодвинута. Само собой — в иерархии лагерных придурков повара занимают не самое последнее место. Поговаривали, что наш повар пользуется покровительством начальника спецчасти, который ведал переброской заключенных в другие лагеря. Отправляли отсюда тех, кто стал доходягой или полным инвалидом и уже не мог работать. Заключение о непригодности давала санчасть, но окончательное решение было за начальником спецчасти. Значит, моя судьба теперь зависела от повара. Я попросил его замолвить за меня словечко, и за это пообещал намалевать большую картину красками. Он, представьте себе, согласился, но при этом поставил жесткие условия:

— Чтоб на картине была изображена вот такая баба!.. И с вот такими!!.. — Свое скромное пожелание он сопровождал выразительной жестикуляцией и, к счастью, не указал цвет глаз и общую масть женщины. О лице и говорить было нечего — годилось любое.

У меня на примете была одна картинка, очевидно, вырванная из книги Шекспира. Я видел ее у бригадира в нашем бараке. На картинке была изображена Офелия в легком прозрачном одеянии, с распущенными волосами. Я выпросил у него картинку. Повар неизвестно откуда достал масляные краски, кисти и все необходимое для работы. Я решил одновременно писать две одинаковые картины: одну для повара, другую для моего спасителя — доктора; хотелось хоть как-то отблагодарить его. Сколотил подрамники, натянул и загрунтовал холст. Кусочком угля набросал контуры фигуры. На фанерку, вместо палитры, выдавил из тюбиков краски. Только начал подбирать нужный колорит, явились надзиратели и все забрали. Заявили:

— Не положено!

— Но мне не разрешили пользоваться бумагой и карандашом, а их, как видите, здесь нет.

— Все равно не положено, разговаривай с начальником по надзору.

Разговор был пустой и нудный, но закончился он неожиданно:

— Вот ты для повара картинку малюешь, хочешь сытым быть, а с нами дружбу иметь не желаешь. А зря!

— Мы все здесь враги народа, преступники, а вы

друзья народа! Ну какая между нами может быть дружба? — придурился я. — Что же касается сытости, это вы правильно заметили. А кто не хочет?..

— Вот то-то, давай-ка лучше по-хорошему. Ты должен нарисовать и нам большую, настоящую картину.

— Для большой много красок надо, этих не хватит, да и не мои они.

— Не бойся, краски будут! — успокоил начальник.

— Здесь не только краски нужны.

— Это не твоя забота, напишешь на бумажке, что нужно.

— Но мне запрещено писать на бумаге.

— Вот тебе карандаш и бумага, пиши здесь.

— Нет, так я не могу, мне надо знать, что я буду рисовать: какой сюжет картины, ее характер, размеры.

Гражданин начальник погрузился в глубокое раздумье... Там он находился довольно долго, потом словно вынырнул и сказал:

— Изобрази товарища Сталина... Верховом на белом коне... На Красной площади!

— Но ведь Сталин никогда не выезжал на Красную площадь верхом на коне. Да и ездит ли он верхом?

— Ездит не ездит!.. — передразнил меня надзиратель и круто выругался. — Генералиссимус Сталин — великий полководец, что ж он, по-твоему, на коне не умеет? — Разговор принимал опасный поворот. — Захочет — так сумеет!

Тут я не стал ему возражать, тем более что за сомнение в верховых и скаковых способностях великого полководца можно было запросто схлопотать от десяти суток карцера до второго срока в десять лет. Но рисовать этого товарища, да еще на белом коне?! Нет, я просто не мог себе такое позволить... Это вам не портрет повара и не голая баба с сиськами — это сам-сусам, за которого что хочешь, то и оторвут...

Для начала я потребовал несколько снимков Генералиссимуса в разных ракурсах.

— За малейшее искажение не только мне, но и вам, гражданин начальник, диверсию пришьют...

Тут начальник и сам был грамотным, даже не возразил.

Еще мне оказались нужны снимки коней — разных, несколько штук. А потом уж побольше Кремля и Красных площадей, — а то я уже позабывать начал, как они выглядят...

Начальник вернул мне все отобранное и еще дал лист

бумаги и карандаш, чтобы написал заявку на материалы для создания очередного шедевра. Но предупредил: — С бумагой и карандашиком поосторожней! — Оказывается, и он тоже побаивался вышестоящего начальства.

Я шел к себе в барак и праздновал маленькую победу. Да не победу, а проволочку. Теперь можно было некоторое время спокойно рисовать.

Работа продвигалась. Я давно не писал маслом, и теперь трудился с большой охотой. Писал одновременно две идентичные картины и, пока работал над ними, влюбился сразу в обеих моих Офелий. Тем более что они получились вовсе не похожими одна на другую.

Представьте себе — повар был в восторге!.. А я ведь опасался, что он разлутуется, потребует раздеть Офелию и пририсовать ей что-нибудь... Но все обошлось. Он гордился своим приобретением.

Со второй Офелией я явился к доктору. Он сдержанно похвалил картину, сказал, что я бы мог, наверное, стать хорошим художником. Но в другом временном и пространственном измерении... А вот принять мой дар категорически отказался. Либо был принципиальным противником каких бы то ни было взяток — как прямых, так и косвенных, — либо крепко держался за свое, достаточно привилегированное место.

Тогда я решил изловчиться и передал эту картину, через повара, начальнику спецчасти, — эти от любой взятки не отказываются. Он не церемонился — аппетит приходит во время еды — и сразу заказал мне еще одну картину с цветной репродукции Шишкина «Утро в сосновом бору», — там лес писал один великий художник, медведей — другая знаменитость, а тут все пришлось делать мне одному. Зато начальник обещал отправить меня в Норильск с ближайшим этапом. К тому времени я уже много слышал о заполярной столице. Говорили, что это большой город, с широкими проспектами и многоэтажными домами. Мне, москвичу, в такое трудно было поверить, и тянуло туда, как на спасение. Ведь здесь, в лагере, были только бараки, бараки, бараки, нескончаемая колючая проволока, да сторожевые вышки, — казалось, ничего другого на этой земле не было...

Несколько раз меня вызывал к себе начальник по надзору, показывал репродукции с изображением вождя на-

родов, Кремля, Красной площади... — увлеченно принимал участие в творческом процессе. Трижды я браковал его заготовки, ссылаясь на неподходящие ракурсы, — непонятное слово действовало гипнотически, начальник соглашался, кивал сокрушенно головой и упорно продолжал поиски «подходящего ракурса». У него был какой-то далеко идущий замысел с этой картиной.

Теперь он снова вызвал меня. Снова ссылаться на ракурс уже было рискованно. Я отобрал несколько репродукций и вырезок из газет и журналов. Когда заговорили о размере картины, начальник сразу пожелал, чтобы она была во всю стену кабинета. Я не стал стеснять его представлений о монументализме, тем более что обеспечение необходимыми материалами было уже кругом его забот. А их количество, согласно составленному мной списку, было внушительным. Например, одного растительного масла — четыре литра. Я еле сдержался, чтобы не вписать туда полтора кило сливочного, и почему-то написал: «Канифоли — килограмм...» Подумал: пригодится.

Лагерный плотник изготовил подрамник. При переноске он сломался под тяжестью собственного веса. Пришлось делать новый. Рейки были тоньше, чем у первого, но усилены подкосами, наподобие фермы моста. Этот подрамник я забраковал из-за того, что подкосы будут мешать натяжению холста. Плотник люто и заковыристо матерился, — он первый раз в жизни мастерил эти подрамники. До того он специализировался на колышках и дощечках с надписью: «Запретная зона», реже — на ящиках из нестроганных досок. А тут... Из-за огромных размеров картины мне выделили специальное помещение. Очередной загвоздкой стал холст. Я поставил условие: без швов! Материала нужного размера найти не удалось. Пришлось уменьшить размер картины. Снова потребовалось изготовление подрамника. Снова плотник неистовствовал. Я еще подлил масла в огонь:

— Это тебе в наказание за нестроганные доски в гробах.

Я думал, он меня придушит...

Время шло. Меня вызвал начальник спецчасти, спросил, когда закончу «мишек», и сообщил, что этап будет через три дня. Я рассказал ему о заказе начальника по надзору и высказал опасение, что он может задержать меня. Признался, что сам «тянул резину», и, надеюсь, генералиссимус не обидится, если ему не придется по-

сидеть на белом коне. Начальник спецчасти посмеялся и заверил меня:

— Можешь не волноваться, теперь он уже ничего не изменит!

Они, оказывается, ненавидели друг друга.

За день до отправки я закончил злополучных «мишек» и успел загрунтовать большой холст на подрамнике — дабы усыпить бдительность начальника по надзору. Пускай думает, что все идет своим чередом. Всех предупредил:

— Холст должен сохнуть двое суток, не меньше.

А на следующий день утром, после развода, начали вызывать на этап. Грузовая открытая машина уже ждала у ворот. Назвали и мою фамилию. Набралось нас немного, двоих принесли на носилках. Когда начальник по надзору увидел меня среди отправляемых, он заметался, подбежал к начальнику спецчасти, что-то говорил, жестикулируя. Подбежал ко мне, я сокрушенно развел руками:

— Что поделаешь — судьба... Нарисую в следующий раз!.. Если придется свидеться... Главное, все исходные материалы собраны и холст загрунтован! Теперь каждый дурак... — дальше лучше бы мне помолчать.

Впереди был этап, а это всегда испытание.

19. НОРИЛЬСКИЕ ЛАГЕРЯ

Грузовик подвез нас к вокзалу узкоколейной железной дороги Дудинка — Норильск.

Небольшой вагончик трясло и подбрасывало. Рельсы были уложены прямо на мерзлый грунт. В одном месте они разошлись, и вагончик чуть не перевернулся. Часов через семь езды по тундре вдали показалось много электрических огней. Из тьмы полярной ночи начали действительно вырастать многоэтажные дома и прямые освещенные проспекты. Обогнув город стороной, поезд въехал в промышленную зону со множеством заводских корпусов, высоких дымовых труб и окруженных колючей проволокой лагерей. В ясном ночном небе полыхало и переливалось северное сияние. Его цвет и очертания все время изменялись. Вот оно сделалось одноцветным голубым, напомнило мне пламя горящего в небе фосфора, как тогда в Эссене, во время бомбежки. Потом вдруг наполнилось нежными, слегка размытыми цветами радуги. Таким я увидел Норильск в конце зимы 1949 года.

Я попал в лагерь заводууправления Норильского металлургического комбината. Через день пришел нарядчик и сказал, что на меня уже есть заявка от заводууправления. Им требуется художник. Казалось, опять везение...

Я поудивлялся немного, но потом понял, что в этом новом звании я оказался благодаря информации начальника спецчасти штрафного лагпункта. Ему понравились «мишки в лесу», и он, как истинный ценитель и меценат, отметил высокой оценкой не художника Шишкина, а меня, — благородный человек!

Завоудуправление — кирпичное здание на территории промышленной зоны; там мне отвели место в красном уголке. Новым начальником моим стал завхоз управления Кирилл Константинович Мазур. Работы здесь хватало: транспоранты, плакаты, призывы, стенгазеты, даже портреты членов Политбюро, и конечно же, таблички по технике безопасности.

Промышленная зона, огороженная многокилометровым забором из колючей проволоки, примыкала к зоне лагеря. Меня поместили в барак для ИТР. Здесь были собраны видные представители науки и техники. Многие инженеры из нашего барака работали главными специалистами, начальниками цехов, смен. У них, у высоколобых эков, в подчинении были сотни и тысячи вольных и заключенных. В нашем бараке держалась атмосфера редкой доброжелательности. И это заметно отличало его от множества других бараков, других лагерей и камер пересылок. Наш барак здесь был явным исключением.

Питание в тот период было сравнительно сносным, да и от вольнонаемных к нам кое-что перепадало. Многие из эков здесь получали посылки из дома. В том же лагере, но в другом бараке, оказался Побиск Кузнецов, с которым мы подружились еще в трюме баржи (я уже упоминал о нем). Это была большая радость найти давнишнего приятеля — просто подарок!.. Побиск был личностью особой... Как-то он зашел к нам в барак. Несколько человек играли в шахматы. Моим соперником был сильный шахматист, и я проигрывал... Кузнецов предложил победителю сыграть с ним и обещал не глядеть на доску всю партию. Расставили шахматы. Кузнецов сел спиной к доске и попросил меня переставлять его фигуры. Дебют разыграли быстро, как заученный. Затем под боем оказался слон Кузнецова, и я решил, что он зевнул; потом та же участь постигла другую фи-

гуру. Побиск продолжал уверенно называть ходы, почти не задумываясь. Вокруг собралось много любопытных. Всю ежеминутно меняющуюся ситуацию шахматной баталии он держал в голове. А противник у него был не пустячный... Еще несколько ходов, и оппонент Кузнецова опрокинул своего короля — мат. Та же участь постигла и еще одного очень сильного шахматиста. Я выразил свое восхищение вслух, а он ответил:

— «Игра вслепую!» — Не такой недоступный для нормального человека способ... — не удержался и добавил: — Да у нас какой уж год вся страна в эту игру играет...

Он стал обучать меня шахматной игре вслепую, перемежая шахматную терминологию с политическими намеками.

Вскоре я кое-что освоил и, шагая на работу, мы с Побиском умудрялись сыграть партию без доски и без шахмат. Выиграть у него мне ни разу не удавалось. Впрочем, как и другим довольно хорошим шахматистам. Меня постоянно влекло к этому человеку. От него шел как бы ток высокого напряжения, и этот ток изливался неизвестными тебе доселе познаниями, всегда основанными на доскональном изучении предмета, свободе мышления, развитой интуиции. Его интеллект базировался на мощной жизненной энергии — его не сломила ни война, ни репрессивная машина. Все это вызывало во мне жгучую зависть — мне постоянно хотелось достичь его высот и мощи. Только в общении с Побиском Кузнецовым БУДУЩЕЕ прорывалось и присутствовало почти всегда. Он был как бы инициатором этого прорыва. И этим он был действительно уникален.

— Смотреть назад — это смотреть в грязь! — говорил он. — Вперед смотри — там подлинный облик человечества. Здесь, в ГУЛАГе, нет будущего. Оно в твоей голове должно сидеть. И тогда состоится обязательно. Но си его в своей башке — расти, пестуй, и оно сбудется!

Мои взгляды часто не совпадали со взглядами большинства окружающих, а с Побиском Кузнецовым было больше всего общности. С ним я не чувствовал себя белой вороной.

Необычно было уже само имя: ПОБИСК. Расшифровывалось оно так: Поколение Октября, Борцов И Строителей Коммунизма. Казалось бы, — бедный сын с изуродованным именем и родители с изуродованной психикой, — но на самом деле — это были люди, желающие поскорее приблизить то, что приблизить нельзя.

Побиск окончил военно-морскую спецшколу уже в военную пору. Просился добровольцем на фронт. Не взяли, не хватило лет. Окончил танковое училище. Воевал в гвардейской танковой бригаде командиром взвода разведки. Подо Ржевом пришлось участвовать в рукопашном бою. Рассказал мне, как однажды среди документов убитого фашистского офицера увидел партбилет члена НСДАП¹. Задумался. «Какие же они, фашисты, если за социализм, и партия у них рабочая? Мы за социализм и они за социализм. Мы за рабочих и они за рабочих... Почему же мы воюем, убиваем друг друга?» — спрашивал он себя и не находил ответа.

После тяжелого ранения стал инвалидом. Начал исто-во учиться. Увлёкся философией и политикой. Стал все глубже и глубже размышлять... Возникали один за другим вопросы, за ними — сомнения... Хотел понять первооснову возникновения живой материи и жизни в целом... Натура горячая — полемист! Решил создать научно-студенческое общество. Кто-то накатыл на него телегу в КГБ. Обвинили в попытке создать антикомсомольское общество!..

Судил его военный трибунал за терроризм (еще с фронта остался пистолет) и за создание контрреволюционной организации...

Так он схлопотал свои десять лет лагерей.

В тюрьмах, на пересылках и в лагерях учителя нашлись получше да покруче, чем в университете — све-точичи, цвет нации. И каждый готов с тобой одним заниматься от зари до зари — недаром индийская мудрость гласит: «В этом мире всегда хватало учителей, в этом мире всегда недоставало учеников».

Побиск оказался великолепным учеником, а это не-слыханная радость для настоящего ученого.

Человек редких математических способностей, он постоянно и глубоко изучал естественные науки, физику самых современных направлений, химию, философию. А там уже пошли социология и политика... — ну, как та-кого держать на свободе?..

Сосредоточенное лицо русского сильного мужика, по типу ближе к военной интеллигенции, чем к университетской профессуре, высокий лоб слегка нависает над глазами. Разговаривая, он смотрит в упор на собеседника, словно гипнотизирует. Говорит увлеченно, но без излишних эмоций. Всматривается в глаза собесед-

¹ Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.

ника, как бы спрашивает: «Мысль понятна?.. Принята?..». Он не зауживает и не долбит дотошно тему беседы, а, наоборот, постоянно расширяет ее, захватывает близлежащие пласты, но основное направление держит крепко. При этом обнаруживает необычайно широкий диапазон познаний, и в то же время категоричен и уверен в своих убеждениях. Многих это подавляет. Беседы с Побиском были необычайно интересны и всегда открывали для меня что-нибудь новое.

В лагерях Норильского горнометаллургического комбината Побиск Кузнецов общался со многими видными учеными: академиком Федоровским Николаем Михайловичем — основателем института прикладной минералогии, другом и соратником академика Вернадского (основатель Норильского Комбината Завенягин был учеником Федоровского); доктором химических наук Фишманом Яковом Моисеевичем (в прошлом начальник химического управления Красной Армии); доктором химических наук Левиным Петром Ивановичем — заведующим аналитической лабораторией (впоследствии заведующий аспирантурой в институте химической физики) и многими другими.

С некоторыми из них Побиск работал над решением актуальных научных проблем, опережающих по своему уровню разработки институтов Академии Наук. Трудом, знаниями, талантом этой группы ученых комбинат в ту пору числился одним из лучших в стране. В Норильлаге была, может быть, самая квалифицированная, самая знаменитая общесоюзная «шарашка». Сам же Норильлаг считался адом.

Наряду с когортой высококлассных специалистов и даже ученых с мировым именем, было много молодых, исключительно талантливых, тех, кому из-за ранних арестов не пришлось еще сказать свое слово в науке, в технике, в организационной деятельности. И не подумайте, что все они находили себе здесь мало-мальски достойное применение. Большинство попадали за малейшую провинность, да и без таковой, на общие работы и там погибали от непосильного, изуверского труда, голода, холода, болезней и пули охранника. Не сразу удалось Побиску приобщиться к научной «шарашке» Норильска. Пришлось ему побывать и в самом страшном норильском штрафнике — Каларгоне (правда, не как проштрафившемуся, а в качестве заведующего санчастью). На Каларгон отправляли зэков, совершивших лагерное убийство, и людоедов (из тех, кого возвращали из

побега). Трое, к примеру, идут в побег, а четвертого прихватывают с собой как свинью, чтобы было чего есть в пути. И до поры эта «свинья» сама идет, да еще и нести кое-что может. А там, извините, «на мясо»...

Уникальные способности Побиска обращали на себя внимание не только наших отечественных, но и иностранных ученых, оказавшихся в наших советских концлагерях. Видный немецкий ученый, советник Гитлера по вопросам тяжелой промышленности Борхарт однажды сказал: «Побиск есть очень умный. Если бы он был в Германии, я, не задумываясь, дал бы ему большой институт для реализации его идей». В Норильске Борхарт очутился за отказ от поста министра тяжелой промышленности ГДР. Предложил ему этот пост сам президент Вильгельм Пик! Борхарт тогда заявил, что считал бы это изменой родине. За что и схлопотал «четвертак» (двадцать пять лет лагерей), но почему-то советских... Немцы, которых было здесь довольно много, относились к Борхарту весьма уважительно. При встрече вытягивались по стойке смирно, щелкали отсутствующими в «суррогатках»¹ каблуками и провожали гехаймсрата² поворотом головы.

Среди норильских эков было немало людей, обладавших каким-нибудь интересным, а иногда и уникальным качеством. Инженер Давид Малков, автор множества технических идей и изобретений. Он предложил решение, как стабилизировать наклон знаменитой Пизанской башни. Это было совершенно новое, ни на что не похожее решение... Не Пизанская ли башня, находящаяся в Италии, погубила его?.. С Давидом Малковым никто не мог соперничать и по мгновенному отгадыванию кроссвордов, ребусов и самых невероятных головоломок.

Собрание таких талантливых и таких умученных людей, помогало не так уж остро переживать всю лагерную безысходность, бессмысленность постоянного угнетения. И все равно придется повторить, что заключенные Норильских лагерей и особенно его научные, инженерно-технические работники были совершенно особым сообществом.

Побиск продолжал поддерживать с этими людьми связь и после освобождения. Вместе с академиком Ва-

¹ Самодельная эковская обувь из кусков автомобильной покрышки.

² Высший государственный чин, равнозначный крупному генералу.

силием Васильевичем Париным (они познакомились еще в Красноярском пересыльном лагере) работали над созданием систем жизнеобеспечения в космосе. Побиску Кузнецову было хорошо известно, как происходило судилище над академиком Париным и какую роль в нем сыграл тогдашний министр здравоохранения Митирев. Перед отъездом на конгресс в Америку Парин согласовал с Митиревым, что можно рассказывать в Штатах, а чего нельзя. В числе разрешенных тем министр назвал работу Ключевой и Роскина по лечению рака. Пока Парин был в Америке, вышел указ: «Двадцать пять лет за разглашение государственной тайны». Работа Ключевой — Роскина попала в число секретных. Парин возвращается домой, а ему говорят: «Пройдемте!.. Вы разгласили государственную тайну». — «Но я согласовал перечень тем с министром. Он разрешил...» Устроили очную ставку с Митиревым. Тот, не моргнув глазом, заявил: «Ну что вы? Я ему ничего подобного не говорил...». Поверили, конечно, министру. Срок дали академику.

Уже в Москве, через своих норильских коллег, Побиск познакомился с Робертом Людвиговичем Бартини, легендарным авиаконструктором. Роберто Бартини был сыном одной из богатейших и влиятельных фамилий Италии. Барон. Красавец. Светлейшая голова. Получил блестящее техническое образование. В ранней молодости увлекся коммунистическим движением, был его активным участником, оказался замешанным в убийстве австрийского офицера, из-за придирок которого повесили капрала. Позднее принял решение перебраться в Советский Союз. Он тогда еще заявил: «Красные самолеты будут летать быстрее и выше черных» (имелась ввиду авиация Гитлера и Муссолини). Первый в мире цельнометаллический самолет сконструировало и выпустило в небо конструкторское бюро Роберта Людвиговича Бартини. А потом пришла пора...

Сначала его приговорили к расстрелу, как шпиона. Потом передумали. Отправили в лагерь. В конце-концов он оказался в «шарашке», в одной компании с Сергеем Павловичем Королевым и выдающимся математиком Юрием Борисовичем Руммером, другими конструкторами и учеными весьма высокого уровня.

Иногда Берия устраивал в шарашках банкеты с обильным угощением для ученых эзков. Об одном из них Бартини рассказал Побиску Кузнецову. В застольной беседе возник следующий диалог:

Бартини спросил: — Лаврентий Павлович, почему я здесь? Я же не враг?

Берия ответил: — Ну какой ты враг? Врагов мы расстреливаем. А как еще вас всех, таких ученых разных профессий, таких умных собрать под одну крышу?.. Как заставить работать всех вместе?.. Вот взлетит твой самолет в небо, и ты сам вылетишь отсюда на свободу.

Он всем здесь говорил «Ты».

Излюбленным приемом Берии для решения технических задач был метод всеобщего устрашения. Стало известно, что Япония опередила нас в производстве кобальта, необходимого компонента для получения броневой стали. Состоялось совещание у самого Сталина! Решили в течение года разработать проект и построить новый завод. Контроль за выполнением решения взял на себя Берия. Он собрал руководителей ведомства и сказал:

— Чтобы через три месяца выпуск кобальта был увеличен в десять раз.

Начальник комбината Ивановский, увенчанный многими орденами, заикнулся было о сроке, принятом на совещании Сталиным. Берия прервал его:

— А я сказал — Через три месяца — в десять раз!»

— Да как же так... попытался возразить Ивановский.

— Ты что это свой иконостас нацэпил? — Берия указал на ордена. — Кабулов, запиши: если через три месяца производство кобальта не будет увеличено в десять раз — расстрелять.

Тогда хотел что-то возразить Логинов, координатор, представлявший науку...

— А ты кто такой, молодой?.. Кабулов, запиши: расстреливать не надо. Пусть десять лет голой жопой морошку в тундре подавит, сразу умнее будет!

Угроза была настолько реальной, что приказ был выполнен. Но мало кто догадывается, какой ценой. И никто нам не расскажет, какими разрушительными последствиями все эти эксперименты обошлись и еще обойдутся. Кобальт кобальтом, броня — броней, а потом натужные волевые методы обернулись тупоумием и тотальными разломами страны. Ибо подобные трюки применялись не только в лагере, но и повсеместно, а их результаты — Ч е р н о б ы л ь.

После возвращения из заключения Побиск окончил

¹ Примерно о том же рассказано в романе А. И. Солженицина «В круге первом».

за три с половиной года заочный политехнический институт. Одновременно с дипломным проектом готовил защиту кандидатской диссертации. Тема была значительная. Заместитель директора института вызвал своего снабженца и распорядился обеспечить все заявки Кузнецова по первому же требованию. Хотел их познать, а Побиск говорит:

— Не надо. Мы старые знакомые. (Полковник госбезопасности Сарычев был «кумом» Норильского горлага и обещал сгноить Кузнецова в штрафном изоляторе.)

Из кабинета вышли вместе. Обалдевший Сарычев поинтересовался:

— Откуда у Вас орден Красной звезды?

— Вернули после реабилитации, — ответил Побиск. — А ношу, чтобы не задавали лишних вопросов.

Это обескуражило бывшего полковника и сильно огорчило.. Вскоре он повесился. Возможно, на почве хронического алкоголизма, а может быть, потому, что пришлось обслуживать бывшего зэка. Но, скорее всего, побоялся, что призовут к ответу за совокупность всех и всяческих его собственных безобразий.

Среди обычных личностей лагеря нельзя не вспомнить об одном дневальном-уборщике в конторе промзоны. Некоторые подробности о нем дошли до меня уже после его загадочного исчезновения. Знаком с ним я не был и видел всего раза два или три. В нем была какая-то подчеркнутая замкнутость. Молчаливость, граничащая с немотой. Среднего роста, коренаст, с волевым лицом, никогда не улыбался. Взгляд предельно внимательный, даже цепкий.

Рассказывали, что во время войны он оказался в плену. Был вывезен в Германию и помещен в концлагерь. Его освободили американцы. Какое-то время находился у них. Потом вернулся домой. Итог известен: осужден «тройкой», как шпион и изменник Родины, отправлен в Норильск.

Часто, особенно в пургу, закончив уборку помещения конторы, он надевал на плечи вещмешок с камнями и уходил. Возвращался к середине ночи. Никто не знал, где и как он проводил это время. И вот однажды он исчез. В бараке надзиратели перевернули все вверх дном. Допросы продолжались несколько дней. В конторе, где он работал, произошло то же самое. Его вольнонаемного начальника выгнали с работы и отправили на материк. Репрессии шли одна за другой. Все понимали,

что гулаговские чины всполошились неспроста. Дошли слухи, что дневальный был американским шпионом, и что за ним прилетал специальный самолет оттуда!.. Всем нужны сказки и легенды. Тогда я не поверил этим слухам. Впрочем... без легенд и сказок, в которых вся система ГУЛАГа и вся его иерархическая лестница вместе с ее макушкой, была бы посрамлена, нельзя было бы выжить. По крайней мере — дышать.

Мне довелось слышать от знакомых вольнонаемных, что «Голос Америки» в своих передачах не раз упоминал Норильские лагеря заключенных. Сообщения отличались глубокой осведомленностью, подробно и точно отражали лагерную жизнь и повседневную хронику событий. Многие недоумевали, откуда они это знают. Точно — не в бровь, а в глаз, как от собственного корреспондента...

Примерно за год до происшествия с дневальным, среди серого заполярного дня, у меня на глазах произошел случай, которому я так и не смог найти объяснение. Возможно, он имел какое-то отношение к загадочному исчезновению дневального (ведь его так и не нашли). Это произошло, когда нас вели под конвоем рыть очередной котлован в тундре. Начиналась весна — длинную полярную ночь сменял день. И, хотя солнце еще не появлялось, видимость была вполне приличная. Неожиданно на небольшой высоте показались два самолета без опознавательных знаков. Их преследовали три наших истребителя. Расстояние между ними сокращалось. Вдруг один из преследующих резко пошел вниз. Раздался взыв и из-за невысокой сопки поднялось облако серого дыма. Вслед за первым то же самое произошло и со вторым нашим истребителем. Никаких выстрелов при этом не было слышно. Два неизвестных самолета резко увеличили скорость и скрылись. Все это произошло фантастически быстро на глазах у сотни людей, и никто ничего не мог понять...

Несмотря на преимущества моего положения художника, писание бесконечных призывов и лозунгов все больше и больше угнетало меня. Особенно трудно это выносить, когда уже понимаешь всю абсурдность того, что так старательно выписываешь своей рукой, и потом целая комиссия принимает у тебя, с ученым видом, эту галиматью. Да еще вносит уточняющие поправки...

К этому времени я познакомился с еще одним замечательным человеком — это был эстонец Альберт Труусс. Он, как и Побиск Кузнецов, работал в Опытном-метал-

лургическом цехе (ОМЦ). Альберт был высоко порядочным человеком (даже трудно было себе представить, как он живет в этом мире и не погибает...), всегда собранный, подтянутый, добр, честен, умен — ну что еще нужно для человека?..

Мы чувствовали взаимную симпатию и быстро сдружились. Он постоянно рассказывал о работе в лаборатории и о своей начальнице, очень толковой и милой женщине, Ольге Владимировне Балабановой. Однажды я попросил Альберта переговорить с ней: возможен ли мой перевод в ее лабораторию? Конечно, мой прямой начальник Мазур возражал, ему позарез нужен был художник, но в конце концов не устоял против напористости и обаяния Ольги Владимировны. Я был зачислен лаборантом. В ее лаборатории царила деловая и дружеская атмосфера. Слово «зэк» было наглухо забыто. Здесь занимались исследованием и отработкой новых химико-технологических процессов в металлургии цветных металлов. По результатам работы лаборатория была на хорошем счету у начальства. Пользуясь этим, Балабановой удавалось не допускать вмешательства чинов ГУЛАГа в дела лаборатории. Да и сам начальник ОМЦ постоянно защищал Ольгу Владимировну и ее лабораторию. Еще бы! Ведь на достижениях и научных открытиях таких ученых и зэков он строил свое благополучие, за их труды получал ордена и лауреатские звания.

При центре была очень хорошая техническая библиотека. Нам разрешалось пользоваться ею. Это давало возможность постоянно изучать что-то новое — в химии, металлургии, с которыми мне раньше сталкиваться не приходилось.

Как-то, просматривая старую подшивку журналов «Химия», в одном из номеров, на первой странице я увидел большой портрет и сразу узнал работавшего в нашей лаборатории Алексея Александровича Баландина. Под портретом перечислялись все его многочисленные титулы: доктор химических наук, член многих академий мира... Не хватало только последнего звания — зэк и должности — дневальный по цеху — так он числился по штатному расписанию в зоне.

В одной из лабораторий работал еще один зэк — Питровский (за точность фамилии не ручаюсь) — личность, весьма загадочная. Ни с кем не общался. Говорил по-русски плохо, с сильным польским акцентом. Ра-

ботал постоянно только в ночную смену. Подчинялся лично начальнику ОМЦ, лауреату сталинской премии Черниенко. Чуть ли не каждую ночь к нему приходила из города молодая женщина с маленьким ребенком. Поговаривали, что это его жена и что ее посещения разрешены самым высоким начальством. Иначе бы им нездоровилось: его отправили бы в штрафной лагпункт, ее — в двадцать четыре часа из Норильска.

Никто толком не знал, чем занимается Пиотровский, но, судя по сногшибательным привилегиям, был он очень нужным специалистом и занимался очень важным делом. Работали мы в разных лабораториях, но в одном здании. Познакомился я с ним, когда стал работать в ночную смену. Но сблизиться с ним не удавалось. Он был, как говорится, на все застешки, и избегал каких бы то ни было контактов и общений. Это был крупный польский ученый-химик, автор нового способа эффективного получения кобальта, за который Черниенко получил лауреата сталинской премии. Видимо, было за что оберегать ученого. Все это сообщил по секрету и мой приятель, бывший студент химико-технологического института, который в нашем цехе выполнял черновую работу по поручениям Черниенко и Пиотровского.

Теперь Пиотровский работал над очередной «лауреатской» темой. Студент, несмотря на меры предосторожности и секретность, разгадал сущность процесса. Прикидываясь простачком, он сумел ускорить процесс и получил результат раньше, чем планировалось. Цель опыта, который осуществлял Черниенко с помощью Пиотровского (или наоборот — тут черт голову сломит), — получение в чистом виде золота и платиноидов, содержащихся в шламе (переработанной руде), путем спекания и активного воздействия высококонцентрированными хлоридами (вот приблизительно так). Студент первым узнавал о результатах успешного эксперимента, потому что проводил их сам, и не торопился радовать шефа приятными новостями. Он сумел наскрести с килограмм крупинок чистого золота. Все это студент равномерно распределил в вате своей телогрейки и проходил в ней почти год. Благополучно отсидел срок, освободился и уехал домой в своей старой телогрейке. Не захотел поменять ее на новую...

Когда пришел изуверский приказ: всю 58 статью отправить под землю! (58-я — это «контрреволюция» во всех ее видах и разновидностях), Пиотровского куда-то

отправили с первой же партией. О дальнейшей судьбе этого уникального ученого не знаю.

Сплошное горе, а не воспоминания...

В лагерь мы возвращались поздно вечером, а иногда оставались на вторую смену, чтобы меньше находиться в проклятом бараке. На работу приходили в бушлатах, там надевали белые или синие халаты, в зависимости от характера работы. Альберт, мастер на все руки, придумал способ превращения списанных халатов в непромокаемые плащи. Делалось это так: кусок черной «сырой» резины растворяли в бензине и наносили кистями на ткань несколькими слоями. Ткань приобретала глянцевою поверхность. Издали можно было подумать, что на нас импортные макинтоши, такие как у моряков дальнего плавания.

Однажды Альберт предложил сделать для лаборатории большое зеркало. Все необходимые реактивы для этого имелись. Не хватало только одного, но самого главного компонента — серебра. А я вспомнил, что на свалке видел выброшенные магнитные пускатели и реле от импортного оборудования с контактами из серебра. Эти самые контакты мы растворили в «царской водке», получили хлористое серебро в виде белого губчатого осадка, растворили его в азотной кислоте, профильтровали и в конце концов получили исходный продукт — чистое азотно-кислородное серебро. Подготовили большой лист стекла, установили его строго горизонтально и налили на него тонкий слой раствора, предварительно добавив в него несколько капель восстановителя. Скоро на поверхности стекла стало осаждаться серебро. Изготовленное зеркало ничем не отличалось от лучших фирменных. После этого нам с Альбертом пришлось выполнить не один заказ, и я хорошо освоил это дело.

Несмотря на наше относительно сносное положение, лагерные будни постоянно напоминали о себе. По промзоне в поисках наживы шаталось много уголовников. В одиночку ходить стало опасно. Одним из пострадавших оказался академик Баландин. Его остановили двое с пиками¹, положили лицом в снег. Забрали несколько рублей (больше ничего не было), прокололи бушлат, поранили спину.

¹ Оружие норильских грабителей — кусок стального арматурного стержня длиной с полметра, заостренный на конце.

Однажды, когда мы шли на работу, наткнулись на труп женщины, припорошенный снегом. Юбка порвана, на голых ногах — следы царапин и ссадин; возле виска и рядом на снегу — кровь. Судя по всему, женщина была изнасилована и убита. Позже стало известно, как это произошло. Одна из бригад заключенных работала в промзоне в ночную смену. Бригадир встречался с вольной женщиной. Часто по ночам она приходила к нему на свидание, а потом он провожал ее. На этот раз бригадир не смог сам проводить ее и поручил это своему дневальному. На всякий случай тот взял с собой небольшой топорик. По пути дневальный стал приставать к женщине. Угрожал выдать ее связь с заключенным. А когда угрозы не подействовали, ударил ее топориком в висок...

Ограбления и разбой в промзоне и городе, куда могли выходить расконвоированные «бытовики»¹, стали обычным явлением.

Постепенно стало выясняться, что сама спецкомендатура участвует в грабежах. Были случаи: задержат человека, приведут в комендатуру, обыщут, проверят, много ли с собой денег, и отпустят. Не успеет он сделать и сотни шагов, его остановят и под видом грабителей отберут деньги. Может быть, это так и продолжалось, если бы не случай. Грабитель остановил женщину, забрал все, что у нее было в карманах, в сумочке, и переложил к себе в карман. Женщина попросила: «Отдай хоть паспорт, он тебе ни к чему!». Грабитель вытащил из своего кармана паспорт и вернул ей. Женщина добежала до дома и обнаружила, что грабитель по ошибке отдал ей свой паспорт со штампом места работы — Норильская спецкомендатура. Женщина оказалась не робкого десятка и тут же обратилась в политотдел комбината. Оперативная группа отправилась по указанному в паспорте адресу. Работник спецкомендатуры был уже дома. Его попросили показать свой паспорт. Он достал паспорт из кармана и только тут обнаружил, что это паспорт ограбленной им женщины. После этого случая спецкомендатуру основательно перетряхнули. Ограблений стало меньше.

Здесь следовало бы остановиться и подумать — что за уголовное нагромождение окружает нас на протяже-

¹ Осужденные за бытовые преступления: воровство, ограбления, изнасилование и т. п.

нии всей жизни?.. Как бы мы ни старались вырваться из этого окружения, оно преследует нас, теснит и... в конечном итоге, побеждает.

Откуда оно взялось?.. Почему все время с нами?.. Вот и в моем тексте эта уголовщина присутствует куда больше, чем хотелось бы.

Я, без малого, ровесник этой страны, и на склоне лет понял и могу сказать: тотальная уголовщина заложена в фундамент нашей государственной системы, вместе со всеобщим насилием и всеобщей нищетой. От нее нет спасения — она угнездилась в основании партийно-государственного устройства, всего репрессивного аппарата (в одном месте больше, в другом — меньше), в так называемых правоохранительных органах, во всей массе трудового и паразитического люда, наконец, в непомерном монстре военного организма. Уголовщина, блатнячество и беспредел пронизали всё — лексику, способ одеваться, а следовательно и моду, все песенное творчество и музыку, поэзию, конечно же, литературу, систему отношений в семье, на работе, на улице, в учреждении, на самых высоких ступенях государственной иерархической лестницы — саму систему мышления. Уголовщина просочилась повсюду и постепенно начала заполнять армию.

А это уже и вовсе беспредельная катастрофа!.. Военные дольше всех продержались. Молодцы! (Они на этом настаивают.) Но в конце концов не устояли, не выдержали — рухнули и они.

Когда работа по созданию опытной установки уже завершилась, у меня стало немного больше свободного времени и снова потянуло к живописи. Я набрался смелости и предложил нашей славной начальнице лаборатории написать маслом ее портрет. Ольга Владимировна согласилась. Первый сеанс состоялся в воскресенье. Ольга Владимировна надела очень элегантную кофточку цвета морской волны. Этот цвет хорошо сочетался с почти таким же цветом ее глаз; светлые золотистые волосы, яркая губная помада... Такой я свою начальницу никогда не видел. На работе она носила белый халат, и в нем казалась старше своих тридцати лет. Оказалось, мы были ровесники... Я толком не знал, как следует держать себя с ней. Со мной она держалась просто, я вскоре освоился и уже чувствовал себя гораздо свободнее. Работа продолжалась несколько воскресений. Порт-

рет с каждым разом приобретал все большее сходство и, как говорят художники, вызревал. Близились завершение. Но однажды в лабораторию неожиданно заявился сам начальник ОМЦ. Бросил на нее недобрый взгляд, на меня и не взглянул, сухо сказал:

— Ольга Владимировна, прошу зайти ко мне.

Не знаю, какой разговор произошел у него в кабинете. Ольга Владимировна вернулась очень взволнованной, в глазах стояли злые, сдержанные слезы...

— Дурак. Ничтожество! — произнесла она, как бы продолжая разговор с ним, а не со мной. — Во всем готов видеть... Подонок! — Она уже не могла себя сдерживать.

В понедельник Ольга Владимировна не вышла на работу. А во вторник позвала меня и сказала, что приказом начальника я отчислен из ОМЦ. Об этом она очень сожалеет и считает себя виноватой.

— Единственное, что мне удалось для вас сделать, — сказала она, — это добиться перевода в Ремонтно-строительную контору, на должность инженера. Вам там будет неплохо. Начальник конторы Рождественский Серафим Алексеевич очень приличный человек. С ним я уже обо всем договорилась.

Мы попрощались дружески. Я дал себе слово никогда больше не братья за кисти по доброй воле. Словно сломалось что-то внутри.

Нетрудно догадаться, в каком настроении явился я в эту стройконтору. Начальника не было, и меня принял главный инженер Офанасов. Мы друг другу сразу не очень понравились, и разговор у нас не получился. Офанасов заявил, что инженер ему не нужен. Я собирался уже уйти, но в это время появился сам начальник, двухметрового роста человек с фигурой атлета. Когда он узнал, кто я, сразу пригласил в свой кабинет. Сказал, что в общих чертах знает мою историю и выразил надежду, что мы сработаемся. Мне отвели небольшую комнату в служебном бараке и сразу загрузили проектно-сметной работой. Серафим Алексеевич действительно оказался приличным человеком. А с Офанасовым скоро установились нормальные рабочие отношения. У него не было инженерного образования, в делах он разбирался слабо, часто обращался ко мне за помощью, а иногда даже перекладывал на меня свои прямые обязанности. Я все это понимал, как мог старался — и тянул... По ходатайству Серафима Алексеевича, лагерная администрация засчитывала мне теперь один день

за полтора, тогда как в ОМЦ шел день за день. Так что в этом отношении здесь оказалось даже лучше.

Наступило короткое норильское лето. Солнце совсем не заходило за горизонт. Бурно зазеленела и расцвела тундра. Никогда не думал, что здесь может быть такое обилие цветов. К сожалению, все они были без запаха. Живые цветы казались искусственными. Все это действовало удручающе. Порою среди бела дня начинал мерещиться аромат подмосковного луга. Но это были уж полные галлюцинации. Фактически лето здесь длится, в среднем, не больше месяца. За это время прогревается верхний слой водоемов и смелый да решительный может даже искупаться, потом погреться на южных склонах холмов. А вот на северных склонах и в оврагах снег никогда не тает.

Быстро пролетели считанные теплые дни. Солнце с каждым разом все дольше задерживалось за горизонтом. Опять надвигалась длинная полярная ночь.

Осенние дожди почти мгновенно сменились снежными буранами. Ветер со снегом срывал кровлю. Разразился ураган. Звенели разбитые стекла окон, световых фонарей и окошек на заводских крышах. Вся жизнь и работа были нарушены. За два дня нанесло огромные сугробы. Всех заключенных бросили на расчистку дорог и подъездных путей. Нашей конторе поручили ликвидировать ущерб, нанесенный заводским сооружениям. Прислали несколько бригад из других лагерей. И все «срочно», «немедленно!».

В первый же день аврала случилось ЧП. Заключенным не успели выдать зимнее обмундирование, и они отказались работать на высоте. Начальство настаивало, давило, угрожало... Зэки отрубили топором голову не в меру ретивому прорабу. В наших бригадах тоже росло напряжение. А тут порывом ветра сбросило часть кровли с крыши цеха и покалечило бригадира. Наш мастер потерял власть над бригадами и тоже побаивался лишиться головы. — «Это кому же хочется ни за что ни про что...», — бормотал он.

Люди совсем растерялись. Ко мне зашел главный инженер Офанасов и сказал:

— Иди на участок. По-моему, твоя очередь... Мастер распустил соплю... Надо закрыть цеха от ветра и снега, забить проемы досками, поправить нарушенные кровли. Давай иди — лепи подвиги. Вечером доложишь, что сделано... Да я и сам туда подойду... Потом.

Но по всему было видно, что туда он не подойдет ни

потом, ни после. Свою голову ему подставлять не хотелось. Мне не хотелось тоже, но мы с вольняшками были не ровня: сказано «иди» — значит, иди и сдохни.

Пусть будет так, как будет. Иду.

Я уже приближался к прорабской, когда дверь с грохотом распахнулась, из нее кубарем выкатился мастер Птахин. За ним с ломиком гнался кто-то из зэков, но внезапно ему стало лень догонять свою жертву, и он вернулся обратно. А Птахин, весь взмокший, несмотря на лютую стужу, растерзанный, все еще бежал и чуть не сбил меня с ног. Остановился.

— Ну что, мастер, не нашел общего языка с гегемом? — спросил его я.

— Тут если что и найдешь... так крышку, — еле выговорил он, скверно выругался и пошел дальше от греха.

В прорабской собрался почти весь участок. Раскаленная печь пышила жаром. Те, кто находился ближе к ней, снимали бушлаты. Кто-то уже в сторонке резался в буру. Мое появление не вызвало ни малейшей реакции — и за то спасибо!.. Я обратился к разомлевшим зэкам:

— Громодяне! Меня к вам послали на съедение... но в цехах ведь работать нельзя. Там такие же зэки, как и мы (хорошо, что не сказал «вы»). Может быть, так сделаем: кто боится работать на высоте... остается внизу. А нормальные...

— Ты сам пробовал там, наверху? — выкрикнул кто-то.

— Нет. Не пробовал. Лезу вместе с вами. Пошли.

За мной последовала едва ли не треть. Ни много ни мало. Эту треть мы разделили на две группы. Одна — с инструментом и материалами осталась внизу, другая — налегке, мы захватили только веревки, полезли на крышу цеха по пожарной лестнице. Пурга сбивала дыхание и слепила глаза. Ветер отрывал от обледенелых поручней... Но все-таки до верха добрались. Стоять или идти по крыше было невозможно, ухватиться не за что. Я глянул вниз — от непривычки к высоте у меня голова пошла кругом. Первым на крышу вылез плотник Витолдс (литовец из Каунаса). Он обвязался веревкой, кинул конец нам и пополз к центру крыши, где зияли пустые проемы световых фонарей. За ним, держась за веревку, выбрались и все остальные. Потом уже через

цах мы подняли инструмент, доски и гвозди. Работали быстро, без перекуров. Подгонял нестерпимый холод. Я удивился, с какой ловкостью в таких невероятных условиях действовали два неразлучных друга — литовец Витолдс и белорус Иван Булка, любимец бригады, которого все звали ласкательно — Булочка. В самый разгар работы кончились гвозди. На складе их тоже не было. В это время к нам на крышу поднялся Цой — это был тот, что погнался за Птахиным с ломиком — и стал смотреть, как мы работаем. Цой был наполовину корейцем, наполовину русским.

— Ну что, Цой, надоело у печки сидеть, устал, бедняжка? Давай, разомнись немножечко!

— Да вы и без меня хорошо справляетесь. Вижу!.. — Несмотря на типичную корейскую внешность, он чисто и правильно говорил по-русски, без малейшего акцента. Среднего роста, пропорционально сложен и физически отменно развит, он всегда выделялся среди других.

— Вот, у нас гвозди кончились и на складе нет. Не мог бы где-нибудь раздобыть?

— Цой все может. Сколько надо?

— Ну хотя бы ящик. Достанешь — до конца дня свободен!

Менее чем через час у нас был целый ящик гвоздей.

На следующий день мы решили изменить технологию работы. Сколачивали щиты внизу в цехе, а поднимали их с помощью блока. Старшим по обеспечению материалами назначили Цоя. Все дела по этому цеху мы закончили до окончания рабочего дня. Я дал бригаде отдохнуть, а сам отправился в контору.

Офанасов встретил вопросом:

— Завтра, к концу дня сумеете закончить работы по цеху?

— Уже закончили.

— Как «закончили»? Не может быть! А я начальству обещал, не раньше чем завтра... Ну, молодцы!

— Мы-то молодцы, а как насчет трех зачетных дней для особо отличившихся?

— Готовь список!

Все, кого я включил в список, получили зачет — три дня за один день. Вот высшая награда в неволе и угнетении — одно обещание свободы, только мысленное приближение желанного дня освобождения. Этим манком пользовались постоянно — оказывается, как просто: лишить человека свободы, а там манить, манить этой призрачной узывностью, манить и затягивать удавку под-

чинения. И я, вместе с системой, пользовал тот же прием, да еще гордился результатами.

Постепенно Цой стал моим верным помощником, но от бригадирства отказывался наотрез:

— Я не сука. Честной вор здесь командовать людьми не станет, — сказал он, как смазал мне по роже.

— А чего ж ты тогда на крышу полез? — воткнул я ему в отместку.

Теперь чесался он:

— Знаешь, интересно было посмотреть, как вы оттуда лететь будете.

— Ну, мог бы и снизу посмотреть...

Начальство не спешило отозвать меня обратно в контору, и я продолжал руководить участком. Понадобилось «опять срочно» усилить фундамент под оборудование. Бетон, целую машину, привезли с большим опозданием, к концу смены. Вывалили прямо на снег, у дороги. Бригада уже собралась идти в лагерь. Отложить укладку нельзя — бетон ждать не будет: застынет, окаменеет.

Я позвал Цоя:

— Что будем делать?

— Отпускай бригаду, инженер, останутся четыре человека.

— Да разве вы четверо управитесь?

— Это не твоя забота. Бетон будет уложен. Или ты перестал мне верить?

Бригада ушла в лагерь. Цой разделся до пояса, трое остальных последовали его примеру. Только бегом, двое носилок, при морозе не меньше чем в тридцать градусов — с улицы в цех, без остановок. Это надо было видеть! Перевели дух только тогда, когда весь бетон был уложен в опалубку. На завтра я дал им полдня отдыха. Получилось так, что как раз назавтра Офанасов решил проверить, как идет работа, и... наткнулся на этих четверых. Устроившись в укромном уголке цеха, они, конечно, играли в карты. Офанасов стал на них кричать, обозвал негодяями, бездельниками. К нему подошел Цой и спокойно сказал:

— Не кричи, начальник. Нам разрешил инженер...

Офанасов не дал ему докончить, взорвался еще больше:

— Какой тут — инженер? Я здесь начальник! Немедленно отправляйтесь на свое рабочее место!

— Вам же сказали, нам разрешили, — снова повторил Цой.

— Молчать! Жулье проклятое. Вон отсюда!

Цой схватил лопату и пошел на Офанасова; тот попытался к двери, выскочил на улицу и побежал прочь. Все повторилось так же, как с Птахиним в день моего прихода на участок. Хорошо, что Офанасов быстро смылся, — Цой раскроил бы ему череп. Скоро из конторы за мной прибежал посыльный. Офанасов набросился на меня:

— Безобразие! Превратил участок в бандитский притон!..

Только после того как я рассказал ему о вчерашней укладке бетона, он поутих. Даже велел сказать Цою, что произошла осечка.

Я уже говорил об относительно привилегированном положении «социально близких» (осужденных за бытовые или уголовные преступления). Многие из них имели пропуска на выход из зоны и бесконвойное хождение по городу.

Кстати, один из таких «социально близких» — заведующий хлеборезкой и по совместительству дневальный «кума» — опер-уполномоченного (а попросту — стукач), в течение длительного времени воровал хлеб и недодавал его заключенным. Долго его не могли уличить, обыски ничего не давали. И не мудрено, он прятал пайки в надежном месте — под диваном в кабинете опер-уполномоченного.

Еще один «социально близкий» — маляр, не раз уличался в воровстве у своих же товарищей. Как-то ко мне на участок пришла с запиской от Офанасова сотрудница нашей конторы. В ее городской квартире надо было побелить потолки. Другого расконвоированного маляра не было, пришлось послать его. Через день хозяйка квартиры явилась снова, вся в слезах: украли вещи.

Маляр клялся, что ничего не брал. В это время в прорабскую зашел погреться бригадир штрафной бригады Алексей Костырев, известный в прошлом грабитель. Я рассказал ему о случившемся.

— Вещички сам принесешь, иль помочь? — сразу сказал Алексей маляру.

Тот снова стал божиться, что ничего не брал. Тогда Костырев снял с гвоздя вафельное полотенце, накинул его на шею маляра, толчком в плечо повернул его к себе спиной, перехватил полотенце поближе к шее и коротким резким поворотом кисти руки сдавил ему гор-

ло. Лицо маляра побагровело и тут же начало синеть, глаза полезли из орбит, рот судорожно раскрылся, и из него набок вывалился побелевший язык. Я схватил Костырева за руку, но он отшвырнул меня.

— Не мешай. Я знаю, что делаю!

— Да ты ж его задушишь, может быть, он действительно ни при чем.

— Тебе вещи нужно вернуть? Тогда не мешай!

Алексей ослабил полотенце, маляр стал приходить в себя.

— Ну как, принесешь вещи?

Маляр снова взмолился:

— Лешенька, я не брал, я ничего не знаю!

И снова резкий выверт руки, полотенце сдавило горло. Маляр попытался еще что-то сказать, но вместо слов получился сдавленный хрип, а затем тело его обмякло и рухнуло на пол, Костырев отпустил полотенце. Я подумал, что несчастный уже мертв и проклинал себя, что связался с таким усердным правдоискателем. Тем временем маляр оживал. Костырев не торопил его. Маляр приподнялся, не спеша встал на ноги и как ни в чем не бывало бросил сквозь зубы:

— Ладно... ваша взяла.

Через полчаса все украденное было на месте. Мы так и не поняли, где все это он прятал и помогал ему кто-нибудь или это он все сам...

Работа на участке вроде бы меня устраивала. У нас постепенно склотились литая команда, или, по официальной лексике, — здоровый коллектив! Что, прямо скажем, было делом редким для разношерстного состава заключенных.

В бригадах было несколько прибалтийцев — они составляли костяк участка. На них всегда можно было положиться. Я уже упомянул литовца Витолдса. Исключительно крепкий, добросовестный, смелый парень. Однажды, когда произошла авария плавильной печи, он сам полез в еще не остывшее чрево и находился там почти две смены, с небольшими переменами, пока авария не была устранена.

Как ни крути, а нашего брата кроме как отчаянным, опсихелым героизмом не проймешь. Такое уж мы оказались племя — и даже иные, попавшие в наш круг, все равно становились такими же — вот незадача!.. А вот Витолдс никакой показухи не лепил. Не умел. А рабо-

тал как настоящий, честный работник. Вот и остался в моей памяти навсегда.

Все эки нашего участка получали максимальный зачет дней и полную пайку хлеба. Я подобрал надежных бригадиров. Мне здесь защищивали два, а то и три дня за день, и я не спешил возвращаться в контору. Серафим Алексеевич уже не раз и в шутку и всерьез спрашивал:

— Не надоело бездельничать на участке? Не пора ли вернуться в контору?.. Много дел накопилось.

Я отвечал ему, что за безделье на участке мне засчитывают два дня за день, а за конторские дела — только полтора.

Но вернулся из длительного отпуска вольнонаемный начальник участка Азиев, и мне все-таки пришлось вернуться в контору. Правда, Офанасов вскоре снова обратился ко мне за помощью. У одной из фабричных труб начал разрушаться верх. Венчающая трубу чугунная корона весом в несколько центнеров могла упасть. Нам поручили снять корону и разобрать верхний разрушившийся участок кирпичной кладки. Задача была не из простых, но инженерно забавная. Предлагалось построить леса вокруг трубы и с них вести разборку. Сооружение лесов на высоту трубы требовало много времени, а корона могла упасть в любой момент.

Начальник конторы находился в командировке, Офанасов не хотел рисковать сам и подставлять Азиева. Я же был для этого вполне подходящей кандидатурой. В случае чего вся вина легла бы на меня, а за заключенных никому не пришлось бы отвечать. Вот чем еще была хороша система ГУЛАГа.

Я отобрал умелых, ловких и смелых ребят: Витолдса, Булку, конечно, Цоя и еще нескольких человек из бригады, проверенных в деле. Правда, предварительно поставил начальству несколько жестких условий: заменить старые бушлаты, ватные брюки, шапки и валенки на новые и, учитывая сильный мороз с ветром, выдавать каждому после смены по сто граммов спирта. Это было неслыханной дерзостью, но я знал, что у начальства не было другого выхода. С обмундированием проблем не возникло, а вот спирт пришлось Азиеву покупать за свои деньги. Но, думаю, что при тройном окладе, с учетом заполярных надбавок и премий, он не слишком-то обеднел. Во всяком случае, по миру не пошел.

Чтобы ускорить работу, мы решили не делать круговых лесов, ограничились возведением лесов только с одной стороны, противоположной той, куда сползала ко-

рона. Это раза в четыре уменьшало объем работы. Надо было спешить: с каждым днем корона оседала на сторуону все больше и больше.

Чем выше мы поднимали леса, тем труднее и опаснее становилась работа. Руки немели от лютого мороза. Прожекторы, установленные внизу, не столько освещали рабочую площадку, сколько слепили. Порой больше толку было от северного сияния.

Когда леса достигли примерно половины высоты трубы, стало очевидно, что наращивать их дальше опасно. Мы поняли, что совершили ошибку — зря отказались от круговых лесов. Воздвигнутая нами этажерка оказалась малоустойчивой. Скобы, за которые она крепилась к трубе, могли не выдержать нагрузки, и тогда все шаткое сооружение рухнуло бы вниз. А с трубой — тут рухнуло бы и все начальство, и мы вместе с ним — грешные. Сейчас верхняя площадка лесов напоминала палбу небольшого суденышка во время шторма. Если бы ветер усилился — нам всем был бы полный и окончательный... гроб!

Я не знал, что делать. Накануне приходил Офанасов, посмотрел вверх, покрутил головой и ушел. На следующий день он не вышел на работу, жена сообщила, что заболел.

Я остановил все работы и обратился к ребятам:

— Какие будут предложения?

— Полезем наверх по скобам, — сказал Иван Булка, — сначала один посмотрит, как крепится корона и можно ли ее разобрать и спустить по частям. А потом уж будем решать, как действовать дальше. Полезу, наверно, я? — заявил он.

Но Витолдс сказал:

— Не так... Полезет я... Потом мы с тобой... А потом уж, как он прикажет.

И с ним никто не стал спорить.

Мы все собрались на верхней площадке лесов и с замиранием всего, что может замереть, смотрели, как он по скобам размеренно пробирается вверх... Как добрался и уселся на край трубы... Потом продвинулся дальше, швырнул вниз несколько кирпичей и благополучно вернулся к нам на площадку. По его мнению, всю корону можно будет там, наверху, разобрать и по кускам сбросить вниз. И он даже рассказал, как это надо сделать.

Теперь наверх полезли Витолдс и Булка. Захватили с собой ломы, гаечные ключи... И вот первый чугун-

ный сектор со свистом и гулом пронесся мимо нас и с грозным хрюком врезался в землю... К концу смены вся корона была разобрана и сброшена.

— Трубе издец! — Как бы сокрушенно заметил Иван Булка. — Опасность миновала. Отбой.

Осталось разобрать только разрушающийся участок кладки. Я разделил спирт и объявил следующий день выходным. Теперь нам спешить было некуда, и больше никто не торопился с разборкой. Серафим Алексеевич еще не вернулся из командировки, остальное начальство, видимо, не решалось появиться, спирт от Азиева поступал регулярно. Я побаивался только, как бы в этом спиртном раже они ему всю трубу по кирпичикам не разнесли... Через неделю известили Офанасова:

— Корона Российской Империи низвержена! Леса и настил разобраны. Чугунные секторы сложены в аккуратную стопку... Можно выздоравливать.

Офанасов решил, что мы его разыгрываем. По его расчету, мы должны были еще только заканчивать возведение лесов.

В гулаговской системе для нейтрализации и подавления активных эковских сил и возможных восстаний широко использовалась вражда между лагерными кастами. Особенно успешно использовалась жестокая, непримиримая вражда между «честными» и «ссучеными». К первым относились уголовники, сохраняющие верность своему воровскому закону, те, кто не шел ни на какие сделки с администрацией и гулаговской властью; ко вторым — те, кто сдался власти, пошел в услужение. Обе касты люто ненавидели друг друга. Регулируя по своему усмотрению соотношение этих групп в лагере, администрация руками самих заключенных ликвидировала наиболее активных. Они стравливали недовольных между собой и так ослабляли сопротивление режиму. С этой целью заключенных постоянно перетасовывали — как в шулерских карточных играх. Доставалось в этой кровавой битве и тем и другим. Объектом такой перетасовки стал и честный вор Цой. Администрация лагерей решила перевести его отсюда в другой лагпункт. «Почему?.. За что?..» — «А вот так. Значит надо!» Цой почувал, что там его ждет гибель, и как мог противился отправке. Как я ни вертелся, как ни крутился, чтоб хоть чем-нибудь помочь ему, мои хлопоты оказались тщетными. Как будто кто-то специально задался целью изничтожить

его. А он сопротивлялся до последнего...

Охранники скрутили ему руки и ноги веревками и бросили в кузов. Когда грузовик тронулся, связанный Цой каким-то невероятным образом изогнулся, спружинил и выбросился из кузова. Его подняли, снова бросили в кузов, и, чтобы не повторился этот трюк, охранники уселись на него верхом.

Предчувствие Цоя сбылось. Вскоре его там, во враждебном лагункте, зарезали. Вот наступило время помянуть и его. Яркого и непримиримого. А чего это я так уж скорблю о нем?.. Да мало ли «честных воров» я повидал в ГУЛАГе?.. А потому, что красив был и талантлив. И родился на свет, по всему видно было, не для того, чтобы стать уголовником. Его до такой жизни еще довести надо было.

20. МЕЛЬПОМЕНА

(богиня — покровительница сценического искусства)

При всей отвратительности лагерной жизни, хоть как-то облегчала ее КВЧ — культурно-воспитательная часть и ее начальник... Вот просто попался вполне приличный человек — бывает же такое? При его содействии в зоне был построен клуб-театр с балконом и даже гостевой ложей. Руководил артистической труппой опытный режиссер Константин Васильевич Крюков, тоже из заключенных. Участникам труппы разрешалось носить волосы (всех остальных стригли под машинку). Желающих попасть в артисты было, как всегда, куда больше, чем требовалось.

Меня Константин Васильевич тоже привлек к работе, как художника спектаклей. А позже и как исполнителя ролей, даже сделал своим помощником в постановочном деле. Он заканчивал десятилетний срок заключения и готовил себе замену.

Он ушел на свободу — мы остались. После его ухода начальник КВЧ неожиданно предложил нам поставить пьесу Славина «Интервенция»! Странное это было предложение, ведь у нас в лагере не было заключенных женщин, а даже простое общение с вольнонаемными было строжайше запрещено. Мне пришлось основательно искалечить пьесу Славина — заменить почти все женские роли на мужские, кроме, разумеется, одной — банкирши и попутно бандерши мадам Ксидиас. Эта мадам должна была оставаться женщиной, иначе терялся весь смысл и комизм пьесы. Роль мадам Ксидиас мы поручи-

ли очень талантливому парнишке, Леше, а вот одна из самых выигрышных ролей Фильки-анархиста досталась моему товарищу Славе Ивлеву.

Почти весь реквизит, костюмы, декорации, бутафорию мы делали сами. Репетировали каждый вечер после работы. Множество хозяйственных проблем, которые непрерывно приходилось решать, поглощали все свободное время, а ведь еще были и творческие — как-никак мы со своим гулаговским рылом вторгались в изысканный огород Мельпомены, богини — покровительницы театра.

Наконец настал день генеральной репетиции. Спектакль принимал сам начальник КВЧ. Все волновались, как первокурсники перед сессией, а больше всех, наверное, я. Но в общем генералка прошла довольно успешно. Особенно хорош был Лешка в роли мадам.

Постановка была принята и назначен день премьеры. Поначалу мой дебют в роли театрального режиссера вроде бы удался. Возможно, об этом эпизоде лагерной жизни я не стал бы распространяться, если бы не одна маленькая художественная деталь. По сценарию в конце пьесы Филька — «свободный анархист» произносит такие слова: «Власти приходят, власти уходят, бандиты остаются». На одной из последних репетиций Слава Ивлев (исполнитель роли) на этой фразе повернулся в сторону пустой гостевой ложи. Я тут же представил себе, как бы это выглядело, если бы там сейчас восседали лагерные, а то и высокие гулаговские начальники...

Мы со Славкой понимали, что этот трюк может обойтись очень дорого. Но не было сил отказаться от такой рискованной, но и такой лихой мизансцены. Оба соображали, что лезем головой в петлю, и оба не могли отказать себе в таком удовольствии, — видно, сработал обычный лагерный мазохизм?.. А может, так проявляет себя неумное и пошлое тщеславие?.. Нет! Так дает знать о себе вечный принцип противодействия насилию, принцип справедливости — наперекор... Но мы оба догадывались еще об одном: как все это одушевит и ободрит всю братию, всю: и уголовников, и бытовиков, и политических. Очень хотелось, чтобы спектакль обязательно им понравился — всем, а не начальству. Из-за этого и полезли на риск, как на амбразуру. А если начальство рассердится или даже придет в негодование, а то и в неистовство, то ведь это тоже великая радость, полный праздник... Нет, что ни говори, — искусство со

всех сторон обнаруживало свои манящие прелести и было сродни риску разведчика.

И вот наступил день премьеры. Через дырочку в занавесе я глянул в зал. Он был набит до отказа — сельди в бочке паковались не плотнее, чем зэки в зрительном зале, и царили здесь мир и согласие: одни сидели друг у друга на коленях, другие жались в обнимку, чтобы не свалиться, третьи теснились в проходах, сидели на полу, и все... ждали. Ждали куда.

Недаром у Джонатана Свифта сказано: как бы невыносимо тесно не было в людской толпе, всегда над головами остается огромное свободное пространство. И вот, чтобы из тесноты и спертости вырваться в это свободное пространство, человечество изобрело три специальных сооружения: трибуну, сцену и виселицу... Кажется, так у него говорится в «Сказке о бочке» или приблизительно так... Роль трибуны здесь исполняла гостевая ложа, сцена была у нас под ногами, а виселица маячила где-то впереди.

Говори-говори, да не заговаривайся... Только гостевая ложа все еще пустовала, но с минуты на минуту ожидалось прибытие вершителей наших судеб... Наконец ОНО прибыло! В сопровождении многочисленной свиты. Все знаками различий клейменные, головы вздернуты, ноздри раздуты — псы-лыцари в форме НКВД.

Наш покровитель, начальник КВЧ, подал тихий решающий знак, и спектакль начался.

Первый акт прошел успешно: зал бурно реагировал, взрывался аплодисментами. Не успел опуститься занавес, как за кулисы ворвались охранники, следом за ними решительно выплыл один из представителей свиты:

— Кто позволил использовать вольнонаемную женщину? — с лютой угрозой он обратился прямо ко мне, как будто я публично изнасиловал его близкую родственницу.

— Никто! — ответил я в духе солдата Швейка.

— А вам известно, что это категорически запрещено?

— Так точно, гражданин начальник! — отрапортовал я и подумал, что он меня сейчас ударит.

— И ты, и она будете наказаны. А теперь позови мне эту блать.

Я отворил дверь в гримерную и крикнул:

— Мадам Ксидиас, на выход! Вас хочет видеть гражданин начальник!

Лешка пульей вылетел из гримерной, шурша юбками, виляя подкладными бедрами, играя бюстом, — он уже

хватил первую порцию успеха и жаждал второй — был раскован и нагл: остановился на почтительном расстоянии и учтиво поклонился, сделав, на всякий случай, глубокий реверанс.

— Как фамилия, где работаешь? — рявкнул начальник.

— Содержу в порту бардак, ваше благородо... — Тут он сообразил, что переборщил, и, запинаясь, поправился: — Гражданин начальник!

— Номер! Статья!

— Заключенный номер... (такой-то), статья... (такая-то), — промямлил Леша под хохот всей труппы.

Только теперь сообразил начальник, в чем дело, и припечатал:

— Десять суток ШИЗО. После спектакля!

Безупречен был и Филька-контрабандист. Ивлев отлично играл, но после случившегося я уловил в нем едва заметное дополнительное волнение — приближался момент, когда он должен был произнести заветную фразу.

Это был какой-никакой, а протест, пусть высказанный чужими словами. А начальство этот звук схватывает с лёту, — не по слову, а по одной букве... Ивлев взглянул на меня, как бы спрашивая: «Стоит ли?.. может, нет?». Утвердительным кивком я ответил: — «Стоит!», подхлестнутый только что происшедшим инцидентом с «мадам Ксидиас».

И вот настал, как произносил Филька в своих куплетах, «криктивный момент». Он обратился к зрителям и громко произнес:

— Власти приходят, власти уходят... — и, повернувшись к ложе, как бы с сожалением, завершил: — Бандиты остаются!

Что тут поднялось в зале, трудно себе представить. Зрители ревели от восторга. Все что угодно, но такой бурной реакции я не ожидал. Спектакль приостановился, его просто невозможно было продолжать.

В тот же вечер меня вызвали в КВЧ. Начальник был необычайно холоден. Я понимал, что ему из-за нас здорово досталось. Мне и Ивлеву запретили участвовать в самодеятельности и обоих остригли. Труппу распустили. Правда, Леша отсидел в ШИЗО только одни сутки, но его тоже остригли. Признаться, я ждал более суровых репрессий, особенно в собственный адрес. Оно так бы и случилось, если бы не вступился за нас все тот же начальник КВЧ. Как же это я забыл его имя-отчество и фамилию — нехорошо. Такого следует помнить.

Так оборвалась моя режиссерско-артистическая карьера, едва-едва успев начаться, — «значит, не судьба», — подумал я.

Молва о нашем спектакле распространилась за пределы 6-го лагпункта, а фраза «Бандиты остаются!» стала своеобразным знаком солидарности не только среди заключенных, но и среди вольняшек.

Мой переход на работу в контору не нарушил дружбы с эстонцем Альбертом Трууссом, с которым мы вместе работали в ОМЦ. Чтобы не оставаться в лагерном бараке, в свободные воскресные дни, мы постоянно выходили на работу — пользовались тем, что ОМЦ и моя контора находились в одной зоне оцепления. Вот так нам представлялась возможность встречаться в относительно свободной обстановке.

Однажды Альберт пришел ко мне бледным и очень расстроенным. Его только что ограбили. Остановили трое с пиками... Денег было немного, но забрали портсигар, памятный подарок из дома. Мы немного посидели, а потом я пошел проводить его. Надел поверх телогрейки свой самодельный черный плащ и сунул в карман бутафорский пистолет. Его изготовили в нашем столярном цехе для клубной самодеятельности. Мне как раз надо было отнести его в лагерь. Хотя пистолет был деревянный, но покрыт черным лаком, выглядел как настоящий. Еще мелькнула мысль: «А вдруг пригодится!». И как накаркал — в одном глухом месте из-за укрытия вышли четверо и преградили нам дорогу. Я шепнул Альберту:

— Иди прямо на них. Не сворачивай и не оборачивайся.

Сам пошел чуть сзади на расстоянии двух метров, делая вид, будто конвоирую. Правая моя рука была засунута в карман плаща, там я сжимал рукоятку деревянного пистолета. Когда подошли почти вплотную, я прикрикнул:

— Не останавливаться! Вперед!

Четверо нехотя расступились, дали нам дорогу.

До ОМЦ мы дошли благополучно. К себе я возвращался один, готовый при встрече с грабителями пугнуть их бутафорским пистолетом. Но вместо грабителей был остановлен оперативником. Теперь уже мне предложили идти впереди и не оборачиваться. Я спокойно шел впереди, знал, что меня все равно отпустят, но

вспомнил про пистолет в кармане и почувствовал, как спина покрылась холодным потом. Дело в том, что в последнее время было совершено несколько дерзких ограблений. Грабитель, до сих пор не пойманный, всегда угрожал пистолетом, но ни разу не пустил его в ход. Скорее всего, пистолет был тоже ненастоящий. Как я смогу доказать, что грабил не я? За такое преступление могли запросто дать «вышку». Надо было во что бы то ни стало избавиться от пистолета. Пришлось тряхнуть стариной и вспомнить фронтовые навыки. Я мысленно прорепетировал все движения. Надо надежно отвлечь внимание конвоира, опустить руку в карман, вытащить пистолет и сунуть его в сугроб. На все не более двух секунд. Ошибка может стоить жизни. Оперативник, наверняка, вооружен, и у него-то пистолет настоящий, на боевом взводе и снят с предохранителя. Все это я понимал, но выхода не было. Выбрал момент, поскользнулся, вскинул вверх левую руку и, падая, успел правой рукой вытащить пистолет из кармана и сунуть его в снег. Все получилось как задумал. Оперработник выругался, но ничего не заметил. Пистолет надежно спрятан в сугроб, и место я запомнил. В комендатуре меня тщательно обыскали, выяснили, кто я, и отпустили. На обратном пути я подобрал пистолет и отправился в лагерь.

При возвращении из промзоны в зону лагеря всех заключенных всегда обыскивали. Я мог бы сам отдать пистолет охране для передачи его в клуб. Но под впечатлением только что происшедшего эпизода мне захотелось проверить бдительность охраны. Переложил пистолет во внутренний карман плаща и при обыске на вахте широко распахнул полы телогрейки вместе с полами плаща. Дал проверить карманы брюк, внутренний нашитый карман телогрейки. Потом быстро запахнул полы, поставил рукава для прощупывания снаружи и стал выворачивать боковые карманы, показывая, что они пусты. Пистолета охранник так и не обнаружил. А я понял: таким образом можно было бы, пожалуй, и автомат в зону пронести.

Но мне пока автомат здесь был не нужен... А что мне было нужно?.. Мне нужно было, чтобы не было зоны и всего, что с ней связано. Чтобы самых хороших людей, включая моих закадычных друзей, и даже плохих людей, но не виновных в предъявленных им абсурдных обвинениях, выпустили бы отсюда на свободу. А если это невозможно, то, как минимум, мне надо... чтобы меня в

этой зоне и во всей этой системе ГУЛАГа не было! Это не мое. Я не преступник. Я этого не заслужил. И еще, мне очень тяжело сознавать, что подонки, меня сюда упрятавшие, гуляют на свободе, и делают вид, что трудятся в поте лица. Пока все это есть и царствует — я буду стоять на своем. Я буду — наперекор.

Нашей клубной самодеятельностью стал руководить профессиональный актер Сергей Абрамов. Его перевели сюда из какого-то другого лагпункта. Еще до заключения он успел окончить театральное училище. Это был невероятно одаренный человек и, скажем так, загадочный. О нем ходили всякие легенды, даже небылицы, но я поначалу ничему не верил, пока не познакомился с ним поближе. Он талантливо исполнял драматические роли, неплохо режиссировал, хорошо пел, великолепно аккомпанировал на гитаре.

Когда он исполнял старинные романсы или баллады, зал слушал, затаив дыхание, и подолгу не отпускал его со сцены. Я видел, как под воздействием его пения травленные, непрошибаемые зэки плакали. Иногда он вдруг тайно исчезал, и никто не мог сказать, где он находится. И его ни разу не наказали. Кто-то видел его даже в городе. Поговаривали, что он владеет особой техникой гипноза или внушения и может пройти через любую вахту. В разговоре с ним я высказал однажды некоторое сомнение по поводу этой его способности. Он посмотрел на меня, произительно:

— Если хочешь, можем часок-другой прогуляться по городу. Посидим в ресторане.

Я подумал, что он шутит, и поэтому принял его игру: — С удовольствием!

— Тогда идем, — он, не оглядываясь, двинулся в направлении вахты.

Мы подходили к проходной, пересекать которую в обе стороны могли только вольнонаемные. Сергей легко и безо всякого напора сказал охраннику:

— Мы скоро вернемся. — Не сбавил шаг, не приостановился, мне даже показалось, что он смотрел мимо охранника.

Невиданный случай — мы беспрепятственно вышли из зоны. Я шел как по раскаленной плите и ждал, что охранник вот-вот опомнится и выстрелит, или гаркнет: «А ну, вертайсь!». Я уже видел себя в штрафном изоляторе — самом строгом... И Сергея рядом... Но все было

спокойно. Никто не стрелял, никто ничего нам не кричал. Мы шли по неохраняемой городской земле. И тут догадка ударила, как хлестанула: «Раззява, да это же сексот — секретный сотрудник ГУЛАГа. Вот тебе и вся легенда. А я-то уши развесил!».

Однако виду не подал и свое открытие решил придерживаться до поры до времени при себе. Сергей хорошо ориентировался в городе, видно, бывал здесь не раз. Мы уже прошли мимо одного ресторана; он вел меня в другой, сказал, что тот лучше. Чтобы проверить свое подозрение, я предложил посетить тот ресторан, который мы уже прошли. Он не стал упорствовать, и мы вернулись. Я еще вначале предупредил его, что денег у меня всего один рубль, а он сказал, что у него и того меньше. Интересно было посмотреть, на что же он рассчитывал? Мы разделись и прошли в зал. Две официантки беседовали между собой не обращая на нас внимания. Лишь после второго призыва одна из них нехотя подошла к столику.

— Девушка, нам бы чего-нибудь перекусить, — подчеркнуто внятно произнес он, глядя на нее как младенец, нефокусированным взглядом действительно глубоких и очаровательно-красивых темных глаз.

И тут на моих глазах стало происходить непонятное. На лице официантки появилась улыбка, взгляд потеплел. Она ловила каждое слово Сергея и была готова выполнить любое его желание. Он размеренно произнес:

— Девушка! Я случайно встретил своего давнишнего друга и хотел бы отметить это событие несколько торжественнее, чем позволяет меню. Я буду весьма признателен, если вы поможете нам в этом...

Через минуту на столе появился коньяк, хорошая закуска. Сергей с аппетитом ел, а у меня кусок застревал в горле. Я понял, что мое подозрение было напрасным. Если бы он был «сексотом», зачем тогда ему было демонстрировать все это? Теперь я с тревогой ждал момента, когда придется расплачиваться за еду. Сергей же, судя по всему, не испытывал никакого беспокойства, и когда заместитель директора подошла к нам осведомиться, довольны ли мы обслуживанием, он усадил ее с нами за стол, и мы выпили за ее здоровье. Потом Сергей поблагодарил дам за гостеприимство, сказал какой-то комплимент и сделал жест, дескать, достает бумажник! Спросил, сколько мы должны за угощение. Официантка наотрез отказалась от денег... Решительно и, главное, искренно!

Я был ошеломлен, словно сам находился под гипнозом. На выходе из ресторана я боялся обернуться, ожидал, что раздастся возглас: «Вернитесь!». Но и здесь, так же, как на вахте, все обошлось благополучно. Мы беспрепятственно возвратились в зону.

Что-то происходило вокруг — и уже не скажешь странное, а какое-то нагромождение нелепостей, одичалой жестокости и еще чего-то, что и словом не назовешь... Словно все сорвалось с круга заданного вращения и понеслось к хаосу, бессмыслице и небытию... Важно было удержаться на ногах, не свалиться, не упасть, чтобы не затоптали.

В нашей строительной конторе работала нормирующей вольнонаемная молодая женщина, Анна К. Иногда она заходила к нам просто поболтать. По отрывочным и случайным фразам можно было предположить, что в Норильске она оказалась из-за какой-то сердечной драмы. В меру привлекательна и стройна. На ухаживания вольнонаемных мужчин почти не реагировала. Не пользовалась никакой косметикой. На левой руке носила обручальное кольцо, хотя ни мужа, ни жениха, как я знаю, у нее не было. К особо ретивым поклонникам относилась холодно и даже с некоторым презрением. А вот улыбка у нее была добрая, с зеленоватыми искорками в глазах. Однажды она ввалилась в помещение почти в невменяемом состоянии и еле выговорила:

— Только что... меня ограбили. Вот тут вот — возле самой конторы... Их двое... Молодые ребята с ножами... Выродки.

У нее выпотрошили сумочку, сняли часы. Я спросил, как выглядели грабители и в какую сторону пошли. Забежал в столярный цех, сунул в карман молоток, крикнул нашим ребятам, что побежал догонять грабителей и что нужна их помощь. На мой призыв тут же откликнулся кузнец Пашка. Вдвоем мы побежали в указанном Анной направлении. Полярная ночь в преддверии весны немного потеснилась, обозначились сумерки. Вскоре я различил шагающего широким шагом человека. Приметы одежды совпадали с описанием Анны. Я побежал быстрее, сзади чуть поотстал Пашка. Человек напорно шел, размахивая руками, и не оборачивался. Расстояние между нами сокращалось. Я знал, что у него должен быть

нож. Улучив момент, когда его правая рука в махе оказалась сзади, я схватил его за запястье и заломил. Парень рухнул на колени. Подбежал Пашка — в кармане задержанного мы обнаружили нож. Сомнений не осталось — это был один из грабителей. На вопрос, где его напарник, отвечать отказался. Мы повели его в направлении нашей конторы. Не успели пройти и сотни метров, как из сумрака появилось несколько силуэтов. Сначала мы решили, что это наши ребята идут к нам на помощь. Но это были не они... Еще мгновение, и мы с Пашей оказались в плотном кольце. Их было человек пять, в темных бушлатах, с поднятыми воротниками и надвинутыми на глаза ушанками. Лица почти не видны, только свирепые взгляды из-под шапок. И все пять пар устремлены на нас. Медленно подступая, они на ходу вытаскивали из рукавов и карманов кто нож, кто пистолет. Не знаю, кого из родных и близких вспомнил я в этот момент... Было ясно — это конец! Руки и ноги ослабли. Пойманный почувствовал, что его не держат, и отскочил в сторону. Я вспомнил про молоток и отобранный нож в моем кармане, но понял, что любое движение только ускорит конец. Заточенной пикой вмиг пропорят насквозь... Дальше все было как во сне. Кольцо вдруг отпрянуло назад и исчезло. А из мрака уже появилась фигура в распахнутом полушубке и черном кителе. Это был вольнонаемный мастер столярного цеха Гусев и с ним еще несколько наших зэков. Появись они всего на две-три секунды позже — опоздали бы... Но вместо того чтобы радоваться избавлению, мне вдруг стало обидно, что мы упустили грабителя. Он не мог уйти далеко. Я так хотел еще раз увидеть его, что... увидел: он поднялся по насыпи железнодорожного полотна. Еще немного, и он мог бы скрыться. Мы его догнали, когда он уже спускался с противоположной стороны насыпи. Вот шутница-фортуна, умеет мигом развернуться на все сто восемьдесят и притом не один раз. Мне снова удалось захватить его правую руку — чуть не сломал в плечо. Он пытался вырваться, — не смог, мертвой песьей хваткой вцепился збам в кисть моей руки — шрам на пальце остался навсегда.

Потом мы отвели его в контору, обыскали и нашли часы, снятые у Анны. Гусев позвонил в спецкомендатуру, грабителя забрали. А я некоторое время носил в валенке кусок стальной полоски — на всякий случай.

После этого происшествия Анна поглядывала на меня с удивлением и даже с любопытством. А в один

из воскресных рабочих дней пригласила на свою территорию и устроила маленький благодарственный банкет: на столе были бутерброды, в стаканах горячий чай, рядом сидели несколько сотрудников — вот и все. Но для меня было очень дорого даже такое простое проявление участия.

Память бастовала, она отказывалась усваивать поток всеобщей мерзости; память работала избирательно и оставляла в своих тайниках примеры подвигов человеческого духа и поступки, равные им. И все же прорывы обыденной памяти кошмарны.

Это было у меня на глазах. В плавильном цехе работала ремонтная бригада заключенных. Что-то не поделили. Трое погнались за одним, по рабочим площадкам и трапам, загоняя его все выше и выше. По тому, как они за ним гнались, и по тому, как он от них убегал, было видно, что тут пощады не будет. Они загнали его на самую верхнюю площадку, под перекрытием. Дальше уходить было некуда, оставалась только ферма, и он полез по ней, рискуя каждый миг сорваться. Но преследователей и это не остановило. С противоположных концов они так же полезли по ферме. Приближалась развязка. Преследуемый понял, что ему не уйти, посмотрел вниз, где как раз под ним остановился огромный ковш с расплавленным металлом, и, не раздумывая, с высоты прыгнул «солдатиком» вниз, прямо в ковш... И не промахнулся.

С Анной мы встречались почти каждое воскресенье. Конечно, это было очень рискованно для обоих. Даже обычное чаепитие могло окончиться расправой. Я как-то ее спросил:

— Зачем тебе этот постоянный риск?

Она ответила:

— Здесь только, среди заключенных «политиков» и ссыльных, встречаются нормальные люди. А этих борзых, как и уголовников, мне не надо.

В один из дней Анна не вышла на работу. Я не на шутку испугался... Оказалось, она сильно простыла, заболела. Прошло несколько дней. Я знал, что она живет одна, может быть, ей нужна помощь... Не мог придумать, как помочь ей. Выручил снова загадочный Сергей Абрамов. Он решительно произнес:

— Пошли!

Опять, как тогда в ресторанном походе, мы беспрпятственно проплыли через вахту и вместе заявили к Анне домой. Она обомлела от неожиданности — испугалась, что нас отправят в штрафной лагерь за побег из зоны. К счастью, и на этот раз все обошлось. Даже в лагерном мире случаются чудеса.

21. УБРАТЬ С ПОВЕРХНОСТИ!

Сперва робко, а потом все настойчивее по лагерю поползли черные слухи: будто пришел приказ — всю 58 статью собрать в спецлагеря и загнать под землю — в шахты, рудники — с использованием только на общих работах; лишить права переписки и предоставить лагерному начальству полномочия продлевать подошедший к концу срок заключения. Год паскуднейших из худших — 1951-й!

Вскоре тревожные слухи подтвердились.

Вызвали на этап с вещами первую партию. В нее вошла 58-я с большими сроками (от двадцати лет с «намордниками» и довесками: ссылкой после отбытия срока, поселением, лишением прав). Спустя некоторое время последовала вторая партия. В нее отобрали тех, у кого сроки были от пятнадцати до двадцати. В эти дни все мы жили тяжким ожиданием вызова на этап. Во многих цехах работа остановилась. Производство лишилось ведущих инженеров, специалистов, руководителей групп и проектов. Фактически это был удар по мозговому центру комбината. Началась обычная бестолковщина, сумятица, аварии.

Прошло еще несколько дней, и стали подбирать всех остальных, осужденных по 58 статье, с «детским» сроком — до десяти лет.

Так прекратил свое существование 6-й лагпункт — этот крохотный островок просвета среди обширного архипелага мрака. Островок, с еще не до конца подавленной способностью мыслить, как-то действовать, жить; где сохранялись остатки нормальных человеческих отношений.

Меня упекли в лагерь, обслуживающий две угольные шахты. Одна — «внекатегорийная», иными словами, сверхопасная, с постоянными взрывами метана и угольной пыли; другая — «второй категории взрывоопасности».

Поскольку вольнонаемные горные мастера, началь-

ники участков и смен теперь не должны были работать совместно с заключенными, возникла необходимость заменить их зеками. Лагерное руководство вынуждено было организовать курсы горных мастеров. В число курсантов угодил и я. Преподавателями были опытные инженеры, в основном бывшие заключенные. Занимались по восемь часов с перерывом на обед.

Тут мне очень не хватало моих проверенных друзей: нас всех рассовали по разным гулаговским дырам.

В этом лагере, как, впрочем, и в других, было много литовцев, латышей, эстонцев. Как правило, это были добросовестные трудяги, просто не способные делать что-либо плохо. Такой уж, видно, это народ — разумные, деловые. Среди них мне ни разу не довелось встретить вора или стукача.

Первым моим новым другом в этом лагере стал литовец Ионас Беляускас. Открытое спокойное лицо, наивный взгляд голубых глаз — в них он отражался весь, без утайки. Я уже знал: таким, как он, можно верить. Ионаса вместе с другими, с «активированными по инвалидности», должны были в следующую навигацию отправить на материк. У него была уже третья стадия туберкулеза легких. Ему трудно было ходить самому за баландой, и я обычно приносил котелок — на двоих — в барак. Так, из одного котелка мы и ели. Ионас часто останавливался, чтобы передохнуть, и я ждал, пока он снова соберется с силами, а то было бы не поровну. Помню, сколько признательности было в его глазах. Но не за то, что я накормил его или вместе с ним выдерживал паузу (он уже был равнодушен к еде), а за то, что ел вместе с ним из одного котелка и не боялся заразиться. А я как-то даже не придавал этому значения. Цена жизни была здесь слишком ничтожна. Ионас показал мне фотокарточку сестры и сказал, что если бы мы выжили и чудом оказались на свободе, я обязательно должен был бы приехать к ним в Литву.

— Моя сестра была бы тебе верной женой, — говорил он, и я верил ему.

Когда в Литву в 1940 году были введены советские войска, Ионас Беляускас заканчивал военное училище. Но стать офицером ему не пришлось. Начались массовые репрессии по всей Прибалтике. Забирали целыми семьями, не позволяли брать с собой ничего. В освободившиеся, со всем оставленным скарбом, со всем имуществом дома, стали поселяться новые хозяева... Не

трудно себе представить масштаб этих репрессий в чужой стране, когда своя была перепахана ими.

К оккупированным прибалтийским народам вершился настоящий геноцид. Да разве только к прибалтийским? Глубокий след в памяти оставил разговор с польским юношей, происшедший в 1940 году на территории, до этого принадлежавшей Польше. Километрах в тридцати от Львова, недалеко от шоссе, на дороге мое отделение отрабатывало приемы быстрого приведения в боевую готовность четырехметрового оптического дальномера. На шоссе показалась длинная колонна. Я повернул дальномер в ту сторону, прильнул к окулярам и увидел конвоируемых нашими солдатами людей в польской военной форме. Это были совсем молодые парни, в обтрепанной униформе, многие шли босиком. Вид у них был изможденный. Колонна уже поравнялась с нами, когда конвоиры объявили привал. Это оказались военнопленные, но почему-то очень уж юные, лет по семнадцати-восемнадцати. Один из них обратился к нам по-украински, попросил закурить. С разрешения конвоира мы отдали пленным весь имевшийся при нас запас махорки, выданный на неделю. Завязался разговор: «Мы курсанты военного училища... Попали на территорию, отошедшую к вам».

Их поместили в лагерь как военнопленных, использовали на работах в карьере. Об условиях, в которых они содержались, красноречиво свидетельствовал весь их облик.

Раздалась команда: «Подымайсь!». Некоторые не могли встать сами. Им помогали их товарищи под отборный мат конвоиров. Пленный, с которым мы беседовали, поблагодарил за махорку и, горько усмехнувшись, громко произнес: «Дзякую вам, братику, що вызволили нас!» («Спасибо вам, братья, что освободили нас!»). Эту фразу я вспоминал часто. Да и теперь вспоминаю.

Неоднократно мне приходилось слышать о массовых репрессиях со стороны НКВД по отношению к жителям Польши, Бессарабии, Западной Украины, там, где я побывал вместе со своей воинской частью. Мы ощущали постепенное ухудшение отношения к нам со стороны местного населения присоединенных территорий.

Позже, на этапах и в лагерях, о результатах и масштабах этих акций я мог судить по огромному количеству поляков, западных украинцев, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, встреченных мною в пересыльных

тюрьмах и в лагерях в период с 1948 по 1954 год. Немало встретил я там немцев и евреев, чехов, корейцев и татар. Да кого только там не было... Разве что с островов Зеленого Мыса! И тем не менее я не знаю ни одного случая враждебности среди заключенных между прибалтийцами и русскими. Наоборот, эти взаимоотношения отличались сердечностью, взаимовыручкой. Даже языковой барьер никогда не являлся препятствием.

Большим даром и утешением для меня стала дружба с замечательным человеком, Василием Крамаренко. В лагере его считали чуть ли не подвижником. До заключения он преподавал философию высшему командному составу Советской Армии. На одной из лекций он открыто осудил сталинские репрессии. Это стоило ему двадцати пяти лет лагерей и пяти лет ссылки.

Василий Крамаренко работал в самой опасной угольной шахте. Ее внекатегорийность определялась повышенной загазованностью взрывоопасными метаном и угольной пылью. Как рассказывали, случайно или по какой-то неизвестной закономерности, каждый год, в один и тот же день, в шахте происходил страшный взрыв. Его сила была такова, что рельсы закручивались в спираль. Все, кто в это время находился под землей, погибали. В этой шахте работали только заключенные. Накануне дня, когда, по расчетам старожилов, должен был произойти взрыв, один из зэков рассказал Василию о своей беде: на этот день его назначили дежурить в шахте. А у него срок заключения заканчивался. Менее чем через месяц он должен был выйти на свободу. Там его ждали жена и двое детей. Зэк зашел попрощаться и передать для отправки прощальное письмо домой. Василий Крамаренко пошел в шахту вместо него. На этот раз взрыва не произошло... Вот не произошло и все тут... Зато его поступок запомнился на всю жизнь. И я верю — не мне одному... Настоящих людей никогда не бывает много. И концлагерь не место демонстрации благородных поступков.

Эта история не давала мне покоя, и я решил обязательно познакомиться с Василием Крамаренко. Мне его показали. С виду ничего особенного: рост чуть выше среднего, худощавый (здесь толстых не было), слегка сутуловатый — похож на школьного учителя. А лицо... уж не знаю, как его описать... Мы познакомились... Обыкновенное лицо спокойного, думающего человека. Запомнились глаза, серые, добрые. В тот миг, когда он

начинал что-нибудь рассказывать, объяснять или спорить, — в его глазах начинал светиться живой и неистребимый ум. Вот каких людей держала страна и ее правители за решеткой и в истребительных лагерях.

Сначала я отнесся к Василию довольно сдержанно и даже с некоторым предубеждением, так как знал его приверженность к господствующей у нас идеологии. В ее порочности, к тому времени, я уже был уверен и как-то однажды сделал первый выпад:

— Я считаю, что сторонниками существующей у нас доктрины могут быть либо недалекие люди, либо те, кто притворяется, преследует корыстные цели или просто боится за собственную шкуру...

Удивительно, но в ответ он не обрушил на меня оборонительно-наступательный залп, как я ожидал, а спокойно, с улыбкой сказал:

— Здесь все значительно сложнее.

Я уже слышал от других, что он прекрасно разбирается в политических теориях, имеет серьезные познания в философии и истории. Было чему поучиться. А лагерь — это еще и академия: здесь все мало-мальски стоящие учатся. Настоящие лагерники — или сдохнут здесь, или возьмут реванш у жизни — не в смысле сведения счетов, а в реализации задуманного. Там, тогда по крайней мере, я думал так.

Появились первые признаки очередной норильской весны. Начало пригревать скупое на тепло солнце. Занятия на курсах горных мастеров все еще продолжались. Мы сидели на крыше барака — давно облюбовали это местечко. Здесь нам никто не мешал, и вероятность подслушивания была ничтожной. Трудно описать весь круг тем, затрагиваемых нами в беседах на крыше этого барака, тут не то что пятьдесят восьмая статья со всеми своими пунктами, а и дыба и топор с плахой могли соскучиться по нашим буйным головам.

В спорах с ним я поднимался на ту высоту, которая была мне доступна или, попросту говоря, набирался ума. Там, на крыше барака, определилась моя верхняя точка — интеллектуальная академия, пик политического образования.

— Из всех высказанных, самая сильная твоя мысль, собственно одна, — спокойно говорил Василий, — «Сталин сам спровоцировал нашу войну с Германией и нападение Гитлера на СССР». За такую новацию не то

что НКВД, а весь советский народ тебе голову оторвет. Не мысль, а клад!

— Ну и пусть. Но я это знаю — я был свидетелем всего этого.

— Ну тогда держи мое возражение: не в этом дело, — при чем тут война. Война — это следствие. А вот причина в том, что твой бяка Сталин самого Гитлера к власти привел за ручку... И взгромоздил на мировой пьедестал!

— Как это? — тут пришла очередь удивляться мне.

— А «нельзя быть слугой господ бога при дворе дьявола» — он, Сталин, еще в конце двадцатых повел смертельную борьбу с европейской социал-демократией. И небезуспешно. НЭП прикончил. В один присест. И вот одурелая коллективизация завершалась... Нашел Сталинок деньги на разгром социал-демократии... — «С них и сдерем, с колхозников — с бывших крестьян, как с резерва капитализма»... — Европа вздрогнула, а германский крестьянин и мелкий буржуа-собственник перепугались насмерть — «эдак ведь и до нас добраться могут!» — а Гитлер, еще недавно получивший на выборах пять процентов голосов, вдруг прыгает выше всех и становится канцлером Германии. Так кто его туда швырнул?.. Кто ему дорогу умастил и расчистил?.. Вот это была победа!

— Ничего себе, — еле проговорил я, — а еще стойкий марксист-ленинец!

— Но ведь не сталинист же?

— Но и не тут начало, — сказал я ему, пришлось сказать.

— А где, по-твоему?

— В твоей родной обители — в самом большевизме. Неужели непонятно? И я из того же теста. Ведь я тоже многого не понимал и не понимаю. А вот здесь (я имел в виду лагерь), на крыше, — совсем другое дело. Да и то, что ты — убежденный коммунист — вот тут, рядом со мной, кукуешь, не малое значение имеет. И стимулирует мысли!

Он хорошо улыбнулся. Просто замечательно улыбнулся:

— Вот свалиться мне с этой крыши, — проговорил он, — не зря они нас «убирают с поверхности!»

— Они нас сметают с поверхности земли — а мы все норовим на крышу, на крышу!

Еще раньше я начал понимать, что в нормальном обществе не может и не должно быть равенства. Каж-

дый человек — это неповторимая индивидуальность. Равенство приведет к деградации человека. Так же не могут быть удовлетворены и потребности человека. Ведь именно его вечная неудовлетворенность и стимулирует стремление к совершенствованию. Удовлетворение потребностей возможно было бы только в обществе беспросветных примитивов, способных желать, мыслить или действовать только по приказу. Впрочем, гитлеровские и сталинские концлагеря заложили основу для осуществления на практике этих светлых идеалов...

Еще в школьном возрасте я замечал, как все то, что в реальной жизни торчит перед глазами, расплывается полностью, как только эту действительность нам начинают разъяснять. Учительница на уроке диктовала условие задачи по арифметике (кажется, это было в третьем классе — год 1930—31): «колхозник заработал столько-то трудовней и получил на них столько-то муки, мяса, столько-то...» — Я поднял руку и сказал, что в задачке все неправильно, колхозники на трудовни ничего не получают... (Тогда по карточкам почти ничего, кроме черного хлеба, не давали. На селе люди пухли с голоду и мерли). Директор школы долго допытывался:

— Кто тебя научил? От кого ты это слышал?

— Никто меня не учил, это я сам знаю, — упорно повторял я.

Вызывали в школу отца. Он тоже был вроде бы удивлен. В нашей семье не вели таких разговоров. Со временем мне стало казаться странным, почему фабриками и заводами должны управлять не инженеры, а малограмотные рабочие, которых в кинокартинах изображали непременно очень умными. А колхозникам просто вменялось в обязанность поучать образованных людей — этих упорных недотеп, негодяев и вредителей.

Непонятно было мне, почему пролетариат, у которого ничего нет, «кроме цепей», должен быть хозяином... Какой же это хозяин, который не сумел ничего приобрести, кроме цепей? Я вспоминал своих сверстников, чья жизнь проходила на моих глазах. Были среди них такие, от которых был один урон. Они все ломали, ничего не умели сделать как следует, лодырничали, ходили всегда неопрятными, неумытыми. Большинство из них и выросло такими же. Одни спились, другие проворовались, третьи отсидели задницы на руководящих постах, не создав ничего путного. Их попытки сделать что-то полезное чаще приводили к развалу всего, к чему они

прикасались. Одни не могут, другие не хотят хорошо работать, когда можно получить «за так» в обществе, где все равны.

Для лодырей, бездельников, неумех — это самая желанная система. За нее они готовы драть свои глотки на собраниях и перегрызать глотки не таким, как они...

Несмотря на различие наших с Василием взглядов, мы ощущали родство душ и инстинктивно тянулись друг к другу. Между нами установилось полное доверие, что могло быть только между самыми верными друзьями. И что удивительно, наши позиции начали постепенно сближаться.

Но не только это связывало нас: в нем я видел высокий пример гражданского мужества и самопожертвования. Мы вместе пробирались по тропе познания, помогая друг другу... Оказывается, еще в далекой древности Аристотель, ознакомившись с системой государственного устройства, аналогичной нашему, предостерегал:

«При такой системе люди перестанут трудиться, поля зарастут травой, опустеют закрома, все хозяйство придет в упадок».

Положение «курсанта» давало мне некоторый резерв свободного времени. Иногда я наведывался в клуб, помогал заниматься художественным оформлением постановок, но в самодеятельности уже сам не участвовал. Мне было запрещено.

Однажды к нам в клуб обратился небольшого роста, щупленький отощавший зэк. Предложил свои услуги. Говорил он с заметным кавказским акцентом и, как выяснилось, был из Баку. На вопрос, что он может, ответил: — Я мастер спорта, могу забить гвозды!..

Все присутствующие едва сдерживали саркастические улыбки: «Боже, каких только чмырей не встретишь в наших лагерях».

Но мастер добавил:

— Бэз молоток!

Добровольцы тут же принесли несколько толстых гвоздей. Молниеносное движение руки — и гвоздь насквозь прошел крышку стола. Так, один за другим он вогнал все принесенные гвозди. На поверхности торчали только шляпки. Мы хлопали глазами и ничего не могли понять. Решив, что мы не до конца поверили в его способности, он взял стальную кочергу и завязал ее узлом.

Мы были поражены: все увиденное не вязалось с хилой внешностью мастера спорта... Потом он лег спиной на битое стекло. По его просьбе, мы положили ему на грудь широкую доску, а на нее — большой камень и стали бить по камню кувалдой. Пока камень не раскололся. Бакинец встал с пола, встряхнулся, как собака после купания. Прилипшие осколки стекла посыпались на пол, и мы увидели, что на спине не осталось никаких следов. Даже кровь не выступила!.. Он показал нам еще несколько трюков, и все они были за пределами физических возможностей обычного, даже очень сильного человека. Когда Василий Крамаренко вернулся из шахты, я подробнейшим образом рассказал ему про всю эту силовую фиерию супербакинца и добавил:

— Вот если бы весь советский народ сплошь состоял из таких молодцов и умел вытворять эти штуки, вплоть до загибания кочерги и при этом еще не просил бы жрать — вот тогда можно было бы спокойно строить ваш коммунизм.

Первый раз за все время нашей лагерной жизни Василий тихо засмеялся.

— Нет!.. Нас нельзя убрать с поверхности! — выговорил он. — Это невозможно...

Помимо кинокартин, которые нам все же изредка показывали, или выступлений лагерной самодеятельности, мы иногда удостаивались чести прослушать длинную речь начальника лагеря. Майор имел склонность к публичным выступлениям на международную тему (или ему по плану политмассовой работы полагалось этим заниматься). И хотя был он не шибко грамотен, но любовь к международной тематике имел непреодолимую. И, представьте себе, зэки его охотно слушали и даже встречали бурными аплодисментами, что ему нравилось. Ходили на его лекции как на концерт сатиры и юмора. Какая бы ситуация лектором ни затрагивалась, он обязательно обрушивался с руганью на маршала Тито, бывшего в ту пору в немилости у отца народов. Совершенно внезапно впадая в бурное негодование, он с пафосом кричал:

— Этот презренный Клика Титов (как будто его имя было не Йосип...), как бешеный пес, порвал ржавые цепи!.. Он не захотел, видите ли, быть в нашем лагере! (Майор все-таки имел в виду социалистический лагерь, но зэки подразумевали совсем другой и взрывались не-

истовыми аплодисментами и свистом.) — Майор выдерживал ораторскую паузу: — Он переметнулся в другой лагерь мирового амперализма! — При этом оратор широко использовал образные жесты и позы, не всегда пристойного характера, что имело неизменный успех — зал грохотал, оратор был горд — «Значит, народ понимает!»

Мы знали, что наш начальник лагеря на фронте не был и всю войну прослужил в системе гулага, — но фронтовую терминологию он любил почти так же, как и матерную.

— ...Противотанковой миной! Мать его... Пехотным каленым... (Следовал выразительный жест, подкрепленный словом.) Мы вытравим из него (имелся в виду все тот же «мировой амперализм») все потроха!..

Впрочем, по отношению к заключенным наш майор был не из самых плохих. А потому ээки готовы были простить ему любую лексическую неточность, даже ненависть к маршалу Тито (хотя маршала они любили больше, чем майора и генералиссимуса, вместе взятых — как-никак, а маршал Тито всю войну был нашим верным союзником и воевал).

Встречались в этой системе начальники и куда покруче и куда посволочнее. По их приказам провинившихся, особенно тех, кто пытался бежать, отдавали на растерзание овчаркам. И даже каленые вохровцы без содрогания не могли смотреть на истерзанные в клочья трупы... А если это случалось зимой, в лютые морозы, — собак не тревожили. Провинившихся заливали водой. Это называлось «душ Шарко» или «водная процедура». Одежда на морозе схватывалась мгновенно и превращалась в ледяной панцирь, не давая обреченному упасть. Он погибал стоя — и не так, как в песне поется: «Нам лучше стоя умереть, чем жить, упавши на колени!» Ледяная статуя надежно примерзала к основанию — постаменту, образованному стекающей водой. Такой сталакит с замершим трупом внутри мог долго оставаться в вертикальном положении на устрашение другим, не разлагаясь и не падая под напором жестких ветров и даже пурги. Этот вид расправы был удобен гулаговцам тем, что можно было обойтись без гробов. Так что пальма первенства в такого рода казни принадлежит не эсэсовцам, не палачам генерала Карбышева, а нашим изобретательным гулаговцам. Впрочем, и приоритет создания массовых концентрационных лагерей с начала двадцатых годов также принадлежит нам. И документ подписан В. И. Ульяновым (Лениным). Просто у герман-

ских фашистов, перенявших наш опыт, все это было организовано получше — с крематориями, газовыми камерами, научными медицинскими экспериментами на узниках и использованием отходов, вплоть до зубных протезов.

Пожалуй, верхом лицемерия и ханжества гугага была видимость соблюдения так называемой нравственности среди заключенных. Ни в коем случае не допускалась и строго каралась связь между мужчиной и женщиной! Вот это было достижение. ГУЛАГ встал стеной на пути одного из сильнейших инстинктов.

Зато процветали гомосексуализм, самые немыслимые насилия, извращения всех родов, мазохизм, садизм, заповедные изуверства (и все это в рамках нашей высокой нравственности). А о самоубийствах и говорить нечего — что зэки, что их мучители, надорвавшиеся на своем садизме,.. кажется, небо уравнило их тут.

Не забывайте — все это происходило не в 1917 и не в 1937 годах. Все это после Отечественной войны. После! Такой! Войны!

И 22 июня, и Изюм-Барвенковская трагедия, Германия с Эссеном, Вена со всей Австрией и многое, многое другое — уходило куда-то назад, в туман и начинало казаться, что всего этого на самом деле и вовсе не было... Вот как реальность умеет превратиться в сюр.

Полностью завершена программа курсов руководящих подземников. Нас повезли на экзамены в шахтоуправление. Под конвоем. Комиссия очень придирчиво проверяла степень нашей подготовки. Всем, кто выдержал экзамен, присвоили звание «Горный мастер» и выдали удостоверения с печатью. Меня назначили мастером проходческого участка. На работу и с работы нас теперь водили только под конвоем. В шахте мы облачались во влажную, не просохшую от пота и сырости, черную от угольной пыли спецовку, брали аккумулятор с фонариком, каску и шли в забой.

Наш участок пробивал вентиляционные и откаточные штреки, обеспечивал работу добытчиков. Условия здесь намного тяжелее и еще вреднее, чем в угольной лаве. Для вольнонаемных заработки были значительно выше и дополнялись «спецжирами» (молоко, масло) за вредность. Нам, заключенным, никаких привилегий не по-

лагалось, и многие из тех, кто попал на проходку, вскоре заболевали силикозом или раком легких. Это в дополнение к туберкулезу и цинге — постоянным болезням заключенных Заполярья.

Работа велась буровзрывным способом, только шпурь бурили не в сравнительно мягком угольном пласте, а в очень крепкой базальтовой или гранитной породе.

Бурение шпуров шло крайне медленно и сопровождалось сильным грохотом и тряской. Густая пыль забила глаза, разъедала легкие, вызывала мучительный кашель.

Выработку крепили деревянными рамами из двух стоек по бокам и перекладины сверху. Крепежный лес в забой доставляли в открытых вагонетках без бортов, которые назывались «козами».

Шахтерская терминология нередко приводила к курьезам. Новичку скажешь: «Иди, пригони в забой «козу»!»

Новичок думал, что над ним издеваются и грызалися: «Может, вам еще дойную корову сюда пригнать?..»

Работа на шахте велась в три смены. В первой, короткой, работали вольнонаемные, во второй и в третьей — зэки. Наша смена была средняя. На развод я выходил с первой партией, сразу после обеда, за час до начала смены и должен был до прихода бригады принять забой от предыдущей смены, замерить проходку, проверить надежность кровли и креплений, исправность вентиляции, оборудования и механизмов. Заканчивалась работа в полночь. На сдачу забоя очередной смене, выход на-гора, мытье в душе, переодевание уходило не менее двух часов. В лагерь попадал часам к двум ночи. Давно остывший ужин — баланда из плохо очищенного овса и кусок соленой, залежалой трески. Сил хватало лишь на то, чтобы добраться до нар. От повышенной разреженности воздуха в этих широтах и недостатка кислорода усталость здесь наступала значительно быстрее, чем в средней полосе.

Люди со слабым сердцем тут вообще не выдерживали. При том скудном питании, которое получали заключенные, даже десятичасовой сон не восстанавливал сил. Проспишь до обеда и все равно не выспался — чувствуешь тягучую непроходящую усталость. Съедаешь холодный завтрак — ту же баланду из овса, а заодно и обед — то же самое. Из столовой сразу на развод. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Только шахта и нары.

Вольнонаемные — начальник участка и мастер пер-

вой смены — были бессовестно грубы, к энкам относились высокомерно и во всем ущемляли. Приписывали себе наши метры проходки, сваливали на нас поломки оборудования, оставляли после себя неубранную породу. Мастер зачастую приходил на работу нетрезвым или вообще не приходил. Начальник участка, конечно же, всегда поддерживал его сторону.

Трудно было отстаивать справедливость в нашем бесправном положении. Мои робкие попытки хоть как-то бороться даже за видимость справедливости только ухудшали положение. Начались бесконечные придирки. Работа в шахте стала пыткой. Украденные у нас метры проходки приводили к невыполнению нормы. Это, в свою очередь, отражалось на питании. Бригаде уменьшали и без того скудную хлебную пайку. А самое главное — срезали зачет рабочих дней. Все это вызывало крайнее озлобление всей бригады. А я бессилен был что-либо сделать. Каждый день приносил какую-нибудь неприятность. А тут еще прислали новую машину для погрузки породы. Громоздкая, тяжелая и неустойчивая, она могла передвигаться только по рельсам и во время работы часто заваливалась набок. Много времени уходило на то, чтобы поставить ее снова на рельсы, отремонтировать путь. На эту работу, которая никак не учитывалась, приходилось отрывать всю бригаду. Трудно было придумать что-нибудь несуразнее этой машины. В конце концов, мы отказались от этого чудовища и грузили породу вручную. На других участках тоже отказались от этих горе-машин. Их пришлось убрать из забоев, и они еще долго ржавели на шахтном дворе.

Отпустив бригаду, я оставался в забое, чтобы передать смену. Иногда вместе со мной оставался бригадир Степан Соцков. Так было и в этот раз. Осматривая забой, я увидел, что один заряд не взорвался и над головой нависла огромная глыба породы. Оставлять ее было опасно. Длинной стальной «пикой» я попытался обрушить ее. Не удалось. Мы решили предупредить сменщиков, а сами занялись замером проходки. И в этот момент глыба рухнула.

По какой-то невероятной случайности оба уцелели. Соцков стоял бледный, с трясущимися губами. А я, привыкший к таким шуточкам судьбы, не знал, считать, что мне снова повезло, или наоборот. По крайней мере, сразу бы все кончилось.

Мы оказались замурованными. Помощи ждать было неоткуда. Дробили породу сами, разгребали сами, вы-

бирались через завал сами. Помогали друг другу как могли. Смена так и не появилась. Позднее выяснилось, что всю бригаду срочно перебросили на другой участок. О нас и не вспомнили.

Уже в душевой я услышал разговор: «Во второй смене-то двоих насмерть задавило, мастера и бригадира...»

Сколько раз уже меня считали погибшим, а я все еще живу. Но долго ли так может продолжаться? Сколько я еще такое смогу выдержать?.. Выродки! — вот что значит: «Всю пятьдесят восьмую убрать с поверхности!»

Лагерная санчасть освобождала от работы только в случае тяжелых увечий или серьезных заболеваний. Обычно в шахту гнали всех, но не все были в состоянии что-то делать. Приходилось подменять друг друга, выполнять свою и чужую работу.

Бурильный молоток — эту адскую тряску в крошечной пыли человеческий организм долго не выдерживал. Не легче была и работа крепыльщиков. Тяжелые бревна таскали на себе и пилили вручную. Я работал вместе с бригадой, и не было ни одной шахтерской специальности, которой бы не пришлось мне выполнять, подменяя выбившихся из сил. Но при этом на мне еще лежала ответственность за людей, за выработку, за механизмы, оборудование, инструмент. За все это драли шкуру с меня. Нередко, когда с перепоя не выходил на работу вольнонаемный взрывник, я подменял даже его, чтобы бригада не осталась без пайки хлеба. Пил он зверски и в конце концов отдал мне (хотя это категорически воспрещалось) второй ключ от своего шкафа, где хранились взрывная машинка, запалы, взрывчатка.

Я чувствовал, что начинаю сдавать. По ночам мне не давал спать жестокий кашель. Несколько раз просил я начальника участка освободить меня от обязанности мастера и перевести в бригаду, но он не соглашался. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не заболел аккумуляторщик. Прекратилась зарядка аккумуляторов для шахтных электровозов и шахтерских лампочек. Шахта оказалась под угрозой остановки. Подходящей кандидатуры среди вольнонаемных в тот момент не оказалось. Я предложил свои услуги. Мне эта работа была знакома. В моем саперном взводе имелась походная зарядная электростанция со всем аккумуляторным хозяйством для полковых радиостанций. Работа аккумуляторщика, хотя и несложная, требовала специальных навыков, абсолютной трезвости и аккуратности. Зарядный цех был оснащен импортным оборудованием с мощными

ртутными преобразователями тока. В условиях шахты малейшая небрежность могла привести к серьезным неприятностям. Руководство шахты было вынуждено временно поставить меня на эту работу. Но радость в связи с уходом из мастеров была недолгой. Ядовитые пары от электролита, попросту говоря, разъедали легкие.

Снова, уже в который раз, у меня начался приступ цинги. Соленая, мороженная треска и овсяная баланда в обед и ужин разъедали кровоточащие, распухшие десны. Основным противочинготным средством в лагере был настой из хвои, зеленовато-мутное, отвратительное пойло в бочках из-под трески. Оно не помогало. К тому же, пользуясь общим ковшом, заключенные заражали друг друга туберкулезом, распространенным в лагерях.

Не буду спорить с теми, кто искренно и глубоко полюбил это Заполярье, но такое может быть только в условиях добровольности и свободы. Нам, полуголодным, плохо одетым доходягам, морозы и сбивающий с ног ветер казались свирепыми, а мрак полярной ночи — бесконечным. Я возненавидел эту бесконечную зиму и решил, что если мне еще суждено быть когда-нибудь свободным, то поселюсь там, где зимы не бывает вовсе.

Часто мне снилось, что я совершаю побег. Сначала все, как правило, шло хорошо: я благополучно уходил от преследователей и добирался до теплого края с долинами, залитыми солнцем и покрытыми виноградниками и фруктовыми садами. Но отведать фруктов ни разу так и не удавалось. Меня то арестовывали и снова отправляли на север за колючую проволоку, где кругом только снег и лед, то я просыпался от ледяного ощущения холода. Тонкое истертое одеяло плохо удерживало тепло, когда сползал накиннутый сверху бушлат. А если дневальный вовремя не подбросил угля в печь, в барак, съедая остатки тепла, вползала лютая стужа. Побег из неволи продолжали мне сниться и потом на протяжении нескольких лет.

Помимо двух шахт, наш лагерь еще обслуживал карьер. Земляные работы хотя и велись в котловане, но все же это было на поверхности. Я попросил бригадира этого участка переговорить со своим начальником. Он получил согласие на мой переход, при условии, что не будет возражения со стороны руководства шахты. Недавний случай в аккумуляторном цехе давал мне надежду. А произошло вот что: в системе охлаждения преобразователя тока у пропеллерного вентилятора, охлаждающего ртутные лампы, надломилась лопасть. Я успел

отключить вентилятор и, рискуя сломать руку, удержал лопасть в сантиметре от раскаленной ртутной лампы, предотвратив неминуемый взрыв. Начальник шахты объявил мне благодарность. Теперь, когда он однажды зашел в аккумуляторный цех, я обратился к нему с просьбой отпустить меня. К этому времени вольнонаемный аккумуляторщик выздоровел. Но начальник не дал согласия на мой уход с шахты. И когда я наотрез отказался от должности мастера, он перевел меня в газомерщики. В мою обязанность теперь входило следить за состоянием воздуха во всех выработках шахты, а главное, не допустить превышения нормы содержания взрывоопасного газа. В течение смены я должен был обойти все подземные выработки, следя за поведением пламени в лампе Девиса. Удлинение язычка пламени, против нормального, означало опасное увеличение содержания метана в воздухе — грозило взрывом. Уменьшение — сигнализировало об избытке углекислоты. Работа была нетяжелой, но за смену приходилось пройти не один десяток километров штреков, вдыхая все тот же шахтный воздух, насыщенный пылью, ядовитыми газами от взорванного амонита.

Надо было что-то придумать, пока силикоз не перешел в рак легких и не доконала цинга.

Еще в донецких шахтах я обратил внимание на то, как примитивно велась очистка угля от кусков породы, неизбежно попадающей вместе с углем на транспортер. Там вдоль транспортера выстраивалась бригада женщин-глейщиц, и, пока лента транспортера медленно продвигалась, они вручную отбирали породу. Ее случайное попадание даже в небольших количествах вместе с углем приносило значительный вред при выплавке металла. Здесь было то же самое — вручную, первобытно.

Мне пришла в голову простая мысль: для надежного и быстрого отделения угля от породы использовать различие их удельного веса. Попадая в резервуар с плотной жидкостью, более тяжелая, чем уголь, порода будет оставаться на дне. Применив метод флотации, можно обеспечить непрерывный процесс очистки... Вот тут и началась обычная волокита.

Желание распротисться с шахтой подтолкнуло меня на дерзкий шаг. И даже шантаж. Я заявил, что вынужден буду обратиться к руководству комбината или в Москву, поскольку уверен, что внедрение моего предложения в масштабах страны даст огромный экономический эффект и что препятствие внедрению может быть

расценено как волокита или еще хуже... Я вел себя так, как они вели себя каждый день и каждый час...

Тут реакция была мгновенной — я понял, что попал в цель. Используя замешательство начальника, я предположил:

— Знаете, я устал и не буду настаивать на внедрении, если вы согласитесь отпустить меня...

Я ведь получил уже недавно категорический отказ и мало надеялся теперь на его согласие — начальство не любит менять своих решений... Но на этот раз он легко согласился... Ведь лучше ничего не внедрять и даже упустить одного специалиста, чем внедрять, мучиться, набивать шишки, — а прибыли и премии все равно уйдут наверх.

Мне повезло — гражданин начальник от меня отступился, а я выскочил из шахты на поверхность.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АВТОРЕ И О «ПОСТУПКЕ»

...Самые тяжелые испытания — фронтом, пленом, побегами, испытания расстрелами, одно из самых тяжелых испытаний — изуверским следствием...

Разве этого мало?..

И очень много. И мало!

Есть еще кое-что.. Это умение не поклониться черной силе никогда — это самое редкое качество, ценимое человечеством в веках. Когда не хватало примеров, их выдумывали.

Никогда не поклониться низкой сущности, никогда не дать ей восторжествовать, не дать ей отпраздновать свою победу над чистотой помысла и его воплощения.

Прошедшему все испытания в открытом бою всегда самым трудным будет пройти через испытания в смраде угнетения человеческого достоинства.

...Не тот, кто абсолютно чист и безгрешен, а тот, кто способен увидеть свою ошибку, устыдиться, стукнуться головой о стенку, покаяться и... снова выбраться из трясины на поверхность, снова преодолеть себя и провозмочь. Дар профессионального разведчика (не велика честь!), дар борца за свободу, борца против фашизма (таких было не мало): нам пришлось столкнуться и с самым худшим из худших исчадий — всей системой фа-

шистского насилия у себя дома, в своей стране, в своем городе и, что самое страшное, в себе самом.

«Что было, то было!» Никуда не денешься...

Сегодня представляется яснее ясного, что поклон духовному врагу — это самое страшное и непотребное в человеческом бытии. Это равносильно поклону антихристу для верующего. И искупление тут должно быть мучительным и долгим.

Но конечный вердикт сможет вынести не фронтовик, не художник, не философ, моралист или политик, а зэк, прошедший весь ад этих унижений и выстоявший. Хотя и распятому на кресте или горящему на костре было, наверное, не легче...

Вся серия поклонов была необходима, может быть, в системе выживаний, но не она была стержневой. Выживанию способствовали и поднимали человека над обыденностью те люди, которые стояли насмерть, которые, даже приговоренные к смерти, не поклонились гадю.

Эти люди там, в глубоком заточении, дали такой пример безукоризненного поведения, который не мог исчезнуть. Это вам уже не разведка — это куда значительней и выше.

Торговать не зазорно, но нельзя торговать тем, что не предназначено для купли-продажи: душой не торгуют — это не товар, это сдача, поклон, согнутая спина перед охранником, паханом, гражданином начальником, насильником. Это признание, что им, всем вместе, удалось размазать тебя по тарелке, по столу, по стене, по полу, по забору. После такого падения человеку предстоит либо сгинуть в тартарары, либо подниматься с колен всю жизнь.

Мы, фронтовики, потому и попали в категорию привилегированно-презираемых людей этой страны, что, сразившись с германским фашизмом — и победив его, тысячу раз готовые в этой борьбе к смерти, вдруг возомнили себя не только спасителями мира (хоть и это гадко!), но и заслужившими право на отдых и квасную заносчивость победителя (куда уж гаже!). Мы не пошли дальше и не победили свое собственное исчадьё — сталинско-бериевский комфашизм, во всех его звеньях и, что самое страшное, В Н А С С А М И Х!

Не победив его, мы стали носителями этой заразы, охранителями, пестователями — мы стали, по крайней мере внешне, реакционнейшей частью всей системы. (Я говорю «Мы», чтобы не отделять себя от остальных,

чтобы быть лучше понятым). Отказавшись от борьбы, мы поклонились худшему, что накопилось в этой структуре, и стали притворяться ее составной частью «до гробовой доски!».

Постепенно, через написание этой книги автор подходил к покаянию и порогу искупления. Эта книга не оправдание, а рассказ, не допускающий снисхождений в мыслях, деяниях и поступках.

22. ПОМИЛОВАНИЯ НЕ ПРОШУ

...Уповай и не бойся.
Ветхий Завет. Третья книга Ездры. Гл. 6(33)

Станным предвидением (или предчувствием?) начался для меня этот год — в жизни вождя всех народов, Слава Богу, последний! Я увидел во сне его — Сталина. Совсем не того, что проникновенно-заботливо смотрел со всех подретушированных портретов, с сильно увеличенным лбом, облагороженным овалом лица и притом не рябого.

Увидел я отлитую из золота статую. В величественном безмолвии — ибо всему, связанному с его именем, наверное, даже во сне, положено было быть величественным. Монумент неожиданно качнулся и рухнул, превратился в огромную кучу мусора. Я человек не суеверный. Но, зная последующие события, как тут не поверить в вещие сны? Впрочем, этому предвидению тогда я поверил сразу: уже несколько раз сны не обманывали меня...

Прошло совсем немного времени. Вот-вот должна была наступить весна, а ее приход в норильском лагере ждали особо нетерпеливо. И тут, как-то совсем неожиданно, замолкли сразу все громкоговорители зоны. Вообще они работали постоянно и безотказно, за что и были прозваны эками «наждаком». Раздражал «наждак» не меньше яркого света голой электролампы в камере. Как попытка.

И вот воцарилась тишина. Поначалу пугающая, но тут же рождающая непонятные предчувствия. Впрочем, молчание громкоговорителей было не таким уж долгим... Зазвучала траурная музыка: Чайковский, Бетховен, Вагнер, Скрябин... — Тянули время... Создавали настрое-

ние... Усилиями титанов пытались подготовить оплакивание грандиозного трупa. Одна мелодия сменяла другую, но, как ни странно, чем торжественнее и печальнее становилась музыка, тем легче и радостнее становилось на душе. Чувствовалось, что назревает, надвигается что-то значительное. Тут же стала возникать невероятная по своим масштабам догадка... Но едва ли хоть кто-нибудь тогда смог решиться произнести ее вслух или даже до конца признаться самому себе... Это было бы слишком!

Наконец первое сообщение, произнесенное скорбным дикторским басом, с мировым надрывом — о тяжелой болезни любимого вождя. Был вечер. Люди повскакивали с нар, выходили из бараков, как сомнамбулы, не зная, в какую сторону податься... У одних на лицах предчувствие невиданной радости, у других — панический страх. Третьих не было.

В эту ночь мало кто спал. Ждали очередного сообщения.

А я только одного и ждал — прихода из шахты Василия Крамаренко. Когда он вошел, я по глазам понял, что и он уже знает все. Мы крепко обнялись и долго молчали.

Никогда еще в моей жизни не было случая, чтобы я радовался чужой болезни, тем более смерти. Даже трупы гитлеровцев на фронте вызывали у меня скорее жалость, чем злорадство. Хотя оснований ненавидеть их у меня было не меньше, чем у других.

Здесь, за колючей проволокой, с нетерпением ожидая сообщения о смерти Сталина, радовались, казалось, все, по крайней мере — многие. Одни выражали свои чувства открыто, другие их сдерживали. Боялись, а вдруг — ошибка, и тогда... — шкуру ведь снимут с живого... А то и еще хуже...

Василий и я сразу отправились к нашему хорошему приятелю — заведующему лагерной баней. Там наспех заперлись в моечном помещении, втроем, и, как ошалелые мальчишки, принялись скакать, барабанить по шайкам, распевать песни, притом каждый свою и кое-что все вместе... Если кто-нибудь мог бы видеть нас со стороны!.. Жу-уть!! Да простит Господь, мы ликовали и радовались смерти человека... Нет! Не человека — страшного, кровавого чудища... Уже тогда мы знали: в его черный смертный список были занесены представители всех сословий и всех национальностей этой странной и страшной страны. И множество людей за ее пределами.

У него были длинные руки. А туда, куда он не дотягивался, — добирались его подручные. Он не щадил ни стариков, ни детей, ни соратников, ни друзей молодости, ни близких родственников, ни своего собственного сына. Он присваивал чужие революционные, военные и даже научные заслуги и идеи, а потом уничтожал их авторов... Это он погубил сельское хозяйство страны, отбил у людей охоту к труду, любовь к земле. По его указанию были обезглавлены вооруженные силы страны, уничтожен почти весь высший и средний командный состав Красной Армии. Истреблены или репрессированы наиболее талантливые представители науки, культуры, техники.

Он растлил сознание целого поколения, насаждая ложь, раболепие. Он превратил для многих родину-мать в мачеху-предательницу. Он стал фактическим виновником нашей неподготовленности к войне, а может быть, и виновником самого ее возникновения...

Об этом или примерно об этом мы говорили и думали той ночью. Да, мы ждали сообщения о его смерти! И я не верю тем, кто заявляет, что не знал, не видел, не думал тогда обо всем этом, если, конечно, человек не затыкал себе уши, не закрывал глаза... Или это так кажется мне сейчас, по прошествии стольких лет? А тогда все было по-другому?.. Не знаю... Еще не было двадцатого съезда, не было свидетельств Александра Солженицина, Василия Гроссмана, Юрия Домбровского и многих других...

Но ведь были глаза, и были уши. Был здравый смысл. Были, наконец, Норильские лагеря, равно как десятки и сотни других лагерей! Едва ли в ту пору кто-либо мог представить себе масштабы сталинских преступлений, но не видеть их совсем?.. Не верю. Надо было очень хотеть не видеть, не слышать, не знать. Таких и сегодня тьма-тьмушая.

Да, огромное количество свидетелей было уничтожено, но уцелевшие сотни, тысячи находились здесь, рядом со мной. Общаясь с ними, я получал бесконечные подтверждения бесчисленных преступлений, творимых Сталиным и его холоуями. Видно, большому количеству подлецов все это было нужно и очень выгодно. Не иначе.

Вся огромная масса свидетелей томилась тяжелым ожиданием. И наконец — свершилось! Диктор Левитан надрывно зачитывал сообщение правительственной комиссии. Умер! Умер!.. Он умер.

Ухнуло в тартарары исчадье ада и сам сатана.

Лагерь ликовал. Никто не пошел на работу в шахты. Все лагерное начальство, надзиратели и охрана сначала попритихли, а потом вышли из зоны — от греха подалее... Внутри за колючей проволокой оставались только ээки.

На территории нашего лагеря, где были заключенные только по пятьдесят восьмой статье, отдельно стоял барак для уголовников, прислуживавших лагерной администрации. Он был отгорожен от остальной территории, и нам вход туда был запрещен. Обитатели же этого барака — привилегированные урки, могли свободно разгуливать по зоне, заходили на кухню с черного хода, уносили к себе полные котелки (что вызывало, разумеется, ненависть наших ээков). В шахтах никто из них не работал. Этих уголовников перевели к нам из других лагерей, где им грозила неминуемая расправа за издевательства над такими же, как они, ээками, за стукачество и побои. Среди них был особенно жестокий садист с несколькими судимостями за бандитизм, изнасилования и растление малолетних, по кличке Малютка. В лагере, откуда его перевели, он заведовал штрафным изолятором и был известен своими зверствами. Здесь он носил темные очки, что позволялось, очевидно, только за особые заслуги — носить темные очки в зоне запрещалось.

Урки — народ смывленный и ловкий; они сразу почуяли опасность и забаррикадировались в своем бараке. Почти все остальное лагерное население расположилось вокруг. Стоило кому-нибудь из спрятавшихся высунуться наружу, как на него обрушивался град камней. Но взять барак штурмом не решались — боялись, что охрана, стоящая за зоной, откроет огонь. Хотя любой ветеран-лагерник знал, что стрелять в зону охраннику запрещено уставом. Но тут — кто их знает... Попробуй потом докажи...

Прошло еще немного времени. Несколько человек проникли за ограду и подобрались к самому барaku. Мигом выбили стекла в окнах и стали бросать внутрь камни и зажженные телогрейки. Из барака повалил густой дым. Несколько его обитателей стали выползать наружу. Не поднимаясь с колен, они молили о пощаде, на все лады, как только умели. Но раздались мстительные голоса:

— Изверги!.. Мразь!..

— Продажные твари... Рванина!..

— Доносчики! — в стоящих на коленях летели камни. — Сексоты!!.

Крики о пощаде только усилили поток ругательств. Град камней барабанил по стенам барака, летел в окна. Несколько тел уже неподвижно валялось на земле, другие еще шевелились, стонали. А камни продолжали лететь — отскакивали от бритых черепов, как мячики. Тем временем дым из окон прекратился. Из барака больше никто не выходил. Но люди знали, что там остались самые лютые, самые ненавистные. Снова зажгли телогрейки, подошли к бараку, свалили ограждение, вооружились кольями от ограды и подступили вплотную к дверям.

И вот показались трое. У каждого в руке нож. В центре главарь, как обычно, в темных очках. Он угрожающе крикнул:

— Прочь с дороги, падлы! Зарежу!

Те, что находились ближе, — попятились. Воспользовавшись замешательством, все трое кинулись вперед, размахивая ножами. Но не тут-то было: с размаху в них вонзились десятки заостренных кольев. Раздались дикие, рвущие воздух вопли. Двух подняли над головами, чтобы всем было видно, как они корчились и погибали... «Так ли били их, как били они?.. так ли погибали изверги, как погибали их жертвы?..» Затем бросили на землю и добивали... Третьему, Малютке в темных очках, чудом удалось увернуться. Ударом ножа он свалил того, кто пытался преградить ему дорогу, и прорвался к зонному ограждению, за которым расположились безучастно взирающая на все происходящее охрана. С ножом в зубах он начал ловко взбираться по туго натянутым рядам проволоки, не обращая внимания на острые колючки, раздирающие одежду и тело. Ему оставалось совсем немного до верха, когда острый крюк багра вонзился ему между лопаток. Он взревел от боли, дернулся вверх — крюк впился еще глубже в его тело. Снизу багор уже тянули несколько человек, и было видно, как крюком раскроило ему спину. Наконец он рухнул вниз. Уже не двигался, но расправа продолжалась. Озверевшие люди руками разрывали рану на его спине. Лица у многих были перепачканы кровью. Между тем охрана за зоной все видела, но не вмешивалась, даже когда обреченные в отчаянии обращались к ней за помощью. Своя школа дороже, — а тут воочию..

Покончив с обитателями барака, разъяренная толпа бросилась на кухню в поисках повара — это был беспредельный вор и стукач. Он обкрадывал эков и им же продавал ворованные продукты. Нашли его в котле с остатками баланды. Перепачканного овсяной жижей выволокли на улицу. Его грузное тело сотрясала дрожь. Похоже, что от страха он наложил в штаны. Вокруг повара образовалась лужа из дерьма и овсянки. Ему приказали встать на колени и языком слизывать... А стоящие вокруг кричали:

— Вылизывай до блеска, сука! Как мы твои пустые миски вылизывали!..

Он понял, что покорность не спасет, и кинулся бежать. Его тут же повалили, стали бить ногами, кольями, чем попало. Потом несколько человек не поленились — приволокли огромный камень и сбросили ему на голову. Когда после я проходил мимо, камень был сдвинут в сторону и вместо головы я увидел сплюснутый диск. Страшное, дикое зрелище! Сбоку выглядывал остекленевший глаз; то, что когда-то было лицом, стало похожим на камбалу. Выдавленный из черепа мозг я принял за овсяную гущу...

Экам казалось — вот он, конец многолетнего изуверства. Но так оно не заканчивается — так оно продолжается. Тиран, насильник и мертвый мог бы радоваться, торжествовать победу, в мавзолее, в гробу, или просто на том свете, не имеет значения. Его посев дал бурные всходы, а урожай впереди.

Я не участвовал в расправе, не кидал камни, хотя весь этот сброд был мне так же ненавистен, как и остальным. Девиз «Кровь за кровь — смерть за смерть» долгое время был и для меня девизом. Не говоря уже о воспитанном в нашем поколении чувстве «классовой ненависти», — подумать только: **НЕНАВИСТЬ** воспитывали... Как будто ее еще надо пестовать! Но во мне неистребимо сидела жалость к жертве, кто бы эта жертва ни была. И тут мне деться было некуда...

Впрочем, я там был не один. В расправе не участвовало довольно много людей. Но наблюдателями были все.

Почти одновременно произошел бунт в находившемся неподалеку спецлагере. Но там восставшие оказались

круче наших и захватили в заложники лагерное начальство. В ясный день с крыши нашего барака был виден тот лагерь. Над одним из бараков несколько дней развевался черный флаг. Вскоре дошел слух, что к лагерю стянули воинские подразделения. Потом ветер долго доносил звуки выстрелов и автоматные очереди. Черный флаг исчез...

О том, что сделали с восставшими, мы так и не узнали. Поговаривали, что их уничтожили. Это было похоже на правду.

Постепенно лагерная жизнь входила в обычную колею. Надзиратели вернулись в зону. Возобновилась работа в шахтах. Все ждали перемен.

Василий Крамаренко написал письмо в Центральный Комитет партии. В нем было перечислено то, что, по его мнению, необходимо было сделать срочно — в первую очередь. Точное содержание всех пунктов я не запомнил, но смысл был таким:

- немедленно созвать внеочередной съезд партии, на котором разоблачить преступления Сталина;

- поставить под жесткий контроль все репрессивные органы и законом ограничить их власть;

- немедленно приступить к пересмотру дел и реабилитации осужденных по пятьдесят восьмой статье;

- восстановить ленинские принципы демократии (он, бедный, все еще называл их «ленинскими»);

- обеспечить подлинную выборность органов власти;

- ограничить права цензуры (на цензуру, как учреждение он не покушался).

Теперь, много лет спустя, вспоминая содержание письма, я думаю, каким светлым человеком надо было быть, чтобы тогда там, за много лет до... Великой Эпохи Реформизма и Восстановления Норм, не только знать, чего хочет нормальный человек и без чего он не может дышать и жить, а еще и добиваться, рисковать, писать письма в ЦК! Таких были единицы на всю страну.

Дошло его письмо до адресата или нет — не имеет значения. Смысл его ясен и сегодня.

Жаль, что Василий Крамаренко не дожил до наших дней. Он умер вскоре после освобождения.

Прокатившаяся волна восстаний и расправ была грозным предупреждением ГУЛАГу. В лагерях стали появляться комиссии из Москвы. То, что они стали освобождать сами, по решению какого-то пленума, дескать «зашевелилась партийная совесть!» — Ложь!.. Они

зашевелились под напором лагерных восстаний и зверских расправ, сведения о которых просачивались в свободный мир.

Представители из Москвы обещали пересмотр всех дел. Первыми в нашем лагере вызвали в спецчасть двоих москвичей, один из них был бывший адъютант маршала Жукова. Им предложили написать прошение о помиловании. А спустя две недели вручили авиабилеты до Москвы.

Эти двое были первыми ласточками, улетевшими на свободу. Потом вызвали еще нескольких человек, на которых пришел запрос из Москвы, в том числе и меня. Дали бумагу, ручки:

— Пишите прошение о помиловании и готовьтесь лететь домой.

Продиктованный текст был короче краткого — «Прошу меня помиловать» и подпись. Даже без указания, за что осужден, почему прошу помиловать.

Каким оскорбительным мне показался этот текст, опрокидывающий меня снова в ничтожество, — еще раз и снова ни за что. Вроде бы ничего не стоило написать эти три слова, но рука не только не поднималась, а бастовала!.. Подошел начальник спецчасти, спросил:

— В чем затруднение? Или от радости писать разучился?

— Не разучился, — ответил ему так, как ответил бы и сегодня, — только просить о помиловании не буду. Пусть это сделают те, кто отправил меня сюда. Это вам нужно просить о помиловании. Я вины за собой не знаю и в милости не нуждаюсь.

— Чудак человек, — неожиданно ласково проговорил майор, — это чистая формальность.

— Тем более. Могу написать только то, что уже сказал.

— Ладно, пиши что хочешь.

Я письменно изложил все то, что только что произнес вслух, и поставил свою подпись. Через несколько дней те, кого вызвали вместе со мной, улетели домой.

Почти все говорили, что я свалил большого дурака. Не надо, мол... плевать против ветра — самому же хуже... Но я не жалею об этом и сегодня. С зачетами дней работы в шахте, на стройке и в карьере я сам сократил свой десятилетний срок заключения, и теперь мне оставалось чуть больше года.

Сейчас я представляю, как должен был раздражать власти мой отказ писать прошение о помиловании... Что

же касается того, что нас не могли просто отпустить на свободу, то это была ИХ забота о будущем. Они знали, что эти бумажки смогут им еще пригодиться: во-первых, — никаких компенсаций, никакого имущества; во-вторых — «Прошу помиловать!» — «значит, есть за что, сам просит» и, наконец — когда им вздумается, снова зацепят меня за ребро и уволочут. Все это было не так уж безобидно. Тут мне видится и сейчас один из главных признаков послесталинской сталинщины — длинные шлейфы ее тянутся и по сегодняшним дням. Действительно, отпускаемым на свободу нужно было подчеркнуть, что милость-свобода исходит от властей. А власть захотела — дала, не захотела — не дала. Следовательно, лучше с властями дружить, а еще лучше верно им служить. Но вот именно этого-то как раз мне и не хотелось... Да еще просить их о чем-то?.. Да еще входить с ними в сговор?! Нет. Не быть тому... Наперекор! Только наперекор абсурду.

Теперь это — История. А тогда — во время войны и после — едва ли не главный итог каждого прожитого дня был в том, что этот день — прожит. И если каждый день войны приближал нас к победе или смерти, то каждый день лагерей — больше к смерти, чем к свободе. Каждый день, наконец, заставлял идти на компромиссы, но тут очень важно было не переступить заветную черту. Черту, которую каждый для себя определяет сам. И сейчас, как и тогда, мне есть в чем каяться и перед людьми, и перед собственной совестью. Но просить о помиловании власть и ее карательно-репрессивные органы, которые подвергли меня этому длительному, позорному и изуверскому изничтожению, я не намерен — ни за что. Вот моя заветная черта.

И теперь, пожалуй, главное: они, они, ОНИ!.. Кто же ОНИ?.. Это чтобы не сотрясать воздух зря... ОНИ — кроме всех репрессивных органов (именуемых даже «правоохранительными»), вся структура власти, и над всем этим сооружением — партийная верхушка, купол захвата и насилия — от политбюро до районного масштаба. А дальше — чиновники — мелкие исполнители, потрошители и шакалы. Если МЫ не всегда можем определить, кто же это ОНИ, то ОНИ всегда знают, кто мы, и никогда не перепутают номенклатуру с народом, челядью или образованной частью интеллигенции.

В этой суматохе как-то незаметно растворялись последние дни 1953 года. Я снова взялся за кисть. На этот

раз просто так, для себя. Нарисовал акварелью поздравительную открытку и отправил ее домой. (К счастью, она сохранилась.)

Подошел конец и моему сроку. Я получил на руки справку об освобождении и 268 рублей 49 копеек в до-реформенном масштабе цен: на питание и проезд...

Предписание: паромом до Красноярска и далее поездом до города Ярцево, Смоленской области — места моего рождения. Только мне там нечего делать — там у меня никого нет!..

Простился с Василием Крамаренко и другими солда-терниками, пожелал им поскорее освободиться и вернуться домой.

Спешить на паром я не стал. Решил подработать немного денег и вернуться в Москву самолетом. Дал только телеграмму. Всего три слова: «Свободен целую Борис».

На это время меня приютил у себя знакомый про-раб стройконторы. Заказов на картины и на зеркала у меня хватало. Для начала я сделал большое зеркало прорабу и написал картину маслом. Это был мой пер-вый свободный труд после войны. Сказал ему, что от-казываюсь от денег как бы в оплату за жилье. Но он и слышать ничего не хотел:

— Ты что, обслуживать меня здесь остался или за-работать на дорогу? — заявил он и заплатил.

За месяц я успел сделать несколько миниатюр и с десяток зеркал. У вольнонаемных норильчан в ту пору заработки были немалые, и они готовы были щедро пла-тить за обустройство своего жилья, за иллюзию уюта и нормальности в царство примитива и убогости — тут я им был нужен.

Но была и еще одна подоплека моей задержки в Но-рильске...

Сразу после выхода на свободу я больше всего хо-тел отправиться к Анне домой. Но внутри что-то екну-ло и ударило по тормозам — за прошедшие годы могли произойти разные разности. Я узнал, что она работает на том же месте. Дождался, когда она шла с работы. Подошел... Встретились буднично и даже скучно... Мои опасения подтвердились — Анна вышла замуж. Ну что ж... по-житейски нормально.

Из моих друзей, освободившихся раньше меня, в Норильске никого не осталось. Но однажды я встретил Виктора, бригадира нашей строительной конторы. Его

оставили на поселение в славном городе. Он снимал комнатушку и работал на заводе. Специальности никакой не имел. Осужден был, едва достигнув совершеннолетия, за несколько дерзких ограблений. Сейчас решил не возвращаться к своему прошлому. Ему захотелось учиться, приобрести специальность. На комбинате имелись курсы повышения квалификации электриков, но для поступления требовался опыт практической работы и теоретические знания. Я знал, что Виктор парень способный, и решил помочь ему. По вечерам и в выходные дни мы напряженно занимались, а в перерывах он иногда рассказывал о своей жизни до заключения. Рос он в дружной, и, представьте себе, обеспеченной семье. Отец работал секретарем райкома партии. Виктор был еще подростком, когда арестовали отца. Мать осталась одна с тремя детьми. Виктор был старшим. Тот, кто оклеветал отца, и занял его место, стал преследовать семью. Сначала их выселили из квартиры. Мать тяжело заболела. Виктор попытался устроиться на работу, но его никуда не принимали. Попрошайничать мешала мальчишеская гордость — как-никак он был сыном первого лица в городе. Чтобы прокормить семью, Виктор не нашел ничего лучше, как забраться в хлебную палатку. Своровал он несколько буханок черного хлеба. Впервые за долгое время сестренка и братишка досыта наелись. Матери становилось все хуже, она уже не вставала с постели. Соседи посоветовали Виктору обратиться за помощью в областной центр. Добираться надо было попутной машиной. Проехало мимо несколько автомашин, но ни одна не остановилась. Он попытался забраться в кузов на ходу. Ему удалось ухватиться за борт грузовика, но когда стал подтягиваться, увидел в кузове человека, который участвовал в травле их семьи. Человек тоже узнал Виктора и со словами: «Куда лезешь, гаденыш!» пнул его сапогом в лицо. Грузовик тем временем развил большую скорость. Виктор еле держался... Человек со все силой дважды ударил каблуком по пальцам. Виктор упал на дорогу. Пальцы распухли и посинели. Он еле добрался до дома.

С этого момента он потерял всякую веру в людей. И решил им мстить... Вскоре умерла мать. Сестренку и братишку забрали в детдом. Виктор стал беспризорным и из таких же, как он, несовершеннолетних, организовал шайку. Они грабили продуктовые палатки, магазины. Виктор был ловок и удачлив. Но как веревочке навиться, а...

В лагере Виктор оказался среди осужденных по пятьдесят восьмой статье. Тут ему повезло — он встретил немало честных, образованных, а главное, порядочных людей; старался забыть прежние обиды и постепенно начал оттаивать. Я обратил на него внимание, когда работал прорабом. Он добросовестно относился ко всем поручениям, был находчив, смел и прямодушен. Тогда я и поставил его бригадиром.

Заниматься с Виктором было легко. Он обладал хорошей памятью, быстро постигал теоретические основы. Собеседование он прошел успешно и был принят на курсы. Завершил учебу и работал сначала старшим электриком цеха, а потом даже получил какое-то повышение. Думаю, и в дальнейшем у него все сложилось относительно хорошо... Хочу так думать.

Заканчивалось короткое норильское лето. Дома меня ждали. В моем кармане уже была нужная сумма денег. Я купил кое-что из одежды, чтобы не выглядеть лагерным вахлаком. Дал телеграмму. Простился с друзьями и отправился в аэропорт «Надежда» — какая издевательская, какая свинская романтика!.. Нет, наши лагерные полубоги, устроители всеобщего счастья, не издевались над нами — они по природе своей были холуи, а по буйному дарованию изуверы (или изуверившиеся) и мастера самопародий. Следите за развитием этих качеств — они и сегодня актуальны.

Долго, мучительно долго ждал я момента этого трогательного расставания... Все еще не верилось, что он наступил. Поверил только тогда, когда под крылом «Дугласа» мелькнули удаляющиеся огни Норильска, и, не знаю почему, ощутил щемящую боль расставания... Прощай проклятая столица Заполярья! Здесь я оставлял почти десятилетний шматок моей молодости, а это целая жизнь, которую нельзя ни забыть, ни возместить.

В Красноярск прилетели ночью. Здесь появилась возможность пересесть на более быстроходный ИЛ-2, и к вечеру мы приземлились в аэропорту Быково.

Встречали меня мама и ее сестра с мужем. Домой ехали на «ЗИМе» (служебной машине дяди) — этакое правительственное роскошество! Я смотрел на изменившиеся улицы, на высотные здания, которых раньше не было. Их тоже строили заключенные. Проехали по Куззовскому проспекту, выехали на Минское шоссе (ко-

торое тоже строили заключенные, еще до войны).

Несколько минут, и вот я дома... Отсюда ушел шестнадцать лет тому назад... Возвращаюсь живым, на своих двоих — вот и вся сказка, вся была и награда...

23. «ПРОШЛИ ВРЕМЕНА, И ОКОНЧИЛИСЬ ЛЕТА...»

Началось с того, что в Москве меня не прописали. Надо было уезжать за сто первый километр. Я объехал несколько городов в этом радиусе, в надежде устроиться на работу и получить место в общежитии, но безуспешно. Всех отпугивала судимость. На очереди был город Серпухов, там требовались строители.

В Серпухов приехал на исходе дня и сразу пошел в Строительное управление. Там действительно требовались мастера, прорабы, инженеры. Иногородним предоставлялось общежитие. К сожалению, рабочий день уже кончился надо было прийти завтра с утра. Возвращаться в Москву не имело смысла. Нужно было куда-то устроиться на ночлег. Начал накрапывать холодный осенний дождь. В гостинице, как обычно, свободных мест не было. Я решил обратиться к первому встречному прохожему. Им оказался хромой мужчина. Он увяз в грязи, и я помог ему выбраться на сухое место. Он тут же вцепился в мой рукав и стал требовать, чтобы я отвел его к Фроське. Но сам не знал толком, где она живет. Как вы поняли, он был не только хромой, но и пьяный — стал материться, чего я не люблю, и даже потребовал трояк в качестве отступного, не понятно от чего...

Ругая себя за потерянное время, я перешел на более освещенную улицу и решил впредь обращаться только к женщинам (что было не менее рискованно). Долго никто не шел... Я подумал: «Неужели это и есть Новая Жизнь на свободе?».

Наконец показались в отдалении сразу две женщины. Они предусмотрительно решили обойти меня, что было хорошим предзнаменованием; тут я обратился к ним так учтиво, будто находился в Вене на Мариахильфештрассе, с почти забытыми словами:

— Уважаемые женщины, сударыни, не пугайтесь, пожалуйста, у меня к вам небольшая просьба!.. — Тирана сработала и даже успокоила их, а просьба была действительно простая: — Как вы думаете, можно здесь, в городе, снять на ночь комнату? Или койку?

Та, что была постарше, сказала:

— Я, так, живу с мужем. Он мне за такое ребро ломает... Вот если Таиска, — она кивнула на спутницу, — полкойки уступит... У нее больше нету.

— Бессовестная, как тебе не стыдно! — как бы испугалась Таиска, но было видно, что все это одно балагурство.

Я коротко сообщил им о своем затруднительном положении.

Они посовещались между собой, и старшая, Зинаида, сестра Таиски, сказала:

— Есть знакомая бабуля, с внучкой вдвоем живут. Свой дом у них. Да только вот не знаем, можно ли рекомендовать вас? Какой вы человек? Хороший или плохой?

Вопрос меня озадачил, и я неожиданно для себя ответил:

— Я... неважный.

Обе опять рассмеялись:

— Ладно уж, возьмем грех на себя. Идемте с нами, это недалеко. И постарайтесь бабуле понравиться. Она такого квартиранта ищет, чтобы внучке в женихи сгодился...

— Э-э, нет, тогда не пойду! Мне сейчас жениться ни к чему.

Сестры снова прыснули со смеху:

— Ну и чудной же вы, еще невесты не видели, а уже отказываетесь. Да никто вас женить не станет. Переночуете и все. Не на улице же вам замерзнуть...

Бабуля оказалась недоверчивой и очень дотошной. Устроила мне допрос с пристрастием, прежде чем согласилась пустить на постой. Внучки дома не оказалось, уехала в деревню. Угроза внезапной женитьбы миновала — отбой!

На следующий день меня взяли на работу в качестве инженера-строителя. И дали место в общежитии. Зинаида и Таиска стали моими первыми знакомыми в городе, а там постепенно и добрыми друзьями. Я часто заходил к ним после работы. А летом вчетвером — Зина, ее муж, Таиска и я — ездили купаться на Оку.

В общежитии моим соседом по комнате был завскладом, молчаливый человек-отшельник. Вскоре его куда-то перевели, а вместо него поселили другого, с волевым лицом и тяжелым подбородком. Представился он экспедитором. Вечерами, когда я измотанный возвращался с работы, он старался вовлечь меня в разговоры

на политические темы. Все пытался выяснить «мою позицию». Мне это сразу показалось подозрительным. По субботам я обычно уезжал в Москву к родителям и приезжал либо в воскресенье вечером, либо рано утром в понедельник. Однажды он попросил меня сохранять и отдавать ему использованные мною в эти дни билеты на транспорт, якобы для его служебных «экспедиторских» отчетов. Сомнений не было, КГБ продолжало опекать меня. По билетам можно было не выходя из дома проследить мои маршруты. Я притворился простачком и каждый раз по возвращению высыпал перед ним на стол горсть автобусных, трамвайных и троллейбусных билетов, не только своих, но и всех, какие мне попадались под руку.

В Серпухове я пробыл более года и значился уже начальником строительного участка.

Однажды меня вызвали в паспортный стол, забрали паспорт и выдали новый: в нем не было пометки об ограничении местожительства. Тут же сообщили, что судимость с меня снята... Вот так, буднично, и как бы между прочим, завершился этот спектакль...

Я получил расчет, простился с Таиской, ее сестрой и выехал домой в Москву.

Когда в назначенный день и час я явился в Кунцевский райвоенкомат для получения военного билета, меня попросили зайти в соседний кабинет. Двое в штатском встретили меня как хорошего знакомого. Сказали, что являются представителями Комитета государственной безопасности. Начали с того, что вручили мне медаль «За победу над фашистской Германией». Поздравили.

— Да ну? — вырвалось у меня. — Выходит, я, все-таки, участвовал в этой кровавой заварухе?..

Крепкие попались ребята, даже не моргнули (видно, наслушались похлеще). Записали какие-то данные и обещали отыскать награды, к которым я дважды был представлен на фронте и дважды не успел получить — «по ранению!». Сказали, что в военном билете время нахождения в тылу у немцев будет засчитано как служба в рядах Советской Армии. Время пребывания в заключении — как трудовой стаж. А на вопросы в анкетах, был ли в плену, оккупации, имел ли судимость, привлекался ли к ответственности, отвечать: не был, не имел, не привлекался. Снова возник вопрос о моем воинском звании. Я снова изъявил желание остаться ря-

довым. Коснулись моей деятельности в Эссене и Вене:

— У вас большой опыт. Хотим предложить вам продолжить эту деятельность...

Я вытянул руки и прикрыл веки. Растопыренные пальцы ходили ходуном, как у пианиста при тремуре. Первое время дома я, вообще, ел деревянной ложкой — она не так громко барабанила по зубам и по тарелке.

— С такой нервной системой в разведке нечего делать, — сказал я полномочным представителям, но вернуться и уйти сразу не хватило духу.

Они все-таки оставили номер своего телефона, по которому в случае необходимости... Номер телефона я записывать не стал: звонить к ним у меня не было желания. На том мы и расстались.

Вот таким странным образом была оформлена моя вторая реабилитация. Но, как выяснилось позже, она прошла по внутренним закрытым каналам гебистского ведомства. Третья, официальная — свершилась в апреле 1990 года. Меня вызвали в Военный трибунал и вручили справку о реабилитации. В ней сообщалось, что Постановление Особого совещания при МГБ СССР от 6 марта 1948 года в отношении меня отменено за отсутствием состава преступления. Денежная компенсация в размере двухмесячного заработка мне не полагалась. В деле я значился человеком «без определенных занятий», несмотря на то, что до вынужденного приезда в Москву я работал архитектором города и с должности не увольнялся. В Москве я действительно около месяца был на положении подпольного беспаспортного бродяги. Но вернемся к моей второй реабилитации.

Вместе с военным билетом мне дали еще бесплатную путевку в Сочи.

Морская вода, Мацеста, ванны, санаторное лечение — заметно поправили здоровье. Стала проходить боль в позвоночнике. Дома по утрам я делал холодные обтирания, а позже стал регулярно посещать плавательный бассейн. Постепенно прекратилась трясучка в пальцах. Нервная система приходила в норму. Я даже, вроде бы, помолодел...

Но сразу по возвращении из санатория на меня обрушилась лавина больших и малых жизненных неурядиц. Или мы так привыкли жить по лагерному регламенту, что любые тяготы самостоятельной жизни нам уже стали не под силу?.. Сразу оказалось, что жить мне в Москве пегде. Квартирка, в которой я с родителями проживал почти со дня рождения до призыва в армию,

нам не принадлежала, мы ее арендовали у частновладельца. Хозяева дома не пожелали прописать меня «на площадь, занимаемую мамой», а без прописки я не имел права поступить на работу. Как не имеющий московской прописки и не работающий, я подлежал высылке из Москвы за нарушение паспортного режима и за так называемое тунеядство... Вот такая карусель завертелась снова, — вот такой заколдованный круг был обусловлен нашими законами. И неспроста.

Жить негде да и не на что. Из маминой мизерной пенсии в двадцать три рубля ежемесячно надо было отдавать хозяевам дома двадцать рублей. На жизнь вдвоем оставалась трешница. На такую сумму даже порядочной веревки, чтоб повеситься, не купишь.

Начались нудные, унижительные, а главное совершенно бесполезные хождения по государственным учреждениям. Хорошо, люди надоумили: «Надо поставить участковому милиционеру пол-литра водки».

И действительно! Обманным путем он тут же забрал у хозяев домовую книгу и оформил мою прописку. Хозяева подали в суд. Но суд судом, а я все же успел поступить на работу.

Многие месяцы продолжалась судебная тяжба. Один суд выносил постановление об аннулировании моей прописки, и я должен был скрываться от милиции до тех пор, пока более высокая судебная инстанция, по ходатайству организации, в которой я работал, не отменяла это решение. Потом все начиналось сначала. Пришлось дойти до главного прокурора Москвы, небезызвестного тогда Малькова. Он разыграл хорошо отрепетированное негодование в адрес волокитчиков, сказал, что берет дело под личный контроль и что все будет в порядке... Как и следовало ожидать, ничего не изменилось. Мои мытарства продолжались многие годы.

Вариант решения проблемы женитьбой на «бабе с жилплощадью» не подходил. Я сделал свой выбор — женился на девушке, у которой, так же как и у меня, ничего не было. До этого она жила с родителями в крохотной комнатенке, где и без меня ютились четверо.

Какое-то время Ира жила у нас. Но опять явился милиционер и потребовал, чтобы жена здесь не находилась, а жила по месту своей прописки, у родителей... Тут и водка не помогла.

— А в гости ко мне она имеет право прийти?

— Если б не была женой, то имела бы право, а жены к мужьям в гости не ходят...

— А если мы расторгнем брак?

— Тогда другое дело...

Несколько раз после одиннадцати часов ночи являлась милиция, и, если заставляли Ирину, — требовали, угрожая штрафом, удалиться.

Пришлось нам перебраться в дровяной сарай ее родителей.

Чтобы как-то решить этот вечный жилищный вопрос, я перешел на работу прорабом в строительную организацию, с письменной гарантией получения жилья в течение двух-трех лет. Спустя два года эта организация была слита с другими, более мощными организациями, и, само собой разумеется, гарантийное письмо, подписанное дирекцией, парткомом и профкомом, потеряло свою силу... Я еще раз перешел на работу в другое учреждение. Но наши мытарства продолжались, и не было видно им конца.

Правда ведь, невыразимо тоскливо читать про все эти коммунально-хлопотные, нудные перипетии нашей жизни?.. А жить вот так, изо дня в день?.. Без малейшего просвета?.. И не мне одному, а миллионам людей?..

Возможно, все это явилось причиной того, что мы с Ирой разошлись. Расстались без ссор, без взаимных обид, просто разуверились во всем и все нам надоело. Любовь в том числе...

А мне надо было решать еще одну насущную проблему: завершить образование. Я обратился в управление высшими учебными заведениями с просьбой восстановить меня в высоком звании студента. Получил разрешение продолжить учебу в институте без сдачи вступительных экзаменов. Но за месяц до начала занятий пришло уведомление, что я все-таки должен сдать вступительные экзамены в полном объеме... На подготовку оставалось всего ничего. А ведь после учебы в школе прошло более двадцати лет. Понимал, что это почти нереально, и все же решил попытаться. Занимался днем и ночью. На удивление самому себе, экзамены по всем предметам выдержал и был зачислен на первый курс заочного строительного факультета. В течение пяти лет учился и работал. А в 1963 году окончил институт и получил, наконец, диплом инженера-строителя! Мне исполнилось, страшно подумать, сорок три года.

О пережитом во время и после войны я почти никому не рассказывал. К освободившимся из заключения

многие тогда относились с недоверием и страхом, да и у меня, видно, не прошла еще оскомина, набитая в подвале СМЕРШа, лефортовской тюрьме, норильских лагерях...

И все же прошлое временами будоражило воспоминаниями. Я все отчетливее осознавал, что оказался участником или свидетелем событий, которые по тем или иным причинам замалчивались или преподносились в искаженном виде. Вероятно, кому-то это все еще было выгодно...

В 1984 году я приступил к работе над книгой воспоминаний, без большой уверенности, что из этого когда-нибудь что-нибудь получится. Некоторые события в литературе и историографии получили стойкую, заскорузлую, искаженную трактовку (как, например, вся операция по освобождению Вены). Требовались основательные документальные подтверждения, открытые и тайные батальи с могущественными заинтересованными ведомствами и военно-историческими учреждениями.

Когда я узнал, что Карл Сокол, руководитель австрийского движения Сопротивления, жив, я попытался через Советский комитет ветеранов войны и Общество советско-австрийской дружбы восстановить с ним и другими товарищами по Сопротивлению связь, пригласить их в Москву, познакомить с ними нашу общественность. Но никакой поддержки не было, я даже обнаружил противодействие. Обратился с просьбой ознакомить меня с имеющимися в Советском комитете ветеранов войны документами об австрийском движении Сопротивления. Состоялась встреча с полковником в отставке Старчевским Я. Л. (это он по заданию ставки в сорок пятом году доставил в Вену президента Реннера). Старчевский пообещал показать мне эти документы, но вскоре сослался на туманные возражения начальства и отказал...

И все же мне опять повезло. Говорят: безет тем, кто что-то делает... Нужные материалы по австрийскому движению Сопротивления я нашел в Государственной библиотеке имени Ленина. Для этого пришлось просмотреть довольно большое количество книг и фотокопий сначала на русском языке, выпущенных у нас, а затем на немецком, изданных за рубежом. К этому времени председателем Комитета ветеранов войны стал генерал-полковник Желтов А. С. — тот, кто в апреле сорок пято-

го сам вел переговоры с посланцем майора Сокола, Фердинандом Кезом. Казалось, блеснул луч надежды. Кто же как не Желтов мог посодействовать в установлении истины? Но, к сожалению, с этим генералом мне переговорить не удалось. Вроде бы он уже никого не принимал (как мне сказали: по причине сильно преклонного возраста и слабого здоровья). Или это была хорошо организованная блокада. Пришлось изложить письменно суть дела и передать секретарю.

В ответ на обращение (о радость!) была назначена встреча... опять с тем же самым Старчевским, по поручению того же самого больного генерала. Полковник на этот раз в принципе согласился с моей оценкой участия австрийских патриотов в Венской операции, с тем, что Сокол и его сподвижники — участники движения Сопротивления — незаслуженно забыты, и о них у нас почти никто не знает. Он также высказал категорическое несогласие с трактовкой венских событий и роли Сокола, Кеца и других, сделанной писателем В. Черновым в книге «Сокрушение тьмы», которая, по существу, отражала версию СМЕРШа.

Старчевский заверил меня, что обо всем доложит генералу, а также будет настаивать на изъятии книги «Сокрушение тьмы». Возможно, он так и поступил, но никаких реальных действий со стороны комитета ветеранов не последовало. Еще дважды направлял я генералу Желтову письменные обращения, и все осталось без ответа. Стало ясно, что поддержки от комитета ветеранов ВОВ не добьюсь.

По другим событиям и эпизодам моей военной биографии подтверждающих справок мне не выдавали. А ведь без справки ты у нас никто — даже не тунеядец. И никому ничего не докажешь...

Работу над первой частью книги я закончил в 1986 году и отнес ее в редакцию журнала «Новый мир» — как-то по традиции с большим уважением относился к этому журналу-борцу... С положительной рецензией меня ознакомили сразу. Это было, как глоток свежего воздуха... Рецензент писал: «Несмотря на литературные недостатки, в рукописи каждая строка, каждое слово — это выстраданная и пережитая правда». Около двух лет шли литературные бои местного значения — рукопись назначили, назначали, назначали к опубликованию и, наконец, отказали...

Я забрал рукопись и понес ее в редакцию другого, достаточно толстого и Достаточно Народного журнала.

К этому времени была уже готова и вторая часть повести. Обе части получили положительные рецензии литературных консультантов. Сокращенный вариант был намечен к опубликованию в 1989 году. Но произошла смена руководства отделом... И все то же самое!.. Заведующим стал другой человек, и он, вернувшись из долгосрочной загранкомандировки... У него тоже были горячие, актуальные планы, и публикацию моей повести он отодвинул на 1990 год... В начале девяностого года журнал сообщил мне, что рукопись опубликована не будет.

Истинная причина отказа выяснилась в разговоре с руководством редакции. Они больше всего боялись, что кто-нибудь из военных (а возможно, из бывшего ведомства Абакумова) посчитает себя оскорбленным... Какая трогательная забота о людях, — какое Большое Сердце!.. Какое радение об исторической правде.

У меня нет таланта борца, трибуна. Я знал, что не могу увлечь за собой людей. Я двадцать пять лет проработал в проектно-институте. Кто я такой, чтобы выйти на площадь и протестовать, скажем, против ввода наших войск в Чехословакию?.. Кто меня услышит!.. Я был против. Я разделял убеждения Сахарова, едва услышав о нем. Не говоря уже о Солженицине. Я не вступал в партию. Я не ходил голосовать, не желая принимать участия в этом фарсе. Я создал свой мир и жил в нем. Я хотел, хочу и буду оставаться самим собой... — так, или приблизительно так, я думал, так говорил, когда начинал книгу, и не отрекаюсь.

Но сегодня, заканчивая эту книгу, мне придется сказать и кое-что еще. В догонку самому себе: кроме моего, отвоеванного и охраняемого мира, есть МИР, в который «мой мир» помещен. В нем, кроме сталинистов, фашистов, садистов-охранников и обыкновенных негодяев, политических шулеров и фанатиков, воров и бандитов, продажных тварей и прочей мерзости, в этом самом мире оказалось множество удивительных особей человеческой породы — очень толковых, красивых и тонких, честных, мужественных до самоотвержения, добрых и великодушных, талантливых до удивления, любвеобильных до неправдоподобия, без малого Святых, почти Титанов мысли и Духа, преданных делу до самозабвения... И сегодня я хочу сказать, что этот Мир Людей для меня стал куда важнее и значительнее, чем

мой собственный, пусть выстраданный, но закрытый и лично мне принадлежащий.

Я иду в тот Большой Мир Людей и останусь там до конца. Что бы ни произошло...

РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ АВТОРЕ — ПОСЛЕДНЕЕ В ЭТОЙ КНИГЕ

Всякий уважающий себя читатель, особо в повествованиях автобиографического характера, да еще захватывающих военную или лагерную тему, не только просит, а категорически требует веских и неопровержимых доказательств: документов, фотографий, подтверждений авторитетных очевидцев, ну, в крайнем случае — отпечатки пальцев. Например: справки о ранении в окружении и при сдаче в плен (как будто там специальные конторы на этот случай открывали); или свидетельства о том, что в полициях, оккупационных ведомствах и воинских соединениях не только врага, но и союзников не служил; если участвовал в боевых операциях в тылу врага, то дать письменное подтверждение, а если взрывал мост или пустил состав под откос, то докажи, что не свой, а вражеский, — покажи фото или письменное подтверждение потерпевших, на худой конец публикацию в газете, издаваемую во вражеском стане (и то хоть какой, а документ). И чем меньше читатель сам воевал или участвовал, тем настойчивее требует подтверждений, — потому как если сам на войне ничего не делал, то и не верит, что в подобных обстоятельствах (ведь там стреляют!) кто-либо другой мог что-либо совершить, — «И надо же, не только что-то там напыхал, да еще и выжил — вот хитрюга! — то есть остался в живых — негодник! И это при таких больших наших потерях! Сам же утверждает, что они были огромными...»

А вот в официальной прессе и в докладах можете врать, сколько угодно, читатель и глазом не моргнет — никаких подтверждений не потребует. Даже непонятно почему становится таким доверчивым: скажите ему — «Двадцать миллионов!» — сокрушенно кивнет головой — «мол, двадцать так двадцать!»; скажите — «Сорок!» — тоже кивнет — «хоть сорок и не двадцать, но сорок — так сорок» (какая разница — и там ввали, наверное, и тут врут...).

Если вот так размышлять об авторе и его книге, придется привести хоть некоторые свидетельства и показания доподлинных авторитетных личностей.

Первым, кто написал об этой истории, был журналист Геннадий Жаворонков. Не очень большой, но емкий материал с фотографиями, написанный в отличном стиле. Он назывался «Шпион, которому изменила Родина»¹. (Почти одновременно этот материал был опубликован зарубежными издательствами на английском, немецком, французском языках.)

Позднее автор книги позвонил журналисту и попросил:

— Подарите нам название вашего очерка — все равно лучше не придумаешь.

— Дарю, — сразу ответил Геннадий Николаевич.

Из докладных записок Г. Жаворонкова главному редактору «Московских новостей»

Записка первая: «Прошу отстранить меня от журналистского расследования в связи с тем, что я не поверил ни одному слову из этой истории...»

Однако он оказался одним из тех журналистов, что идут первыми, за какую бы опасную тему ни брались. Так было и на этот раз. Жаворонков звонил в Вену, нашел Сокола, беседовал с ним. И наконец полетел в Австрию.

Записка вторая: «При проверке в австрийских архивах и опросе живых свидетелей все оказалось правдой...»

Резолюция главного редактора: «Прошу продолжить расследование».

В очерке свидетельства самого майора Сокола:

«То, что СМЕРШ приписал себе наши действия, я не знал, как и то, что меня якобы повесили эсэсовцы. Хотя действительно я был приговорен к смерти».

«Из подвала СМЕРШ, где мы были вместе, после того как Битмана увели, меня отправили в лагерь немецких военнопленных в Эбенсдорфе, откуда вскоре мне удалось бежать. После этого я явился в штаб советского командования, где меня знали. В штабе стали спрашивать, куда я пропал, и очень смеялись, когда узнали, что меня посадили в лагерь военнопленных и должны были отправить в Сибирь».

Появилась вторая публикация «Он был повешен».

¹ Газета «Московские новости», № 30. 29 июля 1990.

(«Московские новости» № 36 от 9.09.90), авторы: «Ева Таубер, Геннадий Жаворонков. Москва — Вена.

Третья публикация принадлежала писательнице Ольге Кучкиной «Между жизнью и СМЕРШем оказался советский разведчик»¹. В этом очерке не столько события и драматическая пружина, сколько психологический портрет человека в чрезвычайных обстоятельствах. Литератор создает его, складывая по крупицам. Автор очерка утверждает: Борис Витман всегда оставался суверенной личностью в тоталитарном государстве. И в подтверждение — из высказываний самой личности:

«Знаете, в жизни одно вытекает из другого. Не скажи я следователю в Лефортове: «Вы сами делаете врагов», — и не пообещай он в ответ загнать меня туда, куда Макар телят не гонял, я попал бы в заурядный лагерь, а не в тот, норильский, где был цвет интеллигенции: академики, группа атомщиков, группа летчиков-асов, тот же Василий Крамаренко и Побиск Кузнецов, многому научившие меня. Не доберись я до Эссена, не встретил бы замечательных друзей-антифашистов... Значит, надо только выстоять и выдержать». Встать и стоять прямо.

Там уж следом пошло множество самых разнообразных писем: все «за» были действительно разные и, видно, затрагивали авторов лично, под самый корень; все «против» — удивительно одинаковые, с налетом ненависти и «обличающие» — «Не было!.. Ложь собачья!.. Наверное, ошибался... Интересно, какой национальности?.. Клевета на действительность!» — вплоть до знакомого и родного, самого простого и распространенного — «Под суд его!.. Ату!»

А теперь, те свидетельства, которые так необходимы добросовестному читателю:

Перевод с немецкого
Г-ну Борису Витману 121355 Москва

Дорогой Вальдемар!

Конечно, Твое письмо явилось большой неожиданностью, но еще большей то, откуда оно пришло. После Твоего внезапного (конечно не зависящего от Тебя) исчезновения я безуспешно пытался найти Тебя через генерала Соколова и советскую комендатуру, а также че-

¹ Двойной подвал в газете «Комсомольская правда» от 5 января 1991 года.

рез своего друга командира 1-й Интернациональной бригады в Югославии. Мне почему-то казалось, что ты должен быть в Югославии, родине настоящих борцов-антифашистов. Об СССР я и не подумал...

Твой друг
Рудольф Краλλη

Из письма К. Сокола Б. Витману
Вена 4.07.1988

Дорогой друг!

Вернувшись из Греции, я, к огромному изумлению, нашел дорогую мне весточку от Тебя...

Очень хотелось бы подробнее узнать о том, как сложилась Твоя дальнейшая судьба. Помимо личного, интересен также чисто исторический аспект всего нами пережитого, поскольку в дополнение к уже вышедшей моей первой книге «Нарушенная присяга», я собираюсь начать работу над второй книгой.

Из переписки К. Сокола с заместителем директора
Центрального музея ВОВ Григорьевым В. А.
Вена 15.01.1991

...Передайте ему сердечный привет и сообщите, что я посетил Вальпургу Венграф. Она подтвердила участие Бориса вместе с ней в движении Сопротивления. Группа Кралля, к которой они относились, была одной из групп, участвовавших в осуществлении моей акции.

На далеких дорогах Сибири, когда казалось, что дальше уж и идти некуда, супруга и спутница Аввакума спросила непримиримого подвижника духа и изгнанника:

— Долго ли нам еще маяться, протопоп Аввакум?

И он ей ответил:

— Всю жизнь, Марковна.

Так это он не только про себя и верную жену свою, а и про нас с вами.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Размышление об авторе и его книге	3
Часть первая. Выходит — я сам себя назначил..	
1. Лиха беда...	7
2. Пушки к бою едут задом	12
3. Изюм-Барбенковская мясорубка (позднее названная «не- удачей под Харьковом»)	28
4. На острове	41
5. Дорога, дорога...	50
6. Заветный город Сумы	59
7. Вступление в должность (Взгляд на самого себя со сто- роны)	72
8. Уничтожение	88
9. Венский экзамен	101
10. Элизабет фон Кеслер и другие	118
11. Бои местного значения (в том числе жестокое сражение с квартирной хозяйкой)	135
12. Есть контакт!	145
13. Помнит Вена	154
14. «Ура! Наши!»	171
Второе размышление об авторе и его книге, или «сказ о кривом зеркале»	181
Часть вторая. Наперекор	
15. Добром пожалованные	185
Обращение к читателю (внезапное и необязательное), или Третье размышление об авторе	198
16. Вверх по каменным ступеням	199
17. Лефортовские шутки	210
18. Куда Макар телят не гонял...	226
19. Норильские лагеря	250
20. Мельпомена (богиня — покровительница сценического искусства)	275
21. Убрать с поверхности!	286
Размышление об авторе и поступке	302
22. Помилования не прошу	304
23. «Прошли времена и окончились лета...»	316
Размышление об авторе — последнее в этой книге	325

Борис Витман

ШПИОН, КОТОРОМУ ИЗМЕНИЛА РОДИНА

Повесть

Теодор Вульфович

Литературная запись
и размышления об авторе

Редактор Екатерина Леонова

Художник Вячеслав Бебышев

Технический редактор Вера Галкина

Корректоры Пугачева Е. А., Голубева Е. Е.

Сдано в набор 29.06.93 г. Подписано в печать 14.09.93 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 10,5. Тираж 50.000 (1-й завод 25.000) экз.
Заказ 2299.

Лицензия № 062875 от 23.07.93 г. ТОО «ЭЛКО-С» ЛтД г. Казань,
ул. Пугачева, д. 45

Великолукская городская типография Упринформпечати
Псковской области, 182100, г. Великие Луки,
ул. Полиграфистов, 78/12

